International Literary Magazine

KRESCHATIK 43

ПЕРЕКРЕСТОК

Вест-Консалтинг

KRESCHATIK #43
International Literary Magazine

Международный
литературно-
художественный
журнал

Главный редактор
Борис Марковский

Зам. главного редактора
Евгений Степанов *(Москва)*

Редакционная коллегия:
Айдар Хусаинов *(Уфа)*
Борис Херсонский *(Одесса)*,
Владимир Цивунин *(Сыктывкар)*,
Борис Констриктор *(Санкт-Петербург)*,
Игорь Лощилов *(Новосибирск)*,
Юрий Проскуряков *(Москва)*,
Валерий Куклин *(Берлин)*,

Художник
Сергей Пионтковский *(Киев)*

Ответственный секретарь
Елена Мордовина *(Киев)*
тел. (0038) 067-83-007-11

Связи с общественностью
Александра Беренс *(Берлин)*

Год издания двенадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
B. Markowskij, Traenke str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
www.kreschatik.nm.ru
E-mail: borismark@T-Online.de

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2009 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Феликс Чечик / *Натания* /	Математический романс	4
Алекс. Макушинский / *Мюнхен* /	Мюнхенский дневник	35
Наталия Лихтенфельд / *Берлин* /	Поглубже в снег улечься...	92
Инга Пидевич / *Шверин* /	Январь в Померании	126

Проза

Борис Хазанов / *Мюнхен* /	Преодоление литературы. *Рассказы*	8
Анатолий Костишин / *Москва* /	Зона вечной мерзлоты. *Повесть*	40
Сергей Грабарь / *Киев* /	Волхвы. *Рассказ*	94
Владимир Шпаков / *СПб.* /	Возвращение из Мексики. *Повесть*	98
Борис Рублов / *Кёльн* /	Поклонница Фрейда. *Рассказ*	128
Александр Айзенберг / *Одесса* /	Иудейская война. *Рассказ*	145
Григорий Марговский / *Бостон* /	Садовник судеб. *Роман*	149
Евгений Степанов / *Москва* /	Застой. Перестройка. Отстой. *Роман*	200

Контексты: эссеистика, критика, библиография

Сергей Слепухин		
Мария Огаркова / *Екатеринбург* /	Новые карты Аида	246
Владимир Шпаков / *СПб.* /	Взгляд с балкона — на Россию	293

Латинский квартал

Виталий Амурский / *Париж* /	Необузданные мысли	297
Борис Кипнис / *СПб.* /	Стихи разных лет и мест	316

Феликс ЧЕЧИК

/ Нагания /

* * *

Смажь получше, чтоб дверь не скрипела
и заранее свет потуши,
и сбеги тёмной ночью из тела
по веленью бродячей души.

И завертит тебя и закружит
долгожданное Небытиё.
Только сутки спустя обнаружат
опустевшее тело твоё.

И как принято — в землю зароют,
и вдова поцелует в уста,
но ужасного факта не скроют,
что твоя оболочка пуста.

Не простившись, ушёл по-английски,
сделав ручкой себе, и теперь
ты ошибочно значишься в списке,
в длинном списке потерь.

Июль

А москвич вздыхает тяжко
и психует потому,
что промокшая рубашка
ближе к телу своему.

И до осени томится
и питается тоской
окольцованная птица
с Малой Бронной и с Тверской.

* * *

Как дикий вьюн,
ползущий по стене,
я храбр и юн,
и всё по силам мне.

Неведом страх, —
всех посылаю на...
Увы! и ах!
Кончается стена.

* * *

Свои обштопывал дела,
но всё равно — одни прорехи.
И жизнь сквозь пальцы утекла,
впадая ручейками в реки.

Они несут её в моря
и... рыбы дохнут, как от яда.
Ах, жизнь неповторимая
моя — другой такой не надо.

* * *

Стихотворение
забуксовало.
Тихо... У времени
времени мало, —
час или два
до рассвета. Адьё!
Тлеют слова
во спасенье моё.

Математический романс

Путём сложения любви
и умножения тревоги
мы долго шли бок о бок и
всё растеряли по дороге.

Мы разделили на двоих
одну науку вычитанья:
нас нет давным-давно в живых,
а значит, приобщились к тайне.

* * *

Сокрушаясь по поводу
кратковременности,
ты к последнему доводу
прибеги — отпусти.

Чтоб от бега ли, выстрела
ли — чего-то ещё,
сердце билось неистово,
как прикладом в плечо.

* * *

По ветру нос
и за славой по следу —
не перенёс
пораженья победу.

Вместо того,
чтобы плакать от счастья.
Сердце — того, —
на мельчайшие части.

* * *

Дом построим, два построим,
три построим — будем жить,
и споём, нет-нет — завоём,
чтоб соседей устрашить.

Не страшатся. Перестали.
Приручились и молчат.
Комплексный обед для стаи
подрастающих волчат.

* * *

Хлеба и зрелищ.
Зрелищ и хлеба.
Ты не поверишь, —
это всё — небо.
Небо июня
в доле мгновенья
от полнолунья
или затменья.

* * *

Как будто сняли маскировку
и день прозрачен, как стекло,
и демонстрировать обновку
весна спешит, пока тепло.

И в противостоянье вечном,
и с вечностью накоротке,
мы говорили на скворечном,
ежу понятном языке.

* * *

По воробьям из пушки — или! —
чтоб неповадно было: — Пли!
И даже не предупредили,
стерев, как пыль, с лица земли.

И дождь, сначала еле-еле,
а после зарядил на год.
А я, дрожа, в своей постели
молился на громоотвод.

* * *

блажен кто улыбку с лица
как если бы грим не смывает
блажен кто идёт до конца
и быстро как свечка сгорает

дорогу другим осветив
иди и не дёргайся кореш
мурлыча забытый мотив
а может быть ноту всего лишь

* * *

...и корабль плывёт
и оркестр играет,
и, как призрак, вот-вот,
вместе с бризом растает.

А на палубе джаз,
а на палубе танцы.
И единственный шанс
наконец-то расстаться.

* * *

стал как новый лист кленовый
после дождичка в четверг
летним полднем на садово-
кудринской где мокрый сквер
сладко вздрагивал от грома
и от радости в груди
как дитя среди содома
и гоморры посреди

Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /

Преодоление литературы[1]

I

Вот я сижу и думаю... Что-то затевается. Рука, столько потрудившаяся, вот эта самая рука с помятой кожей, с лиловыми венами, опять стучит по клавишам, неужели я всё ещё в силах выдавливать из своего мозга драгоценные капли воображения? Всю жизнь я старался писать не о себе. Всю жизнь писал о себе. Писатель — это тот, кто смотрится в зеркало и видит другого человека. Писатель изобретает себя заново. Если же тебе не дано раздвоиться, если не можешь пересоздать своего двойника в новое и независимое существо — не суйся в литературу. Но теперь довольно. Долой литературу! Теперь я, наконец, откину капюшон, сниму чёрные стёкла и отклею бороду, я больше не «художник», я — это просто я. Позволим себе эту роскошь — писать о себе самом, не увиливая.

И, однако, стоит мне только взяться за дело, как «дело» берётся за меня. Литература начинает распоряжаться мной. Литература, как старая любовница, которую хотят бросить, принимает свои меры. Мне хочется говорить только о собственной персоне, а получается, как ни глупо это звучит, что писать о себе легче, когда пишешь не о себе. В сущности, разделаться с самим собой только и возможно, если пишешь о ком-то другом. Это предисловие затянулось. Я помню, как однажды — совершенно незначительный случай — я сидел, закутанный в простыню, перед столиком с туалетными принадлежностями, и меня словно осенило: тот, кто смотрит на меня из овальной рамы, — ведь это и есть подлинник! Сам же я представляю собой весьма несовершенную копию. Человеку, занятому бумагомаранием, эта идея не должна показаться новостью, но в то время пишущий эти строки был далёк от желания стать сочинителем.

[1] Рассказы взяты из книги Б.Хазанова «Истинная история минувших времён», готовящейся к печати в издательстве «Алетейя» (СПб).

II

За моей спиной слышались приглушённые голоса, шаркали шаги, я видел в зеркале другие зеркала и в них смутные лица клиентов; тотчас их заслонило новое явление; на меня взирали двое: мой двойник и барышня в белом халате, на вид лет восемнадцати. По правилам этого учреждения обслуживающий персонал обязан подавать пример. То, что она сотворила из собственных волос, не поддавалось описанию: чудовищный колтун. Вдобавок выкрашенный в цвет, которому не подыщешь названия. Это сооружение склонилось надо мной, она оглядывала меня строгим профессиональным взором, так врач оценивает больного, так камнетёс примеряется к бесформенной глыбе.

Мне запомнился этот день, замечательный разве только тем, что за ним потянулась цепь происшествий, в которых чем дальше, тем всё меньше можно было заподозрить игру случая. Я приближался к возрасту Данте; мне исполнилось 30 лет. Вечером предстоял праздничный ужин, я пригласил двух-трёх коллег с жёнами. Незачем вдаваться в подробности того, каким образом я оказался в этом городе, они неинтересны. С некоторых пор соотечественники зачастили в страну, ещё недавно бывшую смертельным врагом, мужчины ради лёгкой жизни, чаще всего мнимой, девушки в надежде выйти замуж и здесь остаться. Мне повезло, я получил приглашение от фирмы, где срочно требовались программисты.

Клиента предупредили, что его будет обслуживать ученица. Опытный мастер работает играючи. Её лицо выдавало напряжённую старательность. Она отважно орудовала ножницами и машинкой, что-то без конца подправляла; мои требования были невелики: с обеих сторон и сзади; немного сверху; без пробора. Брови? Да, подправьте немного и брови.

Её руки. Я почувствовал это, как только она прикоснулась к моей коже: её пальцы были заряжены слабым электричеством. Поднимаясь с кресла, я не мог удержаться, чтобы не взглянуть ещё раз: узкая ладонь, длинные худые пальцы, как у всех тоненьких женщин.

Разумеется, я тотчас забыл о ней, покинув парикмахерскую; однако встаёт вопрос, не есть ли то, что оживает через столько лет, артефакт, изделие памяти, в котором, как в пищевых продуктах, подмешан консервант. Бычки в томате. Что у них общего с живой рыбой? Что было на самом деле? Во всяком случае, мне не могло придти в голову, что когда-нибудь я возьмусь описывать эту сцену и в который раз вступлю, картинно выражаясь, в единоборство с литературой. Но, по крайней мере, кулисы намечены, как я надеюсь, верно.

В следующий раз я попросился сесть «к ученице». Мне хотелось снова почувствовать робкую нежность её пальцев. Я следил за ними в зеркале. Левой рукой она слегка повернула мою голову. В правой мелькали ножницы. Она отложила их, провела пальцами

по моим щекам, не желаю ли я побриться? Как в первый раз, я ощутил тёплую эманацию. Я медлил, она ждала ответа.

Однажды я столкнулся с ней в магазине. Случайность не должна внушать подозрений: в нашей округе всё находится поблизости. Я стоял перед рядами запечатанных в целлофан колбас и сыров, пакетов с итальянскими пельменями, банок со сладким йогуртом, погрузившись в философическое раздумье, и услышал нежный голосок: со мной поздоровались.

«А-а...» — проговорил я и вспомнил. Мы вышли на улицу. Я спросил: «Вы здесь живёте?» — и прошагал вместе с ней часть пути. Без белого халата, в простеньком пальтеце, она выглядела иначе, оказалась ниже ростом, оттого что её больше не уродовала фантастическая причёска. Светло-русые жидковатые волосы спускались с обеих сторон, примерно так, как принято распускать волосы у нынешних барышень. Это изменило черты её лица, сделав её — иначе не скажешь — банально-загадочной. Но и это впечатление было мимолётным. Остановились на углу; она топталась, поглядывала по сторонам; мы свернули к моему дому, она спросила, когда я приду.

III

Явившись в очередной раз, я её не обнаружил. Срок производственной практики истёк, её не взяли на постоянную работу. Я не спросил, куда она подалась, изредка вспоминал прикосновение её пальцев, это было всё, что осталось в памяти. Случись нам столкнуться на улице, я бы её не узнал.

Я прекрасно понимаю, что все эти рассуждения, дуэль с двойником — раздражают читателя. Хватит философствовать, продолжайте рассказ. Никому нет дела до этой схватки с писательством внутри самого писательства. Но в конце концов я пишу — стараюсь писать — о себе и для себя.

Я хочу быть «объективным». Таково условие моего самоотчуждения. Сами по себе мелкие происшествия не могли, разумеется, выглядеть как нечто предначертанное. На языке тогдашней моей профессии — программа. Теперь я могу сказать, что это функция художественной словесности. Вечным вопросом, однако, остаётся, присутствует ли некий план, судьба или предопределение в реальной жизни — или это изобретение литературы.

Линда Майзель, так звали мою новую подругу, назначила мне встречу в студенческом районе, где мы должны были чувствовать себя непринуждённо. Я сидел в кафе у окна, наш роман только ещё затевался, Линда запаздывала, как и подобает недавней знакомой, вступающей на увлекательную стезю. Подошла кельнерша с блокнотиком. Я поднял глаза, она молча смотрела на меня. Я не сразу сообразил, в чём дело; девушка нервно поправила прядь волос, здравствуйте, сказала она, мы с вами знакомы. Тут я, наконец, вспомнил.

«Вы что будете заказывать?»

«Простите...» — проговорил я. Мне не хотелось, чтобы Линда увидела нас, хотя, казалось бы, что тут такого? Я сказал, что я передумал, и направился к выходу...

Она догнала меня на улице. Успела сбросить передник. Несколько времени мы шли, лавируя между прохожими, огибая столики, выставленные наружу по случаю тёплой погоды, в сторону, противоположную той, откуда должна была появиться Линда. Каблучки официантки прилежно постукивали следом за мной, это было похоже на бегство, это и было бегством; я всё ещё с досадой прижимал к уху мобильный телефон, никакого ответа. Мы наконец выбрались из толчеи, свернув на улицу Кронпринца, где, стиснутый домами, находился маленький сквер, — и плюхнулись на скамью. История выглядела крайне глупо. Ведь я сказал этой девице, там, в кафе, что у меня неотложные дела. Чего доброго, она могла истолковать это исчезновение как свою победу. Чего она от меня хотела?

Неожиданно телефон ожил у меня в кармане. Я услышал обиженный голос Линды. Женщины наделены мистической догадливостью. Мне показалось, что, слушая мои невнятные объяснения, она поняла, что я не один. Правда, эта настороженность означала, что там относятся к нашим едва начавшимся отношениям всерьёз.

Между тем буквально за несколько минут, как это бывает часто в нашем городе, небо заволоклось серыми облаками. На мне был непромокаемый плащ, а она в одном платьице. Она сидела, молча, съёжившись, подобрав под скамейку ноги в светлых чулках. Я спросил: она ушла с работы, это может ей дорого обойтись, успела ли она, по крайней мере, предупредить хозяина?

Стало накрапывать; мы укрылись в подъезде.

«А ведь я даже не знаю, — сказал я, — как вас... как тебя зовут».

Её звали Катарина.

Она спросила:

«Это ваша невеста?»

«Кати, — сказал я. — Давай уж лучше на ты».

Не могу вспомнить, то ли в этот, то ли в другой раз она сказала, что умеет гадать по руке.

Каждая девушка бессознательно ищет канал для эманации своей женственности. Видимо, это всё-таки было тогда же. Нечего и говорить о том, что я не находил в ней ничего притягательного. Но её пальцы чертили что-то на моей ладони, и вновь, как когда-то, я ощутил подобие слабого электрического разряда. Я сказал: ну-ка дай мне, схватил её за запястье, она отдёрнула руку и спрятала за спину. В чём дело?

«Не дам».

«Почему?»

«Ты там прочтёшь».

Оказалось, она боится, что я предскажу ей судьбу. Но ведь она сама может прочесть. Нет, у себя человек не может, это должен делать кто-то другой. Я заверил её, что понятия не имею о хиромантии. Загадкой было то, о чём я только что упомянул: удивительное свойство её прикосновений. Я протянул ей обе ладони. Она долго смотрела на них, её глаза потемнели. Я и теперь вижу этот сумрачный взгляд, он сбивает меня с толку. И вновь спрашиваю себя, в чью жизнь вторглась эта особа. Литературный двойник, некогда явившийся в зеркале парикмахерской, — не вытеснил ли он моё собственное я, не завладел ли моей памятью до такой степени, что я больше не в состоянии провести черту между действительностью и моим рассказом; собственно, рассказ и стал действительностью. Она спросила: «Мы увидимся?» Зачем? Я пожал плечами.

IV

По случаю десятилетия фирмы начальство устроило вечеринку, кто-то подал идею собраться в индийском ресторане «Джайпур». На дверях была вывешена картонка: «Geschlossene Gesellschaft», это означало, что зал закрыт для посторонних посетителей. Дамы явились в необыкновенных нарядах, мужчины с бабочками на шее. Были произнесены официальные тосты, к пиршественному столу подвезены столики с экзотическим кушаньями, официанты во фраках подливали в бокалы азиатские вина, вдруг что-то зашелестело, застучало, из усилителя полилась странная мелодия, послышались выкрики: знаменитый гуру исполнял, как нам объяснили, шиваитскую мантру в сопровождении барабана, дудочки из берцовой кости человека и фисгармонии. Затем певца сменил упоительный рок-н-ролл, уже выходивший из моды, после чего, наконец, ящик был отодвинут в сторону, вышел и уселся аккордеонист в сапогах и пёстрой рубахе до колен, с серьгой в ухе, раздвинул половинки своего инструмента. Раздался скрежет, словно двинулась телега.

Это и был вечер, на котором мы познакомились. Я увидел девушку, одиноко стоявшую у дверей. У неё были узкие и покатые плечи, широкие бёдра, то, что мне нравится в женщинах. Ваш кавалер покинул вас, сказал я. Она кивнула, смеясь. Народ окружил плясуна, который выкидывал коленца; Линда спросила: это русский танец? Мы земляки, сказал я, но работаем в разных отделах. Музыкант играл «Барыню». Продолжая выбрасывать ноги, распахнув объятья, танцор подъехал к нам — он вас приглашает, сказал я. — «Нет, уж лучше вы». — «Не умею, — возразил я, — но вообще-то полагается выходить женщине, этак, знаете, с платочком, чтобы помахивать». Мы покинули ресторан, я довёз её в своём «Опеле» до дома, вышел и открыл перед ней дверцу машины.

Несколько времени спустя наш роман достиг критической точки, после чего мы съехались и зажили супружеской жизнью, хоть и предпочли официальному браку свободное сожительство.

Далее произошло следующее: нам нужна была уборщица. Моя подруга, как истинно современная женщина, не была озабочена устройством домашнего очага, к тому же оба мы были заняты с утра до вечера. Линда была родом из Шлезвига, это чувствовалась по её северному произношению, работала лаборантом в радиологическом центре в Лотрингенгофе где впоследствии пришлось обследоваться ей самой. И я не могу отделаться от мысли, что оттуда, из этой мрачной цитадели с вывесками врачей и адвокатов, чьё архаическое название напоминало о потерянной Лотарингии, несчастье бросило тень на наш порог. Предвестьем беды был звонок.

Ранним утром звонок прогремел, когда мы ещё нежились в постели. Мы старались не заниматься любовью перед рабочим днём, тем не менее это случалось, по крайней мере, первое время, то и дело, и мы погружались в минутный сон, неотличимый от яви, — тут как раз и позвонили; я пошёл открывать.

Я стоял, завернувшись в халат, всё ещё окутанный облаком тепла; во всяком случае, мне показалось, что она чувствует, вдыхает эту волну, исходившую от моего нагого тела. Обалдев, я воззрился на гостью. «Ты по объявлению?..» — спросил я. Катарина преследовала меня, как рок. Я поплёлся в комнату, служившую нам гостиной. Из спальни вышла в халате Линда. Времени было в обрез, мы постарались поскорей отделаться от несвоевременного визита. Никаких объявлений в газете Катарина не видела, не было у нас и общих знакомых. Как она разыскала меня? Я не пытался выяснить.

Итак, она стала приходить к нам, сначала раз в неделю, потом чаще; стирала, гладила, возилась с пылесосом, убирала нашу супружескую постель и мыла посуду на кухне с таким же усердием, как когда-то стригла меня. Мы, то есть я и Кати, говорили снова друг другу «вы»; впрочем, она разговаривала больше с Линдой и даже старалась реже попадаться мне на глаза. Выяснилось, что она проживает за городом у тётки, едет автобусом до станции пригородного поезда. Потом метро и снова автобус. А что она делает в выходные дни? Ничего; сидит дома. Есть ли у неё друг? Кати помотала головой.

Собираюсь учить русский язык, добавила она. Но мы здесь с мужем не говорим по-русски, заметила Линда. С мужем? — переспросила Кати, на что фрау Майзель возразила: ну, какая разница. Вскоре официальное обращение отпало, обе женщины стали называть друг друга по имени, и мы все перешли на «ты».

V

Я при этих разговорах по большей части не присутствовал, но из того, что пересказывала мне Линда, понял, что она довольно подробно осведомлена о моём прежнем знакомстве с Катариной. Она в тебя влюблена, сказала Линда, смеясь. Ей же принадлежала идея поселить Катарину в квартире: чтобы добираться до нас,

бедной девушке приходилось вставать до рассвета. Мы поставили кровать и туалетный столик в комнатке, где по замыслу архитектора должна была находиться детская, Катарина привезла кое-какие вещи.

Тут оказалось, что она не спит по ночам. Просыпаясь, мы слышали шаги, шорох, иногда в гостиной горел свет. В чём дело? Кто-то к ней приходил. Ломился в дверь, она не пустила.

«Кто приходил?»

«Не знаю».

«Но ты сама выходила из комнаты».

«Я боялась».

«Чего боялась?»

«Что он снова придёт».

«Кто — он?»

Молчание.

«Кати, — сказала Линда. — Может быть, надо показаться врачу?»

После этого разговора ночные бдения как будто прекратились. До поры до времени.

Да, на какое-то время, — потому что однажды Линда, подняв голову с подушки, увидела в дверях нашей спальни похожую на привидение фигуру в белом. Катарина, дрожа от холода и страха, стояла в рубашке, поставив одну босую ступню на другую, голой рукой схватившись за притолоку. Вероятно, я тоже проснулся, но что было дальше, уже не помнил. Наутро всё показалось мне дурным сном. И всё же я не могу сказать, что был особенно удивлён, увидев в кровати обеих женщин. Я лежал у стены, Линда посредине, а на краю — голова Кати.

Светлые, очень тонкие, отчего они казались жидкими, в беспорядке рассыпанные волосы на уголке подушки. Я вспомнил её чудовищную причёску — тогда, в первый раз, в парикмахерской. Тотчас, вскочив, она побежала в длинной ночной рубашке к себе. Pavor nocturnus, ночные страхи, сказал невропатолог, с которым Линда, хоть и сумела увидеть в том, что случилось, смешную сторону, но всё же сочла нужным посоветоваться. Ничего опасного, по словам врача, эти страхи не представляют, однако свидетельствуют об эмоциональных потрясениях. Господи, какие же это могли быть потрясения? Линда, ничего не говоря о консультации, попыталась осторожно расспросить нашу служанку. Безрезультатно. Есть ли у неё кто-нибудь. В ответ Катарина только мотала головой.

С тех пор она время от времени, смущаясь, просила пустить её на ночь к нам, и можно было догадаться, что она не столько мучалась страхом перед мнимыми ночными визитами (над которыми порой сама смеялась, хоть и не ставила их под сомнение), сколько боится ожидания, что придёт страх. Боится проснуться одна ночью. С нами же спит, по её уверению, как сурок. Для неё положили третью подушку. На рассвете она потихоньку покидала нас. Линда плескалась в ванной. Выходя на кухню, я видел на-

крытый стол, нас ждал завтрак. Линда звала Катарину к столу. Но та больше не показывалась, пряталась в своём закутке, дожидаясь нашего ухода.

Однажды — мы вышли из подъезда, я провожал Линду до метро — произошёл такой разговор. У нас давно ничего не было, сказала она.

Я промолчал.

«Как же ты обходишься?»

«Что ты хочешь этим сказать?»

«Ты здоровый мужик», — сказала она, явно стараясь придать своим словам шутливый оттенок. Но я чувствовал, что она волнуется.

«Ну и что», — возразил я.

«Ты меня разлюбил».

«Перестань», — сказал я.

«Ты её стесняешься».

Я хотел спросить: а ты разве не стесняешься? И тут же подумал, что она могла бы — почему бы и нет? — делать это в присутствии Катарины. Назло ей.

«Но ведь можно, — продолжала она, — как-то устроиться. Она утром уходит, мы остаёмся одни. И вообще».

«Что вообще?»

«Запретить ей приходить к нам».

«Ты думаешь, это возможно?»

Это был нелепый вопрос, но он предупреждал то, о чём она не решалась заговорить; чутьё подсказывало ей, что даже если Катарина оставит нас в покое, мы больше не сможем быть мужем и женой. Почему?

«Потому, — сказала Линда. — Она мстит».

«Кому мстит?»

«Тебе».

«Чепуха. Давай её прогоним».

«Как это?»

«Найдём другую, вот и всё».

Линда шагала, глядя в пространство, еле заметно качала головой.

«На худой конец, я и сам справлюсь».

«Ты?»

«А что тут такого. Бельё будем отдавать в прачечную. Пока кого-нибудь не подыщем».

Я довёл её до эскалатора, сам двинулся на работу пешком.

VI

Линда чувствовала себя нехорошо, жаловалась на переутомление, я спросил: что показали анализы? Ничего; всё в норме. Выглядела она неважно, груди опали. Может быть, нам следует завести ребёнка? А вот спросим, сказала она, усмехнувшись, у Кати. Всё это мне очень не нравилось, я снова сказал: давай откажем ей.

Был вечер, мы засиделись допоздна. Обе женщины сидели друг против друга, Катарина держала в руках ладонь Линды. Была прочитана маленькая лекция по хиромантии. Через пальцы проникает влияние небесных светил, например, указательный — это палец Юпитера. Бугры тоже называются в честь планет. Вот это — бугор Аполлона.

«Такой планеты нет», — сказал я.

«Но главное — линии. Вот линия жизни...»

«Что же она обозначает?»

«Обозначает? Ничего, хорошая линия».

«Я устала, — сказала Линда, вставая. — Пойду, лягу... Ты, Кати, пожалуйста, не вскакивай ни свет ни заря. Я сама управлюсь».

Дверь закрылась. Помолчав, я спросил:

«Что ты там увидела?»

Кати подняла на меня глаза.

«Линия жизни оборвана».

«То есть, ты хочешь сказать?..»

«Ничего я не хочу. Дай мне руку».

«Мне кажется, — сказал я, — она почуяла что-то неладное. Видишь ли, она верит во всю эту чепуху... Но скажи хотя бы мне».

Она молчала.

«Кати!»

Молчание.

«Слушай, — сказал я. — С этим пора кончать».

«С чем?»

«Ты прекрасно знаешь: я тебя не люблю. Тебе надо от нас уходить».

«Куда?»

«Куда хочешь. Но надо уходить. Ты её погубишь».

Она водила пальцем по моей ладони. Несколько времени погодя я увидел, войдя в спальню, что подушки переложены. Линда спала у стены. Я лёг рядом с ней. Третье место оставалось пустым.

Я открыл глаза, когда рассвет едва брезжил между полузадёрнутых гардин. То странное обстоятельство, что я очутился посреди двух женщин, меня отнюдь не возбудило, напротив, погасило желание. Я лежал, остерегаясь шевельнуться. Мысль о том, что я мог бы, — пожалуй, даже обязан — удовлетворить обеих, показалась мне абсурдной. Это означало бы стать рабом и той, и другой. Превратиться в механическую куклу. Или?..

В эту минуту меня как будто осенило — выражение, не слишком подходящее для такой ситуации, но другого слова я не могу найти; да, меня настигла та же мысль, с которой я начал этот рассказ, — при том что я вовсе не помышлял о литературе, — мысль о раздвоении, о том, что в зеркале моего существования появилось другое «я». Представим себе, что мой, мною же изобретённый двойник станет жить с девушкой из парикмахерской, а сам я — с моей Линдой.

В конце концов это разрешило бы всю нашу коллизию. Какую коллизию? Кажется, до сих пор между нами не было никаких

ссор. По безмолвному уговору мы избегали «выяснять отношения». Правда, ничего предосудительного не произошло; наша лояльность, моя и Линды, по отношению к Катарине достигла определенного рубежа, на котором мы и остановились.

Я согласен, что рассуждения в этом роде могут придти в голову только в сумеречной зоне между сном и бодрствованием. Но я почувствовал, что обязан что-то кому-то доказать; кому же? Линде, конечно. Доказать, что я её люблю. Но и Катарине — что я к ней равнодушен. Да, я должен был доказать это, как ни смешно, «на деле». Ни та, ни другая, разумеется, не знают о том, что я заключил тайный договор с моим двойником.

И я осторожно протягиваю руку, я ощущаю под тонкой ночной сорочкой разогретое сном тело моей подруги. Она тихо стонет — должно быть, ей мнится, что время вставать, идти на работу... Линда что-то бормочет и, бормоча, поворачивается ко мне. Несколько мгновений спустя она лежит на спине, её руки обнимают меня, грудь дышит подо мной, в полутьме она принимает меня. Всё происходит в считанные секунды. И мы погружаемся в небытиё. Но когда, наконец, я оставляю её, поворачиваюсь спиной, я оказываюсь, чуть ли не нос к носу, с открытыми настежь, неподвижными глазами Катарины. Несколько минут мы вперяемся друг в друга, и я чувствую, как её пальцы, струящие слабое электричество, крадутся к моему уснувшему полу и останавливаются, почти достигнув цели.

Утром мы сидим за завтраком, все трое, вопреки намерению Линды встать пораньше; за окнами — тусклое серебро непогоды. Служанка включила свет. Спохватившись, Линда взглядывает на часы, вскакивает, я выбегаю следом за ней на лестницу, «ты забыла зонтик!» — кричу я.

VII

Когда я снова уселся перед недопитым кофе, Кати стояла у окна. Не оборачиваясь, спросила:

«Ты не опоздаешь?»

«Сядь», — сказал я.

Помедлив, с отчуждённым видом она присела к столу.

«Это называется ménage à trois».

Она не поняла.

«Брак втроём. Как ты на это смотришь?»

«Вы опоздаете на работу». Неожиданно она перешла на вы.

«Успеется... — Я злобно усмехнулся. — Как же мы дальше будем жить? По очереди, что ли?»

«У нас с тобой ничего не было». (Снова — на ты.)

«К этому идёт!»

Она пожала плечами.

«Ты этого хочешь? Ты этого добиваешься?»

«Она тоже хочет», — сказала Кати.

«Она больна! Тебе это понятно?»

«Я это знаю».

«И ты... — сказал я, задыхаясь, — ты позволяешь себе!..»

Она молчала, уставилась на меня потемневшими глазами.

Я продолжал, уже не столь уверенно:

«Ты всё время преследуешь меня. Ты постоянно перебегаешь мне дорогу. С самого начала, с той самой парикмахерской, куда меня чёрт занёс...»

«Не чёрт».

«А кто же ещё?»

«Судьба».

«А! это одно и то же».

«Я тебя любила», — пробормотала она.

«Знаешь что? Катись ты со своей любовью... знаешь, куда?»

Она шептала: «Я мечтала о тебе дни и ночи. Я тебя всюду искала. Ты не представляешь себе... — голос её окреп и стал переливчатым, она глубоко дышала открытым ртом, словно ей не хватало воздуха, она покачивалась, — ты даже не представляешь, как я была счастлива, когда я увидела тебя там, в кафе, ты сидел у окна, я подумала: да ведь он меня ждёт! Ты думал, что ждёшь ёе, а на самом деле, я это поняла — ты ждал меня!»

А что если, подумал я со страхом, — что если она права?..

«Слушай, — сказал я. Всё во мне дрожало. — Я не знаю, кто ты такая. Я вообще ничего не знаю: кто ты и что ты... Давай с тобой распрощаемся, я тебе сразу сейчас заплачу, и... и убирайся отсюда. Немедленно. Собирай свои вещи... Я тебя провожу. Давай, живо...»

Она опустила голову, потом темно взглянула на меня и ушла в свою комнату. Я набрал номер моего бюро, сказать, что приду позже. Вынес её чемодан, она шла следом с сумкой. Мы вышли из подъезда, я уселся за руль, она села сзади. Был час пик, и пришлось довольно долго добираться до вокзала. Всё это время мы молчали. Мы взглянули на расписание, я купил ей билет, и мы поспешили к перрону; поезд вот-вот должен был отойти.

«Ну, Кати... — пробормотал я. — Не поминай лихом».

С вокзала, не заезжая домой, я отправился на работу. Я испытывал необычайное облегчение. Всё наладится, думал я, всё будет хорошо, мы расплатились с судьбой, — эта странная мысль тоже пришла мне в голову. Линда поправится. Я сразу же ей позвонил. Получен ли ответ. Накануне снова было проведено обследование. Да, получен. Какой? Всё в порядке. Она не могла долго разговаривать. «Но скажи, по крайней мере: что-нибудь нашли?» — «Ничего не нашли». — «Ты говоришь мне правду?» — «Да».

Я не стал ей говорить про Катарину. Мы от неё отделались, баста. Теперь надо укрепить здоровье. Можно взять отпуск и махнуть куда-нибудь — в Грецию, в Испанию, на Балеарские острова. Мы свободны! Вечером, когда я вернулся, в квартире стояла непривычная тишина. Я вошёл в спальню, моя подруга лежала в постели, ей нездоровилось. Я приготовлю ужин, сказал я, Кати уехала. Навсегда.

Тотчас дверь спальни открылась, неслышно, как бы сама собой, — я увидел её на пороге. Кого? Катарину! Я был совершенно сбит с толку — как же так? Я сам, своими ушами слышал, как ударил колокол, своими глазами видел, как захлопнулись двери, поезд тронулся, увозя эту ведьму, наше проклятье, наше горе. И я поплёлся на кухню, где меня ожидал ужин.

VIII

Этой ночью мне снился жуткий сон. Как будто я проснулся во тьме и не сразу смог различить фигуру, стоявшую на пороге совершенно так же, как стояла накануне, самовольно вернувшись, Катарина. Но теперь она была в чёрном платье, в чёрных чулках, на голове плат, как у монахини. Я хотел спросить, что она тут делает, но губы её шевелились, я скорее догадался, чем услышал, — хватит валяться, сказала она, все ждут. Кто, кто ждёт? — спросил я, вперяясь в темноту. Неведомые друзья, родственники, которых я никогда не видел, собрались проводить в последний путь Линду. Я раздумывал, где мне взять подобающую одежду; в это время я уже не спал и, сидя на кровати, слышал сквозь щель плохо прикрытой двери приглушённые голоса. В гостиной горел свет.

Далее происходило то, что чаще бывает в книгах или в театре, чем в жизни; но я уже говорил, что преодоление литературы совершается в ней самой и действительность моего рассказа есть единственная подлинная действительность. Беседовали двое — а я стоял, запахнувшись в халат, и подслушивал. В усталом голосе моей подруги не было раздражения, ей вторил подобострастный голос служанки. Не успел я, однако, разобрать отдельные слова, как обе умолкли — должно быть, услышали шорох в спальне. Потом Линда сказала:

«Он спит».

В самом деле, то, о чём они говорили, — когда снова заговорили, — я всё ещё воспринимал сквозь завесу сна. И звучало всё это неестественно. Как будто говорящие куклы, подражая голосам моих женщин, выдавали кем-то сочинённый текст. Как в первые дни, Катарина говорила хозяйке: вы.

Первые слова я не расслышал.

«...Что вы, фрау Майзель, зачем же так говорить».

«Я знаю».

«Я бы никогда не вернулась, если б не знала, что вы ещё не совсем поправились».

«Я не поправлюсь».

«Что вы, зачем так говорить».

«Я всё равно для него уже не гожусь. Я для него обуза».

«Если вы думаете, что я... Он сказал, что он ко мне равнодушен».

«Это для того, чтобы успокоить свою совесть. Ты молода, у тебя красивая грудь. Единственный недостаток — узкие бёдра».

«Почему же недостаток».

«Он любит широкобёдрых».

«Теперь я понимаю, в чём дело. Если бы на моём месте оказалась какая-нибудь бабища...»

«Можешь не продолжать. Я вовсе не утверждаю, что это самое главное».

«А что главное?»

«Не знаю. Всё вместе».

«Вы думаете, мужчин никогда не поймёшь?»

«Нет. Не думаю. Наоборот».

«Он сказал, что он меня не любит. Я некрасивая. Я некрасивая!»

Мне показалось, что она всхлипнула.

«Ничего... как-нибудь. Хватит об этом. Пора, — сказала Линда. — Они идут».

«Ваши родственники?»

«Бог их знает, чьи. Мне пора».

Не выдержав, я распахнул дверь в гостиную. Но там уже никого не было. Донёсся шум шагов, приглушённые голоса. Гроб несли по лестнице.

Мне нужно было одеться. Я бросился в спальню. Обе женщины лежали в постели, посредине было оставлено место для меня. Вот так здорово — поистине комическая ситуация! Я трясся, давясь от хохота, зажимая рот, чтобы их не разбудить.

IX

Здесь придётся сделать перерыв, прежде чем закончить: дело в том, что сама эта концовка внушает некоторые сомнения.

Я понимаю, что оговорки и отступления нарушают «художественный эффект».

Я стараюсь быть объективным; что это значит? Характер действующих лиц выражается в их поведении, а поведение, не правда ли, вытекает из характера. Герой романа — не марионетка, он живёт собственной жизнью, его судьба — законное следствие его поступков, автор ничего не может с этим поделать. И так далее... Но, может быть, дело обстоит как раз наоборот. Судьбу героев решает писатель, и это предначертание, как тёмная туча, нависает над ними, руководит их поступками и ведёт их к фатальному концу.

Мы возвращаемся — я и Кати — в очередной раз из больницы. Линда, в полубессознательном состоянии, под морфием, с трудом поднимала веки. Я не стал ужинать и сразу лёг. Очнулся на рассвете.

Катарина лежала, отодвинувшись от меня, на краю кровати. Я устроился поудобнее, натянул повыше одеяло в надежде подремать ещё часок, тут она повернулась ко мне, я различил в полутьме её неподвижный взгляд. Нет уж, подумал я, и, закрыв глаза, зарылся в подушку, но почувствовал её руку. Длинные пальцы, как черви, ползли по бедру, пальцы, это был тот странный ка-

нал, — прошу не счесть меня за умалишённого, — по которому струился ток, мстительная и агрессивная эманация. Озлившись, я сбросил с себя её руку.

Через минуту я вновь ощутил её прикосновение. Магнетизм, или как это можно было назвать, коварным образом вершил своё дело, я всё ещё был полон решимости сопротивляться, но уже где-то на дне сознания мерцала блудливая мыслишка. Ладно, пусть это будет первый и последний раз, чтобы затем покончить с нею раз и навсегда! Как бы нехотя я придвинулся к Катарине. Она с готовностью потянула меня к себе и приняла нужную позу. Я уже ни о чём не помнил. И тут, на самом пороге наслаждения, она загородила рукой вход. «Что такое, — прохрипел я. — Кати!..».

«А вот то самое», — неожиданно спокойно сказал её голос, она уже стояла перед кроватью, и её нагота должна была договорить то, о чём я лишь смутно догадывался. Я остался лежать. Подхватив одежду, она вышла; я удивился, как быстро она сумела собрать свои пожитки, — или приготовилась заранее? Хлопнула входная дверь, и больше я Катарину никогда не видел.

Нина Купцова

Бывают дни, когда как будто ничего не происходит. Иные события вовсе не кажутся событиями. Так было, когда в доме поселилась Нина Купцова.

Мы, конечно, понимаем, что стоит только заговорить о знакомстве мужчины и женщины, как рот наполняется слюной: фантазия читателя — или, может быть, следует говорить о недостатке фантазии? — мгновенно прокладывает рельсы, по которым, как поезд по известному маршруту, должна покатиться вся история: конечная остановка — постель.

Ничего подобного. Молодой человек, снимавший каморку в полудеревенском доме не улице Александра Невского, не был одержим столь разнузданным воображением. Правильней будет сказать, что он стыдился женщин или, что то же самое, стыдился самого себя. Вдобавок он был занят. Каждое утро он выходил во дворик справить нужду и совершить обряд гимнастики; тут же, если это было тёплое время года, находился умывальник. Позавтракав чем Бог послал, он направлялся с чемоданчиком, где лежали его тетради и белый халат, к трамвайной остановке, под вечер возвращался. Вряд ли кто-нибудь в этом сонном Заречье толком знал, кто такой был святой благоверный князь Александр Невский, но, по крайней мере, пожилым людям название могло напомнить о кинофильме. Вдоль проезжей части по обе стороны улицы тянулись кюветы. Вы поднимались на крыльцо, входили в сени, слева помещались покои хозяйки, справа обитал Володя. Узкая лестница вела в мезонин.

Когда возникла Нина Купцова, когда появилась в городе? Годы спустя припомнить было невозможно, история оказалась по-

гребена под завалами памяти. Подчас мы вспоминаем не то, что было на самом деле, а наши собственные воспоминания, и это похоже на кружение в зеркалах.

Он случайно столкнулся с соседкой утром во дворе, она выходила из дощатого домика, в коротком халатике с пояском, подчеркнувшим хилые бёдра. Вернувшись в сени, он увидел её голые ноги, поднимавшиеся по лесенке. На другой день она снова встретилась ему во дворе, пробежала мимо с преувеличенной, как ему показалось, скромностью; потом ещё раз. «Вы учитесь в медицинском?» — спросила она, стоя на нижней ступеньке, и после этого студент её не видел. Она исчезла так же внезапно, как и явилась. Уехала, как позднее выяснилось, домой, к родителям в Савватьевский район, в несусветную глушь. И больше он о ней вроде бы не вспоминал.

Как вдруг однажды вечером к нему постучались. Он поднял голову от книг. Была уже осень, на столе горела керосиновая лампа — отключили ток. Или, может быть, ещё не успели провести электричество в Заречье. В комнату ворвалось какое-то дуновение, слабый ветер шевельнул страницы, но было ли так на самом деле или то, что затеялось позже, овеяло тревогой незначительный инцидент, придало ему особое значение? Решить трудно, ведь память всегда осложнена тем, что случилось п о т о м.

Это была она, и вновь ему показалось, что тут скорее делают вид, будто стесняются своего вторжения.

Она была небольшого роста, бледная, худенькая, пожалуй, даже болезненная, чем отчасти оправдывалась цель её визита. Мелкие черты лица, короткие, негустые и почти бесцветные волосы, — скользнув по ней глазами где-нибудь на улице, тотчас забудешь.

Она, наверное, помешала? «Вы такой...» — «Какой?» — спросил он. «Так много занимаетесь». Студент пожал плечами, указал на вторую табуретку. Нет, она только на минутку.

«А что случилось?»

«Болит. Всё время колет, вот здесь».

Студент спросил: давно ли? При физических нагрузках или в покое? Есть ли одышка? В этом семестре начались занятия в клинике, пропедевтика внутренних болезней. Прежде чем приступить к осмотру, необходимо выслушать жалобы и собрать анамнез.

Получив неопределённый ответ, он встал, положил на кровать чемоданчик и вынул новенький фонендоскоп. Вставил в уши металлические рога, постукал пальцем по эбонитовой чашечке. Нина стояла лицом к свету, её глаза блестели, похоже было, что она действительно волнуется. Она подняла кофточку, показался нижний край лифчика. Студент деликатно отодвинул край лифчика повыше, приложил фонендоскоп к точке выслушивания митрального клапана, услышал мерные, гулкие, несколько учащённые удары, затем к точке трикуспидального клапана, теперь здесь, сказал он, имея в виду обе верхние точки — клапаны аорты и лёгочной артерии. Она подтянула кофточку к ключицам, придерживала подбо-

родком, пряча в ладонях чашки тесного бюстгальтера. Врач должен уметь, осматривая больную, отрешиться от посторонних мыслей. Володя вынул из ушей рога фонендоскопа, повесил на шею. Тоны сердца, сказал он, ясные, ритмичные. Шумов нет.

Засим должны были последовать рекомендации, назначено лечение, но стало ясно, что надобности в советах нет. Она что-то лепетала, оправляя одежду, дескать, очень была напугана, но теперь успокоилась. В награду студент был приглашен в воскресенье на день рождения.

Он вернулся из города, когда всё было уже готово, стол накрыт у хозяйки, тёти Груши, которой Нина приходилась дальней роднёй. Шёлковый оранжевый абажур, недавно приобретенный (значит, электричество всё-таки существовало), освещал крахмальную скатерть, рюмки, вилки, тарелки с ломтиками сыра, копчёной колбасы, розоватого свиного сала, графин с водкой, настоянной на лимоне. С подарком в руках студент стоял на пороге, поспешно посторонился — Нина Купцова, неожиданно высокая на длинных, как корабли, лакированных туфлях, в пестром фартуке поверх крепдешинового платья с подкладными плечами, несла в тонких оголённых руках чугунную сковороду с глазуньей. Все уже накладывали себе еду, была чинно выпита первая рюмка и заедена сальцом, и тётя Груша утирала пальцем уголки морщинистого рта, и виновница торжества, поглядывая на Володю, опускала и поднимала густо накрашенные ресницы, когда явилась ещё одна гостья с великолепным приношением — дочь хозяйки, работавшая на кондитерской фабрике. Картонную коробку поставили на стол, распустили шёлковую ленточку. Именинница всплеснула ладонями, на жёлтой маслянисто-кремовой поверхности торта было выложено шоколадное число: 20.

Сидели: тётя Груша с именинницей по одну сторону, дочь тёти Груши с Володей по другую, так что студент и Нина оказались напротив друг друга. Ещё не рядом, что означало бы некую степень официальной близости, но как бы на полпути. Тут он почувствовал, как маленькая ступня, выпростанная из туфли, ищет его колено. При этом Нина, порозовевшая, с блестящими глазами, оживлённо болтала, не глядя на него.

«А вот я вам чего расскажу», — прервала её тётя Груша.

Нога старалась попасть между коленями. Кажется, Нина даде слегка откинулась, отчего нога под столом удлинилась. Он незаметно опустил руку, хотел схватить. Нога отпрянула.

«Бывало, сядем на крылечке, ночь такая звёздная! А я шебутная была».

Игра под столом возобновилась.

«Ишь, говорит, чего задумала — купаться, в этакую темнотищу».

Дочь хозяйки крутила ручку патефона. Послышалось шипенье, задребезжал допотопный эстрадный ансамбль. И — о, минувшие годы, дорогие сердцу воспоминания! — сладкозавлекательный тенор всколыхнул душу. «Я-а-а пришёл в бе-

седку. Где с тобой встречались!» — то был дивный Вадим Козин, довоенная знаменитость. К несчастью, имя это ничего не говорило студенту.

Тётя Груша пригорюнилась, подпёрла щеку ладонью. Гость с хозяйской дочкой прошлись туда-сюда, дама была крупная дородная женщина, выше Володи, норовила сама вести кавалера, и вообще ничего не получалось из танца.

«Да ну его», — сказала дочь тёти Груши и остановила патефон.

«Чай, что ли, подавать?» — спросила она. Нина исчезла. Комната — стены, фотографии, занавески на тёмных окошках — медленно поворачивалась. Часы рядом с портретом молодожёнов прокуковали сколько-то раз. Тётя Груша, держа во рту шпильки, закручивала узелком серые волосы на затылке. Дочь сняла со стены гитару, перевязанную голубой лентой. На столе перед хозяйкой поставили полную рюмку.

Нина стояла на пороге, на ней был снова пестрядинный передник. Тётя Груша, с гитарой на коленях, перекрестилась, взглянула на именинницу, «за тебя, девушка, дай тебе Господь», — медленно выпила, возведя глаза к потолку, утёрла губы и ударила по струнам.

Дррынь! Руки в боки, тта, тта, тта, — Нина Купцова, отшвырнув в сторону туфли, стуча пятками, качая бёдрами, подъехала к гостю, студент встал, но он не умел плясать русского. Перешли, не попадая в такт, на танго. Она извивалась в его руках. Тут, однако, обнаружилось нечто такое, в чём невозможно было усомниться, да, по правде сказать, и не слишком удивившее. Под передником не было бюстгальтера, и вообще не было ничего. Он держал Нину повыше талии, стараясь не уронить, и чувствовал под пальцами её лопатки. Почти непроизвольно его рука опустилась к завязанному бантиком узлу передника, ниже двигались её прохладные ягодицы. Ноги в паутинных чулках послушно следовали за его шажками. Хозяйка словно ничего не заметила, гитара дребезжала вовсю. Дочь, вместо того, чтобы пить чай с тортом, который уже начал плавиться, уплетала что-то принесённое с кухни Ниной, мутно поглядывала на танцующих. Много лет спустя всё это представлялось каким-то сновидением.

«Жарко было, вот я и сняла». Оба сидели на кухне. Нина успела вновь облачиться в платье с крупными цветами.

«А как же они?» — спросил он несколько невпопад.

«Что — они?»

«Как же они?..»

«Да никак. Небось, пьяные обе. Может, ты чайку хочешь?»

Из комнаты, где остались мать и дочь, не доносилось ни звука.

«А ты, может, чего подумал, — сказала она насмешливо. Он не знал, что ответить. Нина вздохнула. — Чтой-то я не в себе. Вроде бы не пила много. Пойти спать, что ль».

Помолчали.

«Надо бы искупаться», — сказала она вдруг.

Студент воззрился на неё.

«А чего. Я ночью люблю купаться».

Да ведь холодно, осень, хотел он сказать.

«Ничего, мы закалённые. Пойдёшь со мной?»

Рюмки, тарелки с остатками еды, растерзанный торт — всё осталось на столе, одиноко стояла в углу гитара, дочь ушла, хозяйка отправилась на покой. Четвёртый час ночи в начале. В полутьме Нина Купцова бодро — ни в одном глазу, — мелкими женскими шажками спешила по улице Александра Невского вдоль спящих домов, мимо канав и мостков, студент едва поспевал за ней. В этом есть определённая логика, думал он. Если вот так, шаг за шагом, она обнажается всё больше перед ним, то ведь это должно что-то означать. Улица растворилась в ночном тумане, пропали фонари, что-то хлюпает под ногами. Куда-то повернули, увидели призрачный блеск воды.

Подошли к полусгнившей скамье. «Отвернись».

Студент смотрел на неё, как зачарованный. Отвернись... Но ведь я обнимал тебя, и на тебе ничего не было. Действительно ли она танцовала с ним в одном переднике? Хмель выветрился, и теперь уже не было полной уверенности.

«Баб не видал, что ли, — проговорила она спокойно. — Ты же врач».

Бр-р-р! Пошатываясь и балансируя тонкими руками, она входила в воду, бросилась вперёд, уверенно поплыла и через несколько мгновений исчезла, слышался только слабый плеск.

Володя стоял в трусах, стуча зубами, и не решался последовать её примеру. Вода казалась ледяной. Господи, как же называлась эта речка, где-то неподалёку она вливалась в Волгу. Он поплыл. Нины нигде не было видно. Наконец, он увидел фигурку, белеющую на берегу. Он вышел ей навстречу. Они были одни, словно первые люди на земле. «Ну уж нет, — пробормотала она, — этого ещё не хватало. Убери грапки». Сопротивляясь, она откинулась и на мгновение прижалась лоном. Словно хотела убедиться — убедиться в чём? Он всё ещё боялся оскорбить её невинность. Молча поплыли назад.

Наутро, с трудом поднявшись, не завтракая, он поплёлся на занятия, вечером и на другой день не видел Нину, она снова уехала. К кому, спросил он. Не к родителям же. Кто-то её там поджидал, местный какой-нибудь ухажёр. Мгновенно всё стало ясно. Она сбежала в город от его домогательств. Но он успел покорить её сердце, и вот, не выдержала, полетела назад, будто бы повидаться с родными, а на самом к нему. И там, наконец, ему отдалась. Что ж, — и он зловеще усмехнулся, — если она приедет снова, он не будет больше таким мямлей. С «ними» надо быть решительным. Он брёл со своей группой по коридорам клиники, слушал и не слушал объяснения ассистента, и представлял себе, как он поздним вечером поднимется в мезонин. Нина будет уже в постели. Ах, ах, это ты... Да, я!

Как это он не догадался: она хотела, а он всё не решался. Была уже согласна, а он медлил. Нельзя иначе толковать все её штучки, как готовность сойтись. И он почувствовал — что-то сдвинулось, он уже не думал о том, что она где-то с кем-то. Ревность уступила место одной единственной мысли. Всё сосредоточилось на этом. Он разжигал себя. Без конца вспоминал, как она прижималась низом там, на тёмном берегу. Во всех подробностях воображал свидание в её комнате. Только бы дождаться её возвращения. Но проходили дни, Нина не появлялась. Так и осталась навсегда в своей глухомани. И время охладило Володю, он всё реже думал о Нине Купцовой, и стало даже неприятно вспоминать эту вакхическую ночь. Вероятно, это был первый шаг к тому, чтобы она, наконец, превратилась в нечто малоправдоподобное, небывшее. Была глубокая зима. Снег скрипел под ногами. Огни трамвая показались в сизом тумане, толпа на остановке готовилась к штурму. Втиснувшись, он стал у окна на задней площадке, над змеящимся, заснеженным рельсовым путём. Выехали на каменный мост, город раздвинулся, внизу расстилалось белое поле реки с дорожками пешеходов, и вдали, у излучины, белела, темнела, безглавая башня монастыря. Трамвай затормозил на другом берегу. Здесь больше сходило народу, чем входило. Нина подошла к нему.

Да, это была она, в шапке-ушанке, в форменном пальто и чёрных валенках с галошами. Из подшитых перчаток высовывались два пальца, большой и указательный, чтобы удобней было отрывать билетики и отсчитывать мелочь, на груди у Нины висели бумажные рулончики, на животе кожаная сумка. Ваш билет, сказала она.

Пассажир смотрел на неё, открыв рот. Она повторила:

«Билет предъявите».

«У меня нет билета».

«Платите штраф».

«Нина, — проговорил он. — Откуда ты?»

«От верблюда. Нет денег — ходи пешком».

Она высунулась из вагона, громко заверещал её свисток. Студент ждал, что будет дальше. Можно было удрать, он медлил. Трамвай стоял на остановке. Милиционер подошёл к подножке. Нина сказала:

«Извини, сержант, побеспокоила. Безбилетный попался, не хотел платить штраф».

«Заплатил?»

«Заплатил, куды ж он денется».

«То-то же», — сказал сержант, смерив глазами студента. И трамвай тронулся.

«Чего ж так обеднял-то», — бросила она и двинулась валкой походкой к переднему входу. Студент спрыгнул на ходу перед поворотом на главную улицу, которая, как все главные улицы во всех городах, называлась Советской.

Город был не мал, но и не так уж велик. Как положено, на центральной площади, посреди цветника возвышался алебастро-

вый вождь мирового пролетариата. В пяти минутах ходьбы, на месте бывшего собора, находилась вторая площадь, где тоже стоял памятник — теперь уже невозможно вспомнить, кому. За оградой — здание медицинского института, а напротив, по другую сторону от площади, импозантный дворец, там, как утверждали, царица Екатерина останавливалась на пути из одной столицы в другую. Необъяснимым образом дворец уцелел в войну. И всё так же торчал вдали, где река, изгибаясь, образовала полуостров, в своём жалком величии остов древнего монастыря.

Время от времени, когда ветер менял направление, город окутывало желтоватое облако. Дыхание чрезвычайно важного, секретного химкомбината, которому город был обязан районом новостроек, изменило облик горожан, лица мужчин сделались жёстче, мрачней, проступили северные угро-финские черты, а у женщин, всё ещё сохранивших среднерусскую мягкость, лица стали бледней и прозрачней. Володя приехал из столицы — здесь было легче поступить в институт, — кое-что знал из истории здешних мест. Город был едва ли не старше Москвы, некогда оспаривал у Владимира великокняжеский стол. Сколько-то веков тому назад дружина здешнего князя расколошматила рать татарского хана Кавгадая, победила его союзника, московского князя Юрия, но полегла и сама. С той поры воины в остроконечных шлемах поднимались из могил всякий раз, когда городу грозил набег и гудел набат. Давно уже нет набатного колокола, ничего не осталось от собора. Никто не вышел из-под земли страшной осенью сорок первого года. Дважды город на Волге был разрушен, сперва отступавшие взорвали всё, что успели, остальное погибло в уличных боях, когда наши вернулись. И теперь город отстраивался заново, но уже по-другому.

Вечером, воротившись домой, студент ожидал увидеть Нину, где же она, спросил он. «Нина твоя здесь больше не живёт», — мрачно ответствовала тётя Груша, и больше ни слова.

Глядя в пол, он спросил:

«А где же?»

«Что где?»

«Где она теперь живёт?»

«Я почём знаю». И надо же было случиться, что, сойдя на другой вечер с трамвая на остановке Александра Невского, он столкнулся с ней.

Она была всё в том же трамвайном пальто и валенках с галошами, но вместо ушанки на ней была низко надвинутая вязаная шапочка колпаком; концы волос закрывали щёки, придавая Нине детский вид; мельком взглянула на него и перевела взгляд на толпу.

Он спросил, трудно ли работать кондуктором.

«А я там больше не работаю!»

Почему, спросил он.

«Да ну их. Надоело».

«Ты... — он замялся. — Ты кого-нибудь ждёшь?»

«Тебя, кого же».

Он сказал: «Неправда».

Подошёл следующий трамвай, снова вывалилась толпа, и опять она искала глазами кого-то. «Ну, я пошёл», — пробормотал он. Нина остановила его.

«Замёрзла я чтой-то. Ещё простыну. Проводи, раз такое дело».

«Да не так, — говорила она, — учить тебя надо... — Оба неловко шагали по узкой дорожке вдоль засыпанной снегом канавы. — Девушку надо взять под руку. А то ещё шлёпнусь, не дай Бог».

Сумерки сгустились, это была улица, соседняя с Александром Невским. Улица называлась Канавка. Дом был поменьше, чем у тёти Груши.

Поднялись на крыльцо, у Нины свой ключ, там сени, потёмки, глухая тишина. Скрипнула дверь, щёлкнул выключатель. Глазам предстали хоромы. С потолка, вся увешанная сосульками, свисала, допотопная люстра, тусклое призрачное сияние озарило портреты в облупленных рамах, выставку икон в красном углу, старинный резной комод и обширную кровать с затейливым изголовьем, с подушками горой и сероватым кружевным подзором. Нина сидела в разлапистом кресле, студент опустился на колено, стянул с неё валенки. Она подтягивала чулок, высоко подняв ногу, поправляла подвязку.

В комнату, неслышно подкравшись, заглянула щербатая старуха-горбунья... Студент поднялся с пола, Нина одёрнула подол

«Брат приехал, бабушка».

«Откеля?»

«Из Москвы, бабушка».

«Нешто у тебя в Москве брат?»

Хозяйка водила утиным носом, приглядывалась, принюхивалась.

«Мы, бабушка, чай будем пить».

«Здесь нельзя».

«Чего нельзя?»

«Ночевать нельзя. Вишь ты, брат приехал», — и зашлёпала прочь.

Откуда это всё, думал студент, оглядывая комнату. Нина Купцова объяснила: из деревни. Там у них помещики жили, вот она и награбила.

«Тут ещё в комоде куча разного добра, хочешь, покажу?»

«Ты хотела чай».

«Успеется».

Выдвинула нижний ящик и рылась там, похихикивая.

«Вот! — она объявила, поднимаясь с колен, держа что-то воздушное, невесомое. — А теперь закрой глаза... Или нет, лучше выйди. Говорят тебе, выйди! Я позову...»

Он вошёл через минуту, и обомлел, увидев её совершенно нагую в большом поцарапанном зеркале над комодом. Оглянулся — Нина сидела на кровати, опираясь ладонями голых рук, скрестив

ноги, на ней было белое полупрозрачное платье на бретельках, с кружевами на груди, а вернее сказать, ночная рубашка. Тотчас она встала, босиком, в длинном и, очевидно, рассчитанном на крупную женщину одеянии, едва держащемся на плечах, покачиваясь, балансируя худыми руками, прошлась по комнате. В этом и заключалась загадка зеркала: двуязычный иероглиф пола никогда не может быть расшифрован до конца. Володе (как он рассказывал нам спустя много лет) не приходило в голову, что одежда не прячет женскую наготу — напротив, выставляет её напоказ. Нина в рубашке казалось обнажённой больше, чем если бы на ней вовсе ничего не было. До некоторых банальных истин приходится добираться самому.

Спектакль продолжался ещё некоторое время, к тусклому свету с потолка прибавилось её свечение. Наконец, она плюхнулась на кровать. В сильном волнении он подошёл к ней и спросил:

«Тебе не холодно?»

Она тоже была взволнована. Увы, не от предвкушения того, что должно было, наконец, произойти. Волновало, и будоражило, и будило в ней женщину то, что было на ней. В сказочной кружевной рубашке, должно быть, показывалась любовнику какая-нибудь «прынцесса». Нина Купцова почувствовала себя на сцене. Загадочная, манящая, доступно-недоступная, она принадлежала всем этим сотням восхищённых глаз, но никто не смел к ней подняться, коснуться её рук, плечей, бёдер. Вскочив, она подбежала к комоду, впилась в волшебное стекло, медленно, приподняв рубашку кончиками пальцев, поворачивалась, водила головой, приближалась и отступала. Это занятие настолько увлекло Нину, что она чуть не оступилась, с опаской взглянула на гостя, словно только сейчас вспомнила о нём.

«Ну ладно... — пробормотала она, — коли уж так вышло...» — снова села на кровать, и в зеркале — странным образом то и дело тянуло в него заглянуть, словно там откроется ещё что-то, — в зеркале отразилось её лицо, часто дышащий рот, металлический блеск глаз — ведьма, сущая ведьма! Ясно, что ею руководил не расчёт, а то, что движет ведьмами и заменяет им рассудок. «Чему быть, тому не миновать!» — сказала она значительно более твёрдым голосом, расправила на коленях полупрозрачную ткань, спустила бретельки, высвободила тонкие руки. Совсем уже было улеглась.

Проклятье! Она оттолкнула Володю.

«Почему?» — тупо спросил он.

«Потому. — Вытянув шею, показала глазами на дверь. — Бабка».

«Что бабка?»

«Стоит там».

«Нет там никого!»

«Всё равно нельзя. А то закричу».

«Ну и кричи», — зло возразил он. И опять кончилось ничем, во тьме студент плёлся из одной улицы в другую, по обледенелым до-

рожкам, мимо слепых изб, наутро отправился в институт, пылал презрением и не мог ни на чём сосредоточиться, не мог думать ни о чём, кроме шутовского парада полунаготы и злорадного, как теперь казалось, выражения на лице Нины Купцовой.

Эндокринное существо, вместо мозгов всем правят железы внутренней секреции: яичники, щитовидная железа. Ясно, что не девушка, кто-то её уже пробуравил. Ему нравилось быть грубым в разговоре с самим собой. Чего ж она тогда кочевряжится? Это упорное сопротивление... Студент стал опаздывать, а потом и вовсе перестал ходить на лекции, сидел в одиночестве на скамейке в городском саду, продрогнув, вставал, бродил по пустынным аллеям, снова садился. Эта страсть и унижала, и возвышала его. Он оказался в мифологическом пространстве, где нет случайностей и нет свободы решений. Все и он сам были участниками немого заговора, всё наполнилось тайным смыслом, события подстерегали за каждым углом. И это жалкое существо, провинциальная барышня, дрянь, которая сама не знает, чего хочет, эта худосочная, анемичная девица с испитым лицом, с соломенными волосами, с недоразвитой грудью, смешно сказать, была всему причиной. Сама того не подозревая, она несла в себе весь смысл. Нет, она сама была этим смыслом. При всем её ничтожестве. Он думал о том, что было бы, если бы она явилась, вдруг показалась бы за поворотом аллеи, почуяв тёмным женским инстинктом, чутьём воровато-го зверька, что он здесь, — если бы она показалась, — он шагнул бы навстречу, тяжело, по-мужски, и выложил бы ей всю правду о ней. Ему даже показалось, что объясниться важнее всякого обладания. Объясниться — и привет. Выйдя из горсада, он побежал наперерез трамваю, на ходу вскочил на площадку и поехал в Заречье, на улицу под названием Канавка.

Он не знал номер дома, шел мимо окон в глухих занавесках, запертых ворот, заборов, наугад вступил на крыльцо, никто не отозвался на его стук. Сошёл со ступенек, но что-то заставило его снова подняться. Голос за дверью спросил: чего надо? Любопытство победило страх, проскрежетал ключ, отщёлкнулась задвижка. Горбатая бабуся с птичьим носом и провалившимся ртом показалась в просвете. Он повторил свой вопрос.

«А ты кто будешь?»

«Вы, наверно, меня помните».

«Брат, что ль? Нетути её».

«А где она?»

«Почём я знаю. Таскается где-то».

«Что ж, она больше не живёт у вас?»

«Вроде бы живёт».

«Ночует?»

«Когда ночует, когда нет, почём я знаю? Я ей не указ».

«Как же это вы не знаете, — сказал он с досадой, — деньги за квартиру она платит?»

«Кабы не платила, кто ж бы её пустил».

Он продолжал расспрашивать: может, поехала домой? Дверь захлопнулась. Студент поплёлся к реке, дошёл до старого моста. Он бродил по городу до изнеможения. С некоторых пор призрак Нины стала попадаться ему то там, то здесь, она спешила в толпе на другой стороне Советской, мелькала в окнах трамвая, однажды он чуть не догнал её. Наведывался в дом на Канавке, ему не открывали. Старуха подглядывала за ним из окошка. На сессии он завалил подряд два экзамена, грозило отчисление.

Это должно было чем-то кончиться. С этим надо было что-то делать. Либо порвать окончательно с институтом, вернуться к матери — и, чего доброго, загреметь в армию! Либо... но тут оставалось только пожать плечами. Он был всё-таки разумный человек и медик. Попытаемся, сказал он, трезво оценить ситуацию. Назвать это любовью? Не ум и не чувство управляли этой более чем заурядной девицей, и пробудить она могла только элементарное влечение. Если бы она сдалась, наваждение рассеялось бы в одно мгновенье. Он увидел бы, с кем он имеет дело.

Назовём вещи своими именами, фрикция о стенки влагалища раздражает поверхностные рецепторы. Поток нервных импульсов вызывает сокращение мышц, и происходит семяизвержение. И вот так же выплеснется вся любовь. Женщина это знала каким-то тёмным знанием: стоит только уступить, как к ней потеряют всякий интерес. Собственно, этим и объяснялось её поведение.

Всё просто! Но что-то уж слишком просто.

Володя не был склонен к самоанализу и скорей всего осознал это много позже. Веление пола, дымящее чёрное пламя, называйте, как хотите, — всё-таки не последняя истина. Под ней таится тоска одиночества, жажда общения и тепла, — не правда ли, только самоотверженная женственность способна разбить эту скорлупу. Каким-то уголком мозга, как видят краем глаза, он, может быть, и догадывался, что принимает позу возвышенного страдальца, которого спасает подруга, — мы бы сказали, классическую позу, — но тут уже начинаются дебри, куда Володя, с его простой душой, не дерзал забираться. Когда в сотый раз он пытался представить себе, как войдёт в его жизнь Нина Купцова, его фантазия кружилась, как бабочка у огня, вокруг заветного мига — и не дальше.

Мы спросили, не приходила ли ему в голову самая обыкновенная мысль. «Приходила», — сказал он. Конечно, у него не было никакого опыта, к тому же не следует забывать, что в те времена начинали половую жизнь гораздо позже, чем теперь. Да и не было в нашей стране, по крайней мере, узаконенной проституции. Но он знал одного парня на курсе по фамилии Плюхин, бывалый человек, он усмехнулся: а чего тут такого, приходи вечером на пятачок. — А сколько это стоит? — Она сама тебе скажет. Да ты не боись, много не возьмёт. Володя, однако, боялся не столько дороговизны, сколько опасности заразиться. Приятель успокоил его. Хочешь, я с тобой пойду?

Пришли, это было место, куда сходились аллеи сада. Горели фонари, в ярком сумраке на дощатой эстраде гремел и дудел духовой оркестр, толкались пары. Ну как, девочки, прошвырнёмся? — сказал Плюха. Он взял за руку одну из них, и они отправились танцовать. Володя остался один. И вдруг он увидел её, она шла с военным. Она сделала вид, что не заметила его. Принадлежала ли она к той же компании?

Несколько времени спустя они встретились.

«Здравствуй, Нина», — сказал он.

Он шёл по набережной, без всякой цели, и увидел её у парапета.

Она откликнулась: «Здравствуй» — спокойно, не поворачивая головы. На ней была кокетливая модная шляпка, щёгольские сапоги, узкое, в талию пальто,

Наступило молчание. Наконец, он вымолвил:

«Я не могу понять».

«Чего ты не можешь понять?» — тем же спокойным, почти равнодушным тоном.

Он хотел сказать, что не понимает, чего она от него хочет. Куда она исчезает время от времени. Откуда у неё эти модные тряпки.

Нина вздохнула. «Мне пора».

«Куда?»

«Много будешь знать».

«Постой, мы ведь даже не поговорили».

Ответа не последовало, он смотрел на её удаляющуюся фигуру, глянцевые сапожки, он не стал её догонять, — чего ты за мной увязался? — это было бы окончательным унижением. Зато его осенила другая мысль, судьба кивнула напоследок. Весна была уже в полном разгаре. Площадь перед автовокзалом была забита народом, люди метались, теснились вокруг автобусов с детьми, с чемоданами, с продуктовыми сумками. В зале перед кассами тоже не протолкнуться. Студент изучал расписание. Он смутно представлял себе, где находится Савватьево. Железной дороги там не было, автобусом ехать шесть часов, да и то, скорее всего, лишь в хорошую погоду. Прибытие поздно вечером, а ведь надо ещё выяснять в адресном бюро, если оно там вообще существует. Так или иначе, на рейс сегодня он опоздал. Он выбрался на волю, тут его окликнули

«Куда это собрался?»

Он обернулся. Сердце заколотилось, как бешеное.

«К тебе», — сказал он, задыхаясь.

«Вот так здорово. Куда ж это?»

И, услышав ответ, она звонко расхохоталась.

Оказалось, родители больше там не живут, — если только она говорила правду. Где же они? У крёстной в Калининграде. И снова смех.

«А ты?»

«Что я?»

«А ты, — спросил он, — куда собралась?»

«Никуда. Передумала. Тебя увидела и передумала».

Свежий ветер с реки, только что пронёсся дождь. Солнце сверкает в лужах. Счастье, счастье снова её увидеть! Двинулись куда глаза глядят.

Позвольте, однако: тут было что-то не то. Если родители переехали, то зачем же она туда направлялась? Он сказал:

«У тебя там кто-то есть».

«Где?»

Она шла, старательно обходя лужи.

«Я хочу знать».

«Что ты ко мне привязался. Может, и был кто, а теперь нет».

Выяснилось, что она по-прежнему обретается на Канавке. Что касается попыток выведать её тайну, итог был неопределённый, как всё у Нины Купцовой. Вела ли она, в самом деле, какую-то вторую жизнь? Видимо, был всё-таки кто-то, это можно было заключить из смеси хихиканья, передёргиванья плечами, презрительных реплик, всяческих «чего привязался», «скажешь ещё», «да пошёл ты», — на минуту она как будто даже согласилась: офицер или курсант военного училища, познакомились на танцах, когда он приезжал на каникулы. Откуда приезжал, уехал ли, неизвестно. Чего доброго, савватьевский земляк. Видится ли она с ним по-прежнему? Понять невозможно. Не говоря уже о том, что офицер мог быть чистой выдумкой. Для этой девушки не существовало границы, отделяющей правду от лжи. Но зато они шли рядом.

Не хотелось идти домой, ничего не хотелось, лишь бы бродить вдвоём, но и тут его подстерегала неожиданность. Не сразу, в кривых переулочках, где город уже вовсе не был похож на город, по ту сторону железной дороги, отыскалась церквушка. Покопавшись в книжках, можно было бы узнать, что церковь древняя, чуть ли не татарских времён. Остаётся загадкой, как она уцелела.

Я сейчас, сказала Нина. И вот тянется время, а её нет. Опять она обвела его вокруг пальца! Наконец она вернулась, за ней мелко семенила, глядя в землю, тётка, похожая на монашку. Поднялись на узкую паперть, заскрежетал ключ, вошли в каменную полутьму, провожатая пропала, они остались одни. Нина ходила вдоль стен, усердно крестилась и прикладывалась к иконам, взяла с лотка тонкую, наподобие елочной, свечку, положила монетку. Искала, куда приспособить свечу.

Вышли, щурясь от яркого солнца. Он спросил:

«Ты хотя бы знаешь, что там нарисовано?»

Она помотала головой.

«А ты вообще в Бога веришь?»

«Не-а».

«Чего ж тогда».

«Так. А вдруг он есть?»

Помолчав, студент проговорил:

«Слушай, Нина...»

Вдруг понадобилось спросить. В который раз — но теперь уже совершенно спокойно:

«Только правду. У тебя кто-нибудь есть?»

Она задрала голову к небесам, её глаза блуждали. «Не-а...»

Вряд ли это было так, а впрочем, кто её знает.

«Почему ты?..» Он хотел сказать: *почему не даёшь*, но это было слишком грубо.

«Почему ты не хочешь?..»

Она спрыгнула с паперти на землю, тра-ля, тралляля, — затянуда невыносимо фальшивым голоском.

«Хватит дурачиться, — проворчал он, — я серьёзно».

Она спросила:

«Так уж непременно надо?»

От досады он осмелел и выпалил:

«Неужели тебе самой не хочется?» И они побрели через весь город, через каменный мост, на улицу под названием Канавка.

Студент уже не жил в Заречье. Общежитие медицинского института находилось в районе новостроек, куда надо было долго ехать на трамвае, потом тащиться пешком по грязным улицам; зато напротив воздвиглась новая больница, и Володя, как это часто бывает в студенческие годы, воспылавший интересом к хирургии, вызвался дежурить по ночам вместе с дежурным врачом. В ожидании новых поступлений (это было так называемое скоропомощное отделение) оба сидели в ординаторской, мурлыкало радио, доктор читал детективный роман, Володя клевал носом в углу дивана.

Зазвонил телефон. «Иду», — сказал врач. Оба вышли в полуосвещённый коридор. В холле между мужской и женской половинами находился пост дежурной сестры с настольной лампой, двери двух лифтов, пассажирского и грузового, и выход на лестницу. В приёмном покое, в ярко освещённой комнате, на каталке под простынёй лежала пациентка, без пульса, с посиневшими губами, без сознания. Платье и бельё, пропитанные кровью, уже были разрезаны и удалены. Вместе с никелированной стойкой, на которой покачивалась капельница, каталка была поднята наверх, в операционный блок, на другой стойке укреплена ампула с кровью, но вены окончательны спались, хирург рассёк сосуд и вставил канюлю для переливания. Тазы с горячим раствором нашатыря стояли наготове, но мыться было некогда, всё происходило быстро и молча, хирург в стерильном халате и марлевой маске облил руки спиртом, то же сделали ассистент и студент. Операционная сестра, вся в белом, подъехала со столиком для инструментов к операционному столу. Нина лежала, залитая ровным, ярко-безжизненным светом, на операционном столе, с ножевой раной повыше пупка. И так же молча хирург вышел из операционной, сорвал с лица маску, стянул с рук резиновые перчатки. Студент, как был, в халате и шапочке, вышел на лестничную площадку, сел на ступеньку и, как будто прорвалась плотина, разрыдался.

Алексей МАКУШИНСКИЙ

/ Мюнхен /

Мюнхенский дневник

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

* * *

Представь себе, как это было впервые.
Конечно, все было не так, но представь
себе, что кто-то однажды дал
дням числа, как бы их имена. Какой вдруг
восторг охватил его, он вскочил,
наверное, на ноги, в своем Вавилоне или
в своем Египте. Он сказал себе: пусть
дни проходят, но числа ведь остаются,
и значит все не так уж и безнадежно.
Приветствую тебя, мой давний брат,
не победивший время, но крепость все же,
но все ж фортецию поставивший ему.
Ты так в ней и сидишь, счисляя звезды,
сидишь, сейчас, в давно прошедшем дне,
укрытый в нем какой-то цифрой, нам
неведомой, как я укрыт двадцатым февраля
две тысячи восьмого года (ветер, ветки).

* * *

Здесь, в книжной лавке, где я перелистываю
посмертный дневник Эудженио Монтале
(прообраз моего, прижизненного? нет, разве
отчасти), здесь было бы тихо, если бы
под окнами, в оранжевых фуфайках, рабочие
не клали асфальт. Ужасен их труд и жребий.
Ужасен шум их жизни, такой далекий
от тишины этих слов на белой большой странице.

* * *

История не закончилась, но смысл ее погиб.
Он бился в судорогах на цементном полу,
он закрывал руками затылок. Затем, когда мы
вышли на улицу, там оказалось солнце,
лазурь и ветер, и мифология облаков,
и чудные желтые листья, летящие по бульвару,
и даже намек на счастье, за краем жизни.

* * *

Из окон поезда видишь молчащий мир,
видишь молчанье полей, молчанье
леса на горизонте, клубящееся свеченье
неба, два дерева, замершие под ним.
Природа есть одиночество. Нет, вернуться
скорее в город, выйти на главную улицу,
на Мариенплатц, на Максимилианштрассе,
туда, где, по крайней мере, ответ возможен.

* * *

Бессонница оставляет тебя умирать
от жажды, не у ручья, скорее на берегу
очень соленого, мертвого, в общем, моря.
Ты бы и бросился в воду, заснул бы, если б
мог напиться, но напиться нечем. Песок
полыхает на солнце, в дрожанье зноя
жизнь проплывает бездарной фата-морганой.

* * *

В их лицах все уже есть, вся скука
их грядущей жизни, хотя еще ни
одной морщинки. О чем-то они толкуют,
толкаясь в автобусе... Грехопаденье
было, должно быть, таким громадным,
что даже звезды на небе содрогнулись.

* * *

И когда мы лежим обнявшись,
мир кажется вынесенным за скобки
наших тел. Вот так же нет его на странице,
исписанной прозой или стихами. Белые
поля отделяют нас вдруг от мира, сонный
Элизий, облачные пространства,
где следы наших мягких шагов, незримые, остаются.

* * *

Ты научила меня чему-то, чему названья
я не знаю. А жизнь ведь и вообще состоит
из безымянных вещей,
из поворотов души, за которыми
открываются, как в парке, тропинки или пруды
с ротондой на берегу. Вот туда-то,
сквозь солнечную рябь, и пошли мы.

* * *

Голоса в трамвае охватывают меня.
Один из тех дней, когда я не знаю, что мне
делать с моей свободой. В окнах
проплывающих мимо домов проплывают
другие дома, их крыши, фронтоны, трубы,
их мертвые окна, лишенные отражений.

* * *

Парк, в самом деле, есть перевод души
на язык деревьев, прудов, тропинок,
и этих гнутых мостиков, где, склоняясь,
мы видим среди перевернутых
ветел и в облачном свеченье свою же
изумленную голову. Щепки, веточки,
листики плывут сквозь нее, как дни
сквозь то неизменное, что мы зовем собою.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

Ничего еще не закончилось. Новый век
ходит по улицам, заглядывая в витрины
и лица. Он пытается к ним привыкнуть,
но привыкнуть не может. Он уже не младенец,
уже мальчишка, уже начинает думать
и удивляться. А все ведь и вправду странно.
Странно, что все продолжается, как ни в чем
ни бывало, продолжаются улицы, даже сны,
старые страсти, глупости и надежды.
Вдруг небо густеет, он прячется от дождя
под аркадами, он слушает шелест капель
в стократно зеленых от влаги июньских листьях.

* * *

Утешительный город, мосты его и трамваи...
Полуиталия, значит — возможность счастья.

Ангел мира, взлетающий над рекою,
помнит, конечно, руины, обугленные дома.
Все это светится и ничего не хочет,
ни от живых, ни от мертвых, ни от века, ни от кого.
Необязательность жизни, отблески, тени, блики.
Мягкий певучий воздух, горы на грани зренья.

* * *

Здесь, где город кончается, на мосту,
видишь, с одной стороны, дома,
и башни, и шпили, и много еще всего.
Ничего не видишь с другой. В другую
повернувшись сторону, видишь одну лишь реку.
Видишь ее излучины, отмели, камни на
отмелях, видишь ее стремнины,
и эту немую даль. Вот так я стоял над Свирью.
Откуда она течет? Из каких пространств? Из какого
прошлого? Так равнодушно течет она. Из
какой чужбины и родины? Степь и глушь
всегда, разумеется, рядом, Евразия за углом.

* * *

Глаза его маслянисты
и лживы. Никакой он, небось, не нищий.
Но все, чего он желает, проходит мимо.
Какие проходят груди, какие попки,
как колышутся бедра, жизнь невыносима.
И богатство проходит мимо, богатство, вовсе
не замечая его, уезжает на «Ягуаре».
Улыбки проходят мимо, слова и взгляды.
Потому он беден. Он сидит на своей картонке,
совсем не Будда, под языческим ясным небом.

* * *

Настоящей жизни уже точно не будет — пусть.
Пусть продлится еще вот эта, хотя бы эта
ненастоящая жизнь. Вот эти велосипеды,
свалившиеся от ветра, упавшие друг на друга.
Как топорщатся их рули, вращаются их колеса.
Все, конечно, не так, но лишь бы еще продлилось.

* * *

In angulo cum libro... Конечно, слова, слова
на чужой бумаге, чужие, неважно, чьи-то,
на чужом языке, пускай, но важно, что — вот,
слова. Все очень просто, все

загадки разгаданы, сомненья разрешены.
Cum libro in angulo... Свобода, слова, никто
сидит, не сидит здесь, точно не ты, вот эти
только слова и есть, на чужой бумаге, твои же.

* * *

Прежде поезда на станцию входит ветер,
ветер взметает прически, платки и мысли.
Где-то над нами сияет, быть может, солнце,
но здесь внизу только ветер, несущийся из туннеля.
Все очень обыденно, никаких, дружок, аллегорий.
Мы просто сейчас доедем до станции «Одеонс-
платц», и выйдем на улицу, где солнце бежит по кронам
деревьев в Дворцовом саду и в Английском парке.
Вон там, смотри, Аполлон, вон там его колесница.

* * *

Повторяются улицы, повторяется тишина.
Все какое-то брошенное сегодня, дома и мысли,
какое-то отвернувшееся. Все было
когда-то новым и когда-то впервые, когда-то —
было. Бывшее все стоит
посреди настоящего, не становясь им, разве
дождь пойдет, наконец, будущее настанет.

* * *

Ничего прекраснее поезда, летящего в глубине
улицы — как внезапно он возникает
из-за домов, не успевающих удивиться.
Поверх всего и всему же наперерез,
ни с чем не соизмеримый, слишком
большой и быстрый в медленном мелком мире,
несется он, отменяя шаги и мысли
прохожих, отменяя машины, кафе, деревья,
сохраняя все это, в перевернутой глубине,
куда мы смотрим из его же окон, с другой
стороны бинокля, на миг, из другого времени. Весть
неизвестно откуда, из небывалых стран,
раскаты дальнего грома, Зевесов зов,
которому мы не верим, боимся поверить, разум,
упорствует, сомневаясь, но — вот он, вот он,
несомненный, как лучшие наши строки,
неотменяемый, как удачнейшие слова,
вот он, разбойным свистом сотрясающий виадук
и воздух над виадуком. Солнце лишь неподвижно.

Анатолий КОСТИШИН

/ Москва /

Зона вечной мерзлоты[1]

повесть

ЧАСТЬ II. КЛЮШКА

Мы выехали на знаменитую Клюшку в понедельник. Взглянув через зарешеченное окно обезьянника на свободу, увидели покрытое тучами небо, не предвещающее ничего замечательного, кроме того, что через часок-другой мы с Комаром покинем гостеприимный обезьянник в кавычках, чтобы к вечеру оказаться в другом не менее примечательном казенном доме. На сборы нам дали полчаса, мы были готовы через десять минут. Нам собраться, что нищему подпоясаться. Провожал нас лично Гуффи. Настроение у него было отличное. С самого утра, как только он принял дежурство, не особо разбираясь, отправил троих пацанов на наряды вне очереди. Одинцову влепил приличную затрещину по шее, за то, что тот плохо якобы убрался в воспитательской, под конец утренней разборки Гуффи самым тщательным образом перерыл наши тумбочки и вещи. Не обнаружив ничего запретного, кроме мыла, зубной щетки и пасты, Гуффи озадаченно уставился на нас с Комаром. Радостное настроение мгновенно улетучилось — как не бывало. В душе зародились дурные предчувствия. Я бросил украдкой взгляд на Валерку.

— Выверни карманы, — неожиданно приказал мне Гуффи, обнажив желтые неровные зубы. Меня точно оглушило ударом в ухо, в придачу, екнуло сердце, и беспокойно заныло внизу живота — не к добру, сигнализировал организм. Я не шевельнулся. — Сафронов, — повысил голос Гуффи, его маленькие свинячие глазки буравили карманы моих брюк. — Выворачивай карманы! — Налитые злобой глаза превратились в щелки.

[1] Продолжение. Начало в № 42.

У меня возникло ощущение, что мой желудок проткнули, чем-то каленным, так дико он заболел.

— Сафронов, не вводи меня во искушение, — Гуффи предостерегающе взглянул на меня.

— Ты же не хочешь, чтобы я лично тебя обыскал? — и лицо мента гадко улыбнулось.

Вот этого я меньше всего хотел, как говорится, упаси боже меня от этого. Я повиновался. Достал из правого кармана заныканную пачку «Космоса».

— Ну, что ты теперь скажешь, товарищ Сафронов на это? — физиономия Гуффи довольно расплылась, как блин по сковородке, самодовольно крутя в руках конфискованную пачку сигарет.

От инквизиции спас дежурный по обезьяннику, позвавший Гуффи к начальнику, после чего, того, как ветром сдуло. Помчался на третий этаж на всех парах, как на пожар, но успел отдать приказание напоследок:

— Полы отдрай, чтобы блестели как у кота яйца, понял.

Я молча кивнул головой.

— Мне порой, кажется, что ты бесхарактерный, какой-то? — хмуро произнес Комар.

Слова друга задели меня за живое.

— Ошибаешься! — обиженно воскликнул я. — В отличие от многих он у меня просто есть.

— Тогда зачем прогибаешься перед Гуффи?

— Таких как Гуффи пруд пруди, мне приключений уже достаточно, — раздраженно ответил я. — Мне хочется покоя, понимаешь, — и я посмотрел на Валерку в поисках понимания.

— Ты надеешься найти на Клюшке покой?! — с насмешкой спросил он. — Разлепи глаза, — возбужденно выкрикнул Комар. — Все только начинается. Обезьянник покажется нам теплицей, вот увидишь. — Валерка нервно откинул голову назад.

— Чо кричишь, как потерпевший, — утихомиривал я друга. — Я и без тебя знаю, что Клюшка не сахаром обсыпана.

Мы некоторое время молчали. Нам было страшно, но никто из нас не хотел в этом открыто сознаться. Мы как малые дети хорохорились друг перед дружкой всячески скрывая наши внутренние страхи.

— Тебе не страшно? — поинтересовался я у Валерки.

Он внимательно посмотрел на меня — было видно, что Комар напряженно размышляет: он покусывал губу, на лбу залегла морщина.

— Все что не убьет, сделает меня сильнее, — иронично ответил он, при этом всячески силился улыбнуться, но у него это получалось плохо.

— Комар, — взмолился я, — давай без тоски и без того на душе кошки скребут.

Мы тупо смотрели в зарешеченное окно, ожидая машины, на улице тем временем пошел мелкий и колючий дождь. Наконец, пришла долгожданная машина. Мы попрощались с пацанами,

уселись в УАЗике на заднем сидении, впереди нас гордо восседал Гиббон. Летеха-мент сел за руль, и мы двинулись в сторону неведомой нам Клюшки. Добирались мы по ухабистым дорогам больше пяти часов, а может даже больше, и приехали к конечному пункту назначения только глубоко после обеда.

Целый день была мерзопакостная погода, но как только мы въехали на территорию Клюшки, ветер притих, и даже несмело выглянуло солнце.

Как только мы въехали во двор Клюшки, все обитатели и воспитатели пристально уставились на милицейский УАЗик. Летеха-мент приказал нам никуда не двигаться без его команды, сам же с Гиббоном направился к парадному крыльцу трехэтажного здания. Мы не спеша, выползли из УАЗика и принялись рассматривать, открывшиеся нам ландшафты.

Во дворе Клюшки царила беспорядочная суета: старшаки скучковано дымили возле гаража, малышня безудержно бегала по двору с визгом, воспитатели мирно стояли друг возле друга, неторопливо разговаривая между собой.

Еще в обезьяннике Пинцет нам с Комаром популярно объяснил ху из ху на Клюшке и, почему детдом так странно назвали. Одно дело услышать, другое увидеть все своими глазами. Детдом располагался в длинном вытянутом трехэтажном здании, с высоты птичьего полета напоминавший растянутую букву «Г». Какой-то остряк из бывших обитателей и назвал тогда еще новый спальный корпус Клюшкой. Надо сказать, попал он точно в яблочко, лучшего названия для детдома и придумать было невозможно. Назвал же кто-то школу, в которой прошли наши с Комаром «лучшие» годы Пентагоном. Я долго не мог сообразить, почему школу так странно назвали, да и слово было мне не знакомо. Просветил Кузнечик: так в Америке называлось здание министерства обороны. Я так и не догнал, при чем тут наш Пентагон. С годами до меня дошло: в школе постоянно, что-то достраивали, в ней было столько всяких переходов, коридоров, что легко было заблудиться, одним словом сплошной лабиринт — Пентагон. Но это я немного отклонился в подробности.

Воротами на Клюшку служили два старых кряжистых дуба, вплотную стоявших друг возле друга, как обнявшиеся братья. Они были гордостью Клюшки.

Недалеко от нашей машины находилась мусорка: два контейнера были переполнены и вокруг них валялись пустые консервные банки, бутылки, пустые коробки и росло одинокое голое дерево.

Мимо нас быстрыми шагами прошла узкобедрая девица с грубоватыми чертами лица. Короткие волосы, грязные и сеченые, были растрепаны. Мужская замшевая куртка с чужого плеча болталась на ней как на вешалке. Глядя на эту лахудру, Комар выдавил из себя только неопределенное: «Однако!»

Стоявшие у крыльца парни вежливо поздоровались с ментом и Гиббоном, он даже им что-то невразумительно рявкнул, и его басистый голос, эхом раскатился по всей территории Клюшки.

— Настоящий Гиббон, — прокомментировал Комар.

Клюшкинские пацаны с любопытством смотрели в нашу сторону. Мой лоб прорезала тревожная морщинка. Валерка чувствовал мою напряженность.

— Ощущаешь доброжелательную, приветливую обстановку, — сыронизировал он, разглядывая копошившееся во дворе многочисленное население Клюшки.

— Отчаянно, — мрачно поддакнул я в унисон Комару. — Для полного счастья не хватает транспарантов и духового оркестра.

— Да, это было бы хорошее начало для нашего приезда в эту дыру.

Я озабоченно и неодобрительно посмотрел на Валерку.

— Комар нас зашибут, и не заметим, как это произошло. Смотри уже идет толпа, — я взглядом показал на идущую к нам кучку старшаков, которая до этого стояла возле гаража и мирно курила.

— Ладно тебе, — Валерка сдержанно улыбнулся. — Двум смертям не бывать, одной не миновать. Покажем им класс!

Я промолчал, слова друга не придали мне оптимизма. Кучка старшаков, человек шесть-семь, медленной и небрежной походкой подошли к УАЗику. Я инстинктивно приготовился к встрече, но тут Комар отчебучил такое, хоть стой, хоть падай. Он радостно обратился к пацанам, подняв правую руку, как великий вождь апачи.

— Хай, братья по разуму!

Толпа оторопело замерла от неожиданности. Первым пришел в себя рослого вида пацан, это и был Щука, Командор Клюшки.

— Это еще, что за баклан? — все, кто стоял вокруг, глумливо загоготали.

— Баклан — это птица, — не меняя интонации, парировал Комар. — Меня зовут Валерий, это мой друг...

— Мне по-барабану, как тебя зовут, — ответил Щука, скривив губы, совсем как у Буйка.

— Но мне-то не по барабану, — легким и непринужденным тоном ответил Валерка.

Все с интересом уставились на нас.

— Никитон, что там прочирикал этот бритый череп, — спросил Щука у тощего невыразительного пацана в очочках, который находился по правую руку от него.

— Мой друг не чирикал, он разговаривал, — вставил свои пять копеек я, вместо Валерки.

— Однако, новенькие пижонистые, — с восторгом воскликнул пацан по имени Никита.

Тогда я еще не знал, что Никитон являлся близким и доверенным другом Щуки. Он пристально посмотрел на нас и ухмыльнулся.

— Посмотрим, что они зачирикают у нас ночью! — челюстные мышцы Щуки заходили вверх-вниз, как будто он что-то жевал.

Всем своим видом он демонстрировал нам, какая он не подъемная крутизна клюшкинского масштаба, что ему ничего не стоит опустить нас ниже плинтуса. Все вокруг снова громко заржали, кроме Никиты. У него единственного было сосредоточенное, задумчивое лицо, оно мне даже показалось раздраженным от дурацкого смеха толпы. Я заметил, как он холодным оценивающим взглядом посмотрел на Комара.

— Это еще бабушка надвое сказала, — и хотя голос у меня от волнения был хриплый и неуверенный, но он остановил глумливый гогот щукинской толпы.

— Этот кривой не только на ноги, но и на голову, нам угрожает, — заводился, как машина, Щука. Ехидная улыбка с его коноплиной физиономии испарилась, глаза не по-хорошему сузились, и он угрожающе взглянул на нас. — Глаз на жопу натяну, — заревел Щука, и его лицо пошло багровыми пятнами, — и заставлю дышать!

Никита слегка ухмыльнулся. Непонятно было: поддерживает он Щуку или нет. Он вообще держался как-то обособленно от всей толпы, но при этом был ее частью.

— Не смеши мои конечности, — громогласно расхохотался Комар, чем ввел в полный аут Щуку и его компанию. — Заставит он меня дышать, — не унимался Валерка. — Сам не задохнись от выхлопных газов. Без тебя пуганные, — резко и гневно произнес Комар.

Наша светская беседа была прервана появлением мента. Рядом с ним, как полная противоположность, нарисовалась угрюмая квадратная фигура Гиббона.

— Ну, что орлы, — мент счастливо посмотрел на нас с Комаром. — Уверен, вам здесь понравится.

Щука на шаг отошел, давая дорогу менту, посмотрев на нас, не громко прошипел:

— Встретимся, придурки!

Я сделал вид, что его слова не меня касаются.

Как обычно, сначала нас с Комаром в сопровождении дежурного воспитателя привели в медкабинет. Я успел прочитать на стенке нацарапанное чьей-то торопливой рукой погоняло немолодой медички — Спирохета. Кличка меня удивила. Я не знал, что обозначает Спирохета, позже пацаны просветили. Назвали так медичку потому, что она любила всякий раз, осматривая воспитанника, грустно вздыхать и сочувствующим тоном восклицать:

— Господи, типичная бледная спирохета!

У обитателей глаза округлялись по пять копеек.

— Что такое спирохета? — с испугом спрашивали они.

— Это неизлечимо и на всю жизнь, — обреченным голосом отвечала медичка.

Старшаки срочно навели справки у Медузы, учительницы биологии, та с ужасом взглянула на них, но честно ответила:

— Спирохета Паллада — возбудитель сифилиса.

С тех пор медичку на Клюшке стали называть Спирохетой. Она проверила нас с Комаром на вшивость.

— Головы чистые, — с умным видом сообщила Спирохета, и приказала нам раздеться. Мы нехотя выполнили ее команду. Увидев, меня в трусняках она восторженно воскликнула:

— Какой восхитительный скелет, вас в детприемнике, не кормили?

— Кормили, — с готовностью ответил учтиво Валерка, — но с диетическим уклоном.

Лицо Спирохеты выразило полное недоумение, но после вдруг просветлело.

— Случай клинический, — прокомментировала она, и принялась осматривать Комара.

Она долго его слушала, щупала, измеряла давление, смотрела в горло, и в конечном итоге выдавила окончательный диагноз:

— Мальчик полностью здоров, — и счастливо улыбнувшись, добавила: — Правда, ножки совершенно кривые.

Мы посмотрели на Спирохету, как на женщину с приветом.

— Интересно здесь все такие или она одна такая? — тихо поинтересовался у меня Валерка.

Я пожал плечами:

— Боюсь она здесь не одна такая.

— Я тоже так думаю, — глубокомысленно согласился Комар. — Она со странностями, но не опасна.

По большому счету Валерка оказался прав — Спирохета была по своему характеру безобидной и неопасной.

После знакомства со Спирохетой дежурный воспитатель повел нас по бесконечным коридорам и в конечном итоге мы остановились перед белой дверью с табличкой: «Старший воспитатель — Белоусова Маргарита Николаевна».

— Железная Марго, — не громко хмыкнул со знающим видом Комар.

Нам сказали ждать, за дверьми шло какое-то совещание. Мимо проходили мелкие обитатели и с интересом рассматривая нас, это особенно злило Валерку.

— Чо, вылупился, — сорвался он на пацане, который слишком долго нас изучал.

Пацан убежал, но пришел через некоторое время с другим, постарше, по их внешнему сходству я сообразил, что пацан притащил старшего брата. Тот сразу полез в бутылку.

— Бурый?! — крикнул он, и все же из чувства осторожности держался он от нас на расстоянии вытянутой руки.

— Конституцией не запрещено, — такого нахального лица я у Комара с роду никогда не видел. — Плыви отсюда, пока не на костылял, — невозмутимо продолжал Валерка.

— Посмотрим, что ты закукарекаешь ночью у Щуки, — произнес старший брат, и его лицо разлилось в ехидной ухмылке.

— В гробу в белых тапочках видал я твою Щуку!

— Посмотрим, какие ты сам сегодня тапочки наденешь, — и пацан ушел, уводя с собой младшего брата.

Тут отворилась дверь, педагогический народ счастливо повалил из кабинета, и к нам в коридор вышла невысокого роста, приятной внешности женщина лет сорока-сорока пяти, Она посмотрела на нас и все сразу поняла.

— Пополнение, — произнесла она задумчиво. — Заходите, — она показала на дверь кабинета, — и сразу знакомьтесь с воспитателем.

Мы с Комаром соскочили с подоконника и собрались вместе войти, как она остановила нас рукой.

— Нет, нет, по одному, — она пристально посмотрела на меня, и сама сделала выбор. — Заходи первым ты, — и указала на меня. — Твой друг подождет с дежурным воспитателем.

Я несмело зашел в кабинет. Он как бы был продолжением коридора, такой же узкий и продолговатый. Из мебели — письменный стол, два книжных шкафа забитых плотно папками, шкаф для одежды, большой железный сейф и стулья в ряд, штук десять. Вот и весь кабинет.

И здесь первый раз я увидел Большого Лелика и натурально очумел. Внешняя фактура воспитателя поражала своими формами. Он был невысокого роста, и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым возвышалась маленькая голова, обрамленная седеющими волосами. Громадный живот, напоминавший глобус, затянутый в черную футболку и застегнутый на пуговицы пиджака занимал половину пространства узкого кабинета. В Лелике минимум было 150–170 кг. Он важно, как олимпийский Зевс восседал на двух стульях. Повидавший жизнь потертый пиджак настолько плотно был натянут на большое тело Лелика, как шкура на барабан, что проглядывались белые швы по бокам, а пуговицы казалось, готовы были оторваться с мясом.

Лелик с интересом повернулся ко мне и с минуту пристально, как под микроскопом изучал меня. Его голова, похожая на маленький кочан капусты, была словно насажена на зобную шею, тройной подбородок складывался в подобие жабо, а дальше шло грушевидное туловище.

Зазвонил телефон, Железная Марго взяла его и с минуту внимательно слушала трубку.

— Леолид Михайлович, я на минуту вас оставлю, — Марго выходила из-за стола. — У вас как раз будет время познакомиться с воспитанником, — она глазами указала на меня. — Он ваш, — и Марго оставила нас одних в кабинете.

Я нерешительно стоял, не зная, что мне делать, Лелик шевельнулся, под ним тяжело заскрипели стулья.

— Ну-те и как величают отрока, — с какой-то веселостью спросил он меня.

— Аристарх!

Некоторое время стояла тишина, мы словно принюхивались друг к другу. Первым тишину нарушил Большой Лелик.

— И так Аристарх, как доехал мой мальчик?!

— Какой я вам мальчик, — возмутился не на шутку я.

— Это у меня такая паразитная привычка обращаться к ученикам, — оправдывался Большой Лелик.

— Не надо ко мне так обращаться, — огрызнулся я.

— Хорошо, — Большой Лелик слегка улыбнулся. — Можно я буду вас называть отроком?!

— Мы с вами не в восемнадцатом веке, — отрезал я.

— Отрок соображает в истории, — лицо Большого Лелика изобразило искреннее удивление. — Весьма похвально, — его трехэтажное жабо всколыхнулось. — С умными обитателями на Клюшке жуткий напряг, ну тогда май либен...

— Это еще что такое?

— В переводе — мой дорогой.

— Я вам не дорогой, — взорвался не на шутку я.

— Да, — сокрушенно покачал головой Большой Лелик. — У Аристарха с чувством юмора определенные трудности. Я не обижаюсь, что меня все на Клюшке называют Большим Леликом, напротив, мне даже лестно, что именно так называют: не толстяком или еще каким непотребным словом, а именно Большим Леликом.

— А почему Леликом? — поинтересовался я.

— Мои родители, как и твои, наверное, решили меня как-то выделить среди других детей и дали мне поистине уникально-редкостное имя — Леолид, — большой живот Лелика все время весело подпрыгивал, когда он смеялся.

— Я никогда такого не слышал.

— Признаюсь тебе мой юный друг, что и я больше не встречал в своей жизни Леолидов, — Большой Лелик добродушно улыбнулся и тем самым окончательно снял мое напряжение. — Ну, так вот подсократив его до ласково-уменьшительного, получилось Лелик, и меня так уже зовут все мои тридцать два года. И так мой юный друг, — со значением произнес Большой Лелик. — Можно сказать, что мы познакомились. Я твой воспитатель, зовут меня Леолид Михайлович. За глаза разрешаю называть, как все — Большим Леликом, но перед глазами я Леолид Михайлович, я понятно объясняюсь, — спросил он.

— Вполне доступно, — кивнул я в знак согласия.

— Вот и славненько, — вздохнул он. — Кстати заранее предупреждаю, кроме всего я буду вести еще историю и общество в придачу.

— Это все или еще что-то?

— Вроде бы ничего больше не пропустил.

— А мой друг?

— К сожалению, он будет у Тимофея Гавриловича, — Большой Лелик развел руками.

— У Гиббона, — вырвалось у меня.

— Ты уже знаком местным диалектом? — добродушно усмехнулся в усы Большой Лелик.

Я понуро опустил голову

— Можно нас вместе в одну группу. Мы братья, — врал я без зазрения совести, — нас

нельзя разлучать.

— Братья, — хмыкнул Большой Лелик. — Здесь все чьи-то братья, — философски произнес он.

— Мы должны быть вместе, — настаивал я.

— К сожалению, Аристарх распределением юных отроков занимается Папа. — Большой Лелик призадумался. — Если вас уже предварительно распределили по разным группам, вряд ли директор изменит свое решение, но попытайся. Только веди себя с Папой крайне аккуратно и вежливо, он не любит строптивых.

Наша занятная была прервана приходом Марго, за ней вошел Комар.

— Интересные молодые люди к нам прибыли, — обратилась она к Большому Лелику. — О них уже говорит вся Клюшка, — она присмотрелась к нам. — Не к добру это, — заключила Марго.

— Это они так социализируются, адаптируются к нашим условиям, — вступился за нас Большой Лелик.

— Вы так думаете? — с сомнением посмотрела на нас Марго.

— Мне пацаны нравятся, — Большой Лелик почесал переносицу. — Чувствуется у них характер, скучно нам с ними не будет, — подытожил он.

— Да, — неопределенно протяжно ответила Марго, взяв в руки наши личные дела. — Богатое досье, — произнесла она задумчиво. — Сам напросился в детский дом, — она уставилась на меня. — Это что-то новенькое в моей практике. Что ж тебе-то дома не жилось?

— У меня дома нет.

— Здесь написано совсем другое: бродяжничество, побеги, беспричинные пропуски уроков, драки и как результат официальный отказ усыновителей, — Железная Марго с любопытством разглядывала меня. — Имя-то зачем сменил?

— Мне чужого не надо!

— Аристарх, — задумчиво произнесла Марго. — М-да, Аристархов у нас еще не было.

— Вам мое имя не нравится? — поинтересовался я.

— Будешь много знать, до старости не доживешь, — серьезно ответила Марго.

— Вскрытие покажет, — живо парировал я, чем вызвал у Марго приступ гомерического смеха. «Вскрытие покажет» была одной из любимых фраз Комара, и я перенял ее у друга и стал часто использовать в своем лексиконе. Марго с интересом уставилась на меня, лицо ее оживилось и стало каким-то родным и близким.

— Мы с тобой не морге, — ответила она мне.

— Это вопрос времени, — без тени смущения ответил я.

— Посмотрим, — неопределенно ответила Марго. — Вставайте, пойдем к директору. Он ждет вас.

Кабинет Папы находился на втором этаже. На дверях висела красивая желтая табличка с гравировкой: «Директор детского дома Колобов Сергей Владимирович». Пинцет проинструктировал нас перед отъездом по полной программе, и мы уже знали, что у директора на Клюшке две клички: официальная — Папа и неофициальная — Колобок. Мы зашли в кабинет, там сидела женщина, по описанию Пинцета это была Маркиза, заместитель Папы. На ее плоском лице застыло выражение вечной и неописуемой скуки. Лысина директора поблескивала, вся в капельках пота, — он сидел, важно откинувшись в кожаном кресле, за большим полированным столом. На нас смотрело одутловатое с красными пятнами лицо с гладко выбритыми щеками. Папа был в явно кусачем настроении, об этом красноречиво говорили его грозные кустистые брови.

— Сергей Владимирович, новенькие, — представила Марго.

Папа кисло посмотрел на нас, показывая всем своим видом, насколько он занятая персона, и что мы своим присутствием воруем его драгоценное время. Как будто мы с Комаром напрашивались к нему на прием. Маркиза также повернулась в нашу сторону и долго пялилась на меня. Ей видно было непривычно видеть пацана с палкой.

— Личные дела проверили, — деловито обратился Папа к Марго.

— Да, они в порядке, — коротко ответила она.

— Надеюсь, они, — Колобок взглядом указал на нас, — обо всем проинструктированы?!

Марго промолчала, это не понравилось директору. Не знаю, но я сразу почуял, что между Папой и Марго прохладно-натянутые отношения, это было заметно даже мне, четырнадцатилетнему отроку.

— Ну, распределяйте тогда их по группам, — и директор повернул голову к Маркизе, показывая Марго, что время их разговора истекло. — У вас все, — демонстративно спросил Колобок.

Марго повернулась к двери, и я понял, что если сейчас мы с Валеркой не отстоим свое право находится в одной группе, то другого случая у нас больше не будет. Я взглянул на Комара, тот состроил гримасу, говорившую: давай. Не громко кашлянув, я сиплым голосом обратился к погружающему в бумаги директору.

— Извините, — я старался быть крайне вежливым и дипломатичным. — Мы бы хотели с другом быть в одной группе.

— Мало ли чего бы вы хотели, — не отрывая головы от бумажки, высокомерным голосом процедил невоспитанный Папа. — Жить будете в разных группах, — рявкнул он, поворачивая свою плешивую голову к Маркизе.

— Но почему? — возмутился Комар. — Вам что жалко нас поместить в одну группу.

Папа повернул к нам свою лысину, озадаченно уставился на нас, не веря в то, что происходит у него в кабинете.

— Не успели приехать, — угрожающе произнес он, и лицо его побагровело, — как уже права качают.

— Что особенного такого я сказал, — Комар держался молодцом.

— Сергей Владимирович, — вмешалась Железная Марго, — может действительно парней не разлучать, если они так просят, — внешне она казалась невозмутимой, но я заметил, как ее пальцы мертво сжимали блокнот.

— Это называется, попросил, — Папа был похож на петарду, которая должна была вот-вот выстрелить. Его дыхание было учащенным, губы крепко сжатыми.

И тут непонятная муха укусила Комара, он буром попер на Папу, нас уже ничего спасти не могло.

— Чо вы разбухтелись на меня, — вспылил Валерка. — Я не ваш сын.

— Что, — взорвался Папа, его глаза выкатились из орбит. — В изолятор захотел? — гремел он на весь кабинет.

— Я не больной, — развязно парировал Комар.

— Ты хуже, — Папа уже не сдерживал свои эмоции, он был зол, как собака. — Я научу тебя уважать старших, — гневу Колобка, казалось, не будет конца. Он извергался, как вулкан, феерическая картина.

Я представил, какая жизнь нас ждет впереди, и мне, мягко говоря, стало не по себе от такой радужной перспективы.

— Не кричите на меня, — не унимался Валерка. — Я буду жаловаться в Организацию Объединенных Наций.

— Что?

У Папы челюсть окончательно отвисла, лицо Маркизы покрылось красноватой чешуей, она, выпучив глаза, снялась с ручника, неистово закричала на Комара, но для Валерки ее стенания были, как мертвому припарка. Лишь одна Марго смотрела на нас по-матерински печально. Ее взгляд журил нас за юношескую горячность.

— Как ты посмел сопляк, — ревел Папа могучим голосом, продолжая набирать децибальные голосовые обороты, — в моем детском доме, — от возмущения он даже привстал.

— Это не ваш детдом, он государственный, — выкрикнул в ответ Валерка.

Что тут началось. Простая фраза подействовала на директора, как красная тряпка на быка. Он весь напыжился, как клоп, на висках у него вздулись синие жилки, свекольного цвета желваки пошли ходуном. Казалось, его сейчас вот-вот прорвет бурным, неуправляемым словесным потоком, и так оно случилось. Папа вскочил как ужаленный со своего стула, брызгая слюной и стуча кулаком по столу, он открыл рот с тараканьими усами. Маркиза, вскинула выщипанными тонкими бровями, негодующе уставилась на нас, словно мы у нее сперли кошелек с деньгами.

— Он еще скалится в моем кабинете, — взревел Папа, чуть ли не топая от негодования ногами. — Я научу тебя уважать старших, — директорский грозный рык разрезал воздух кабинета, как хлыст. Я пытался что-то вставить, но словоизвержение Папы было неудержимо. — Екатерина Васильевна, — обратился он к Маркизе, переводя дыхание. — Срочно ко мне Николая Тимофеевича.

— Сейчас, — и Маркиза в два счета испарилась из кабинета, оставив после себя приторно-сладкий запах духов.

— Зачем вы вызываете Гаврилова, — поинтересовалась Марго, подходя к директорскому столу. — Если для того, чтобы засадить парней в изолятор, то я категорически против, — ее голос звучал уверенно и непоколебимо. — Изолятор — это антипедагогично.

Лицо Папы снова пошло бурыми пятнами.

— Маргарита Николаевна, — он мрачно недовольно посмотрел на Марго. — Прошу вас без наставлений. Вы разве не видите, что себе позволяет этот наглец, — и он ткнул пальцем на Комара.

— Что я такого себе позволил, — возмутился Валерка. — Попросил только не разлучать меня с другом.

Папа молча открывал и закрывал рот, как будто не мог найти слов, чтобы выразить свое негодование. У меня в животе похолодело от страха. Наконец, директор вышел из состояния ступора, оклемавшись, прыжком подскочил к Комару и стукнул его рукой со всей силы по загривку.

— Размахался руками, — Валерка вытирал кровь с разбитой губы. — Думаешь, придурок, если директор, то все можно.

— Что, — рявкнул Колобов и его тучеобразное тело заколыхалось, сотрясаемое вспышкой ярости, разбрызгивая слюни налево и направо. — Я тебя пришибу, как таракана, — его глаза гневно сверкали.

— И лет на десять сядешь, — остудил пыл директора невозмутимый тон Комара. — Напугал, — фыркнул Валерка. — Не таких грозных видели, и ничего — живы.

Комар выглядел бледнее обычного, но весьма решительно. Папа схватил Валерку за шиворот и с силой потащил из кабинета. Он с грохотом открыл дверь, чуть не сорвав ее с петель. Я как увидел Папу — взгляд дикий, волосы всклочены, сразу понял, нам с Валеркой пришел полный капздец.

— Ты у меня землю грызть будешь! — задыхаясь, кричал Папа, пиная ногами Комара. — Я тебя в изоляторе сгною, — кипятился он, как чайник. — Будешь у меня там до Нового года париться.

Мы с Марго выскочили за директором в коридор, там уже находились Маркиза с Гиббоном.

— Тимофеевич, на неделю этого гаденыы-шшша, — он указал пальцем на Комара, — в изолятор и дружка его заодно прихвати, пусть подумают над своим вызывающим поведением.

В коридоре собралось уже большое количество зрителей, среди них я увидел ехидную довольную ухмылку Щуки. Парни шепо-

том расспрашивали друг друга о случившемся. Все с интересом лицезрели картину: «Папа в бешенстве». Маркиза, что-то пискнула, но ее никто не слушал.

— Я обязательно пожалуюсь в Организацию Объединенных Наций, — не унимался Комар. — Я напишу Горбачеву. Ты вылетишь из Клюшки в три счета! — грозился он Колобку.

Я посмотрел на Папу и увидел в его глазах испуг, я вспомнил слова Комара: «Я бомба замедленного действия!»

— Однако, новенькие, дают, — воскликнул кто-то восторженно.

— Затухни Зажигалка, — мрачно выдавил сквозь зубы Щука. — Не три губы, если хочешь, чтобы были целы зубы. — Бедный пацан по имени Зажигалка мгновенно заткнулся.

— Тимофеевич, уведите их быстрее, — взмолилась Марго, боясь, чтобы Комар чего-то еще такого не отчебучил.

Гиббон клешнями вцепился в наши руки и повел по коридору, нас молчаливо провожала толпа сочувствующих лиц.

Изолятором оказался бывший туалет в подвале. Я сразу оценил одноместный «люкс». В особый восторг меня привел горько-прокислый фекальный воздух. «Глюк неповторимый», — горько пошутил я про себя. От перспективы провести в этом одноместном номере бесплатно неделю, я вначале очумел, но потом смирился, со мной же будет Комар. Жить негде, вот и живешь, где попало, а в народе почему-то называют бомжем.

— Ну, как санаторий? — лицо Гиббона растянулось в треугольной улыбке, получилась как у постмодернистов: кубики, ромбики на фоне громадного квадрата. — Стучать в дверь бесполезно, все равно никто не услышит, — просветил Гиббон. — Вам здесь понравится, — закрывая нас на амбарный замок, съехидничал Гиббон.

— Нам уже нравится, мы просто в диком восторге, — в унисон крикнул Комар и стукнул дверь ногой.

В углу «люкса» валялся скомканный, свалявшийся матрац и такая же страшная ватная подушка без наволочки. Через пятнадцать минут нас уже слегка поташнивало, а у меня еще в придачу заломило в висках.

— Через тройку дней мы станем с тобой конченными наркоманами, — горько заключил я.

На двери, оббитой проржавленным листом железа, кто-то коряво нацарапал гвоздем: «Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг».

— Однако юмористы здесь были и до нас, — Валерка подошел к двери и со всей силы пнул ее ногой, однако не только облегчил этим злость, но почувствовал себя еще хуже: заболел, добавок ко всему, и большой палец ноги. — Сволочи, — крикнул Валерка, прекрасно понимая, что его никто не слышит.

Комар вернулся к матрацу, прилег и сразу приподнялся, матрац вонял мочой. Мы молчали. Тело стал пробивать холод, с каж-

дой минутой все сильнее и сильнее донимал голод. Живот бурчал, издавая глухие музыкальные звуки, казалось, будто все кишки перепутались. «Уснуть бы как-нибудь», — безнадежно подумал я. Комар все-таки прилег на матрац, устало, закрыв глаза. Мне показалось, что в дверь, кто-то скребется. Мы напряглись и прислушались...

— Пацаны, как вы там, — поинтересовался незнакомый голос.

— Живы, только жутко холодно и жрать хочется.

— Большой Лелик с Марго постараются вас завтра отсюда вытащить, — заверил голос. — Курнуть хотите?

— Еще бы! — радостно воскликнул Комар.

— Погодьте минуту, — крикнул голос. — Я в щель засунул между полом и дверью.

Валерка вытянул из щели сплющенную сигарету, спичку и кусочек коробка.

— Спасибо, — благодарно крикнул он. — Тебя как звать?

— Зажигалка, я в группе у Большого Лелика.

Тут послышался какой-то шум за дверью, возня, потом звук падающего тела, и до боли знакомый голос Гиббона:

— Поймаю еще раз, ноги повыдергиваю!

Нам искренне стало жалко парня, который проявил к нам участие и сочувствие и пострадал из-за нас от Гиббона. Нас снова поглотила тишина.

— Кажется, мы стали популярными, — стараясь придать голосу веселость, произнес я.

— Определенно, — согласился Комар.

Мы закурили, переданную нам сигаретку, вдыхая полной грудью дым.

— Комар ты неисправимый, — негодующе воскликнул я. — Нравиться тебе устраивать себе и другим трудную жизнь, — продолжал я, на чем свет стоит чихвостить Валерку.

— Разве — это трудная жизнь?! — сыронизировал Комар.

— По-твоему нет?

— Для разнообразия надо все попробовать, — саркастически произнес Валерка. — Спать охота, — Комар смачно зевнул. — Давай спать, утро вечера мудренее.

Валерка вырубился буквально сразу. Он лежал возле меня и дрых, иногда похрапывая. Я же долго не мог уснуть, снова полезли тягостные мысли, проплыли перед глазами лица, и выползи предательские слезы. Я их не вытирал, они текли и текли.

Из мира тепличного, «домашнего рая», как его всегда называли усыновители, судьба забросила меня в мир, где «хер», «дрочила», «мудак», и «говно» звучали так естественно и просто, что было бы крайне удивительно не слышать этих чарующих уши слов. Утверждать, что меня это слишком шокировало, было бы смешно и нелепо, однако определенный душевный и моральный дискомфорт я все же испытал.

Среди ночи я почувствовал, что тело мое горит и его трясет, как в лихорадке. Я растолкал Комара.

— Валерка, — прохрипел я. — Мне, что-то совсем худо.

Комар живо вскочил, пощупал ладонью мой лоб и порывисто воскликнул:

— Тебя как будто засунули в духовку.

— Возможно, только мне от этого не легче, — заскулил я. — Комар мне совсем плохо.

— Прижимайся теснее ко мне, так будет теплее, — Валерка рукой прижал меня к себе, я не протестовал.

Через какое-то время Комар заботливо спросил:

— Ну, как ты?

— На букву Х, — честно признался я.

— Одевай, — Комар снял с себя свитер.

— Нет, — слабо запротестовал я.

— Одевай, — приказал Валерка, натягивая на меня свой свитер, но это уже не помогало.

У меня начался бред, я склонял усыновителей, ругался с Буйком, что-то доказывал Кузнечику, грозился Гуффи.

Утром Комар принялся стучать в дверь. Мне казалось, что он поотбивает себе ступни ног, и все же он добился своего, его стук услышали, и через какое-то еще время дверь изолятора открыл Гиббон и ворчливо набросился на Валерку. Комар стал доказывать этому питекантропу, что меня надо срочно отвезти в больницу.

— Не умрет, — и Гиббонище ушел, закрыв за собой дверь.

Комар набросился на дверь, колотил ее беспощадно, но все напрасно: никто не приходил, никто не открывал. Валерка от бессилия расплакался.

Дверь открылась на следующий день под вечер — вбежала Марго, Большой Лелик и Спирохета. У меня все уже было как в тумане, никакой реакции на свет.

— Вызовите врача, — отчаянно кричал Комар, его самого уже тряс колотун.

Спирохета бросилась ко мне, ощупав меня, я услышал ее отчаянный вопль.

— В скорую срочно! И второго также в больницу, у него температура зашкаливает за 39.

Все вокруг загоношились, забегали. Комар склонился надо мной, когда мы уже были в скорой.

— Ты только живи, слышишь!

Я разлепил губы и тихо выдавил из себя:

— Я в порядке!

Так мы на полтора месяца с Комаром загремели в больницу. Пришел октябрь, холод и сырость затопили окрестности. Валерку хотели раньше выписать, но он уломал врача продержать его до

моей выписки. Папа лично за нами приехал, всю дорогу он хмуро молчал, не проронив к нам ни слова.

Клюшка встретила нас, как героев и радостным криком: «Комара с Сильвером привезли». Через минуту нас обступила толпа обитателей, из которых я хорошо знал только одного Зажигалку. Он был длинный, тощий и нескладный, с большими руками и ступнями, лицо его было усыпано веснушками. Зажигалка несколько раз втихую приезжал к нам с больницу и сообщал все клюшкинские новости. От него мы узнали, что Железная Марго добилась закрытия изолятора. Клюшка по этому поводу гудела неделю, и еще я узнал, что мне дали кличку — Сильвер. Это лучше чем Хромоножка.

Папа раскидал нас в разные группы. Я попал к Большому Лелику, Валерка к Гиббону, но жили мы в одной комнате. Это уже сделала Железная Марго.

Суета и суматоха клюшкинского дня завертела, закружила нас, словно водоворот: одно, другое, третье. Целый день нас с Валеркой не трогали, меня же не покидало ощущение смутной угрозы. Комар успокаивал: «Расслабься, все нормально!», но я держал ушки на макушке. Мне было неспокойно. Глубоко после отбоя в спальню зашли три жлоба, один из которых скомандовал:

— Пошли знакомиться!

Я все понял без лишних слов, Комар спокойно встал, напялив на себя треники. Нас под конвоем повели в туалет, баба Такса дрыхла у себя в каптерке, оттуда раздавался ее могучий храп, дежурного воспитателя в помине не было видно, наверное, дрых у себя дома на кровати в обнимку с женой.

Щука вальяжно восседал на подоконнике, в новых синих шелковых с красными лампасами спортивных брюках и футболке «Рибок», рядом сидел Никита и курил в раскрытое окно. Шестерки расположились у кафельной стены. Как только нас завели, в туалете повисла тишина, на нас смотрели, как на смертников.

— Ну, что будем прописываться? — ехидно хмыкнул Щука.

— Попробуй, — вызывающе ответил Комар.

— Не сокращайся, — Щука вскочил с подоконника. — Комар, мы тебя сегодня трогать не будем, — Щука гаденько рассмеялся, и в развалку подошел вплотную ко мне. — Ты же у нас крутой, а вот с твоим малохольным хромым дружком, — Щука возбужденно потер ладони, в его голосе еще отчетливее прозвучало недоброе веселье, — мы потешимся.

Мое сердце забилось у самого горла. Чей-то увесистый кулак свалил меня на пол, от боли в глазах полыхнули искры. Я лежал распластанный на полу, как на кресте, тяжело дыша, словно после долгого бега. Лицо горело от полученных ударов, с носа текла кровь. Щука восторженно распевал:

— Сейчас прольется чья-то кровь... — и все вокруг, как помешанные ржали, один только Никита смотрел на все безучастным взглядом.

— Щука, не трогай друга, — дико завопил Комар. — Накостыляй мне, но Аристарха не трогай.

— Поздно Комар, — наслаждался триумфом Щука, его лицо самодовольно светилось. — Хочешь спасти друга, — Щука с прищуром посмотрел на Валерку, которого за руки держали двое. — Оближи мой кроссовок, и я не трону твоего Сильвера, слово пацана!

— Комар, — собственный голос показался мне придавленным. — Мы потом ему отомстим!

— Заткнись, хромоножка!

Щукин снял носок и силком пихнул его в мой рот, пренебрежительно произнес:

— Постирай их, пожалуйста, — смеха не было, напротив, повисло неодобрительное напряжение.

— Щука, — вмешался, молчаливо наблюдающий за всей экзекуцией Никита. — Оставь пацанов!

— Что ты сказал, Никитон? — Щука застыл от изумления на месте. — Я, что-то не врубился?!

— Что слышал, — спокойно повторил Никита.

— Срань господня, — взорвался Щука, недовольно глядя на друга. — Никитон, меня твоя доброта начинает бесить.

В туалете с напряжением наблюдали за спором друзей, никто не заметил, как открылась дверь и в проеме застыла фигура Большого Лелика.

— Что здесь происходит?

На мгновение все оцепенели, никто не ожидал увидеть в такое позднее время в туалете Большого Лелика.

— Щукин, — раздался ледяной голос Большого Лелика. — Я же предупреждал тебя, чтобы ты не вздумал устраивать парням прописки, — лицо Щуки мгновенно побурело, как у свеклы. — Отпусти пацанов, — повелительно скомандовал Большой Лелик и никто не осмелился его ослушаться.

Воспитатель подошел ко мне.

— Как ты, Аристарх? — спросил он заботливо.

Трудно было, после всего происшедшего, сразу вернуться в нормальное состояние.

— Стандартно, — ответил я приглушенно.

— Хорошо, — Большой Лелик устало опустился на деревянную табуретку, которая стояла у плиточной стены. — Командор хренов, — задыхаясь, выдавил Большой Лелик, угрюмо покачивая головой. — Забыл как тебя в этом же туалете чморил Батон, когда ты мелким соплежуем прибыл на Клюшку?! Освежить тебе память, напомнить при всех?! — голос Лелика зазвучал еще резче.

Щука покраснел, слова Большого Лелика подмачивали его репутацию.

— Еще раз увижу между вами разборку, — воспитатель взглянул на Щуку, сосредоточенно сдвинув брови, — не приведи Господь, ты в ней будешь зачинщик, пеняй тогда Командор на себя! — Щукин, стиснув зубы, молчал. — Комаров, — Большой Лелик

посмотрел Валерке в глаза, как глядят честные люди. — Ради всех святых угодников, не окрысься, как некоторые здесь, — в голосе Большого Лелика прозвучало предостережение. Он тяжело поднялся с табуретки. — Марш всем по комнатам.

Все молча разошлись, понимая, что это временное затишье. Понимал это и Большой Лелик, поэтому и бдил нас, как курица своих цыплят.

Первая наша с Валеркой ночь на Клюшке. Мы долго не могли уснуть.

— Пошли, — неожиданно проговорил Комар, и рывком вскочил с кровати.

— Куда?

— К Щуке, — коротко отрезал Валерка. — Если не сейчас, то уже никогда.

— Что ты собираешься делать? — в горле у меня пересохло.

— Увидишь!

По дороге Комар кратко изложил свой план. Мы тихо пробрались в спальню Щуки. Все мирно похрапывали. Комар резко заскочил на кровать Щуки, зажал двумя руками ему рот, и приставил к шее нож. Я уселся на Щукины ноги и блокировал их. Щука попробовал нас скинуть, бесполезно, мы держали его железно.

— Еще раз тронешь одного из нас хоть пальцем, зарежу, — хладнокровно произнес Комар. — Мне ничего не будет, кроме колонии или спецухи, — глаза Валерки лихорадочно блестели. — Для меня это санаторий, усек!

Щука моргал перепуганными глазами.

— Ты не трогаешь нас, мы не трогаем тебя, идет!

Щука вынуждено кивнул головой. Мы молча ушли из спальни, Щука крик не поднимал, боялся уронить свое командорское достоинство.

— Он нам этого не простит? — резонно заметил я, когда мы вернулись к себе и улеглись в кровати.

— Да, — согласился Комар, — но теперь он знает, что мы бесбашенные, можем за себя постоять.

Ночные сумерки тем временем обняли небо, покой снизошел на землю, звезды, беспрестанно переговаривающие между собой, смолкли, как птицы на закате. Утром небо прояснилось, стало светло-опаловым, ударил легкий морозец, и, проснувшись, обитатели увидели кружева инея, за окнами падали крупные хлопья снега.

После завтрака ветер притих, и даже несмело выглянуло солнце. Обитатели Клюшки толпились в вестибюле, во дворе царила беспорядочная суета: старшаки скучковавшись, пошли к гаражу покурить, малышня безудержно бегала по двору с визгом, играя в снежки, воспитатели отдавали последние наставления. Все ждали Железную Марго.

Щука с пренебрежением, посмотрел на Каблука, одетого в чумовую куртку без единой пуговицы, и в этот момент массивные парадные двери открылись, во двор вышла старший воспитатель.

— Рулим на каторгу? — в слух произнес Никита. — Железная Марго выползла, с ней связываться — себе дороже.

— Да, рулим! — согласился Щука. — Железную Марго боялся бы сам Флинт, — все засмеялись, им нравилась эта фраза, сравнивающая Марго с великим пиратом Флинтом из «Острова сокровищ» Стивенсона.

День потянулся по заведенному порядку.

Ночью Клюшка заснула в пьяном угаре, правильнее сказать, в самогонном угаре. Чапа, один из санитаров Клюшки, узрел, как воспитатель Сединина в огороде тайком от мужа закопала бутыль самогона. Он сразу доложил о стратегической находке Командору. Щука не сразу поверил в такую удачу. После отбоя драгоценная бутыль была раскопана и употреблена. Вместе с обитателями на халяву самогонки напился даже и дед Матвей. Было грустно и смешно видеть пьяную Клюшку. Чапа от Щуки получил пачку «Примы» и повышение. Теперь он стал старшим санитаром на железнодорожном вокзале. Санитарами на Клюшке называли всех обитателей, которые по приказу Щуки промышляли попрошайничеством, мелким воровством, собиранием бычков в урнах. Все собранное за день санитарами стекалось к Щуке. Он, как Командор, распределял, кому, что дать, что заныкать, что пустить в оборот.

Если меня спросить, какие мои любимые школьные предметы, отвечу, не задумываясь: история и литература. Так как вел историю Большой Лелик, так никто больше не сможет. Я знал, какие сигареты любил Сталин и Черчилль, какие спиртные напитки они обожали, какого роста был Петр Первый и размер его ноги, знал, что Григория Потемкина звали Циклопом, сколько и каких орденов было на парадном мундире у великого Суворова, хотя сам он был от вершка два горшка. Мы с Большим Леликом изучали историю деяний человеческих. После его уроков обыкновенный учебник истории был полон грохота сражений, шепота дипломатии, куртуазности придворного поведения. Иногда вся жизнь мира проплывала в моем сознании одним человеческим лицом.

Когда же я вспоминаю литературу, то в голову приходят не произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, совсем не они. В голову приходит Пенелопа.

Никто не помнил на Клюшке, кто первым так странно назвал учительницу русского языка и литературы. Назвали и все: Пенелопа, она и в Африке будет Пенелопой. Ее панически боялись. Было что-то резкое и непривлекательное в характере учительницы. В классе она была высокомерна, холодна и сурова, но в тоже время умела завладеть нашим вниманием, и мы слушали ее, раззявив от восторга и удивления клювы. Иногда она казалась счастливой. Заложив руки за спину, она зачумлено ходила по классу и рассказывала. Казалось, ей безразлично, о чем говорить. В проведении уро-

ка важным для Пенелопы было ее собственное настроение. Однажды, в период меланхолии, она с таким увлечением рассказывала личную жизнь Сергея Есенина, с его страстями, любовными похождениями и переживания, словно была его соседкой по кровати, хотя в программе Есенина и в помине не было, но ей хотелось нам рассказать о нем, а не о Салтыкове-Щедрине. В другой раз ее прошибло на анекдоты. Смех стоял невообразимый, внезапно Пенелопа опять сделалась холодной и суровой. Этих переходов мы больше всего и боялись. Пенелопе пугала всех своей непредсказуемостью. Никто не знал, сколько ей лет, потому что возраста она была неопределенного. Когда она пребывала в хорошем настроении и приличном прикиде, казалось, что ей до сорока; в обычные будничные дни, что ей уже далеко за пятьдесят, особенно, когда она злилась и хмурила свой высокий морщинистый лоб. Плечи у нее были слегка сутулые, волосы темные, не крашеные, глаза карие.

В поселке Пенелопу считали женщиной с завихрениями и старались без надобности не связываться. У нее была одна страсть — она была помешана на гороскопах. Безоговорочно им верила, и накопила их у себя огромное количество.

Наши отношения с Пенелопой не заладились сразу, и причиной была наша с ней звездная несовместимость. Первая же наша встреча с Пенелопой оказалась громкой и скандальной. После двух спаренных уроков физкультуры, трехкилометрового кроссика, все возбужденные ввалились в класс, где уже за столом сидела Пенелопа. Худая, с жирными черными волосами, стянутыми в тугой пучок на затылке, она всегда ходила на работу в одной и той же юбке. Ее небольшой гардероб из трех кофточек все уже давно знали наизусть. Если на ней серая в синий горошек кофта, значит всем кранты; если бордовая — жить можно, ну и если кремовая — жизнь просто прекрасна. Сегодня на Пенелопе была серая в синий горошек кофта. Все сразу заметили ее раздраженный вид, словно она проглотила лимон.

— Господи, — взмолился Чапа, костлявый пацан, очень похожий на крысу, — как я ненавижу Пенелопу.

— На литературу, как на похороны, — язвительно пошутил Филимон.

В этот момент голосисто раздался на три этажа звонок, в классе мгновенно воцарилась звонкая гробовая тишина. Я с интересом глядел на притихший класс, и в голове вырисовывалась чудненькая картина: «Тиха украинская ночь...», это Николай Васильевич очень точно и достоверно описывал наши уроки с Пенелопой.

— Открыли тетради, учебники закрыли, они не для вас написаны, — замогильным голосом командовала учительница, продолжая проверять тетради.

Щука, сидевший за одной партой с Никитой Смирновым, периодически толкал рукой в плечо впереди сидящую Щеглову, и

что-то ей шептал. Он хотел не то рассмешить, не то поразить ее своим остроумием. Щеглова громко засмеялась, глаза ее возбужденно сверкали. Щука с удовлетворением откинул голову назад. Его рыжие непослушные кудри, раскиданные в разные стороны, напоминали взрыв на макаронной фабрике.

Смирнов угрюмо и молчаливо слушал болтовню друга с каким-то странным неодобрением, периодически смотрел на хохочущую Щеглову.

— Щукин со Щегловой угомонитесь, — предостерегла учительница.

— Белла Ивановна, — лицо Щуки резко преобразилось и стало чересчур серьезным. — Это не я, это Щеглова ко мне пристает и мешает.

— Щеглова, что уж замуж невтерпеж? — ехидно заметила Пенелопа, закрывая последнюю тетрадь.

Класс разразился хохотом, Щеглова сконфуженно опустила голову, она никак не ожидала такой заподлянки от Щуки, и сердито выпалила:

— На себя посмотри в зеркало, — ее лицо скорчило гримасу, — нашелся мне принц датский.

— Смотри Щеглова, подберут парня, подберут, — старческим голосом сымитировал голос деда Матвея, Каблук с первой парты, чем вызвал в классе новую волну живого смеха.

— Хватит разводить балаган, — раздраженно остановила смех Пенелопа. — Как у меня от вас болит голова, — безнадежно пожаловалась она.

— Белла Ивановна, как же она может болеть, это же кость? — съязвил Щука, лучше бы он этой плоской шутки вообще не говорил.

— Это у тебя Щукин в голове кость, — взорвалась Пенелопа, — и мы здесь пришли не твои мозговые косточки обсасывать, понятно?! — она сурово посмотрела на класс. — День у меня эмоционально нестабильный, так что не выводите меня из терпения, особенно Козероги, Девы и Близнецы.

Намек всем был более чем понятен. Сегодня Пенелопа не будет трогать тех, кто родился под этими созвездиями. Им мысленно добрая половина класса здорово позавидовала, остальные — напряглись. На прошлом уроке Пенелопа задала выучить домой кусок текста из «Мертвых душ» Гоголя. Он, к сожалению, оказался слишком длинным. Многие просто не открывали учебник на самоподготовке, потому что через два дня долгожданные каникулы, и нужен им этот Гоголь, как собаке — стоп сигнал.

Тем временем, Пенелопа повесила на себя очки, висевшие у нее на резиночках на груди, неспешно открыла журнал, заполнила его, после чего подняла голову и пристально, словно выискивая жертву, уставилась на притихший класс.

— Ну, кто, — произнес низкий ворчливый голос учительницы, — снова будете нервы мои сердечные расстраивать?

Неожиданно ее лицо оживилось, она увидела нас с Валеркой.

— О, — негромко воскликнула Пенелопа. — Появились местные знаменитости, — она с живым интересом рассматривала нас.

Настроение ее значительно улучшилось, это сразу все заметили. Класс молча ликовал, наивно полагая, что оставшееся время пройдет в таком же благодушном состоянии. Всю идиллию испортил Чапа, его «харчок» с трубочки вместо того, чтобы попасть в Малофееву, попал на руку Пенелопе.

— Какой кретин расплевался? — взревела она мощным басом.

Чапа обомлел, у него даже не хватило сил встать, ноги окаменели.

— Белла Ивановна, я не хотел, — промямлил виновато он.

— Господи, что значит наследственность, — вскипела Пенелопа. — Таким же идиотом был и твой папочка. Имела несчастье его учить, — произнесла она презрительно. — В ваши годы пионеры-герои жизнь за Родину отдавали, а вы... — и Пенелопу понесло.

Чапа пристыжено и напугано молчал.

— Еще раз харкнешь, ты у меня из школы вылетишь первым рейсом, — это была излюбленная фраза Пенелопы, никто правда не знал, когда наступит этот рейс.

— Ей бы охранником в психушке работать! — тихо шепнул Валерка мне.

— Лучше ветеринаром в зоопарке, — согласился я.

— Про какого ветеринара, ты там шепчешь новенький? — Пенелопа подозрительно перевела взгляд очкастых глаз на меня. — Не смотри на меня, как таракан на тапки, — вспылила она, заставив меня смутиться и покраснеть. — Гоголя выучил?!

— Да!

— Продемонстрируй, — коротко бросила она, продолжая сверлить меня своими четырьмя близорукими глазами.

Я с минуту помолчал, вспоминая слова, и спокойным, звонким голосом прочитал отрывок в полторы страницы наизусть, ни разу не запнувшись.

— Очень даже ничего, — удивилась Пенелопа. — «Отлично», — торжественно произнесла она, и довольная, сияющая направилась к учительскому столу. — Вот с кого берите пример, остолопы, — произнесла она, обращаясь к растерянному и даже потрясенному классу.

На меня смотрели со смешанным чувством восхищения и зависти, даже Валерка воспринял мое «отлично» не одобрительно, это я читал по его хмурому выражению лица.

— Сафронов, ты кто по гороскопу? — неожиданно поинтересовалась Пенелопа.

— Близнец.

— Неужели? — разочарованно произнесла Пенелопа. — У нас оказывается полнейшая звездная несовместимость, — она долго не могла поверить в такое несовпадение.

Настроение ее значительно ухудшилось.

— Послушаем вторую нашу знаменитость, — и Пенелопа саркастически обратилась к Комару.

— Я же только что из больницы? — огрызнулся Валерка.

— Это твои личные проблемы, мне до них нет никакого дела, — голос Пенелопы крепчал.

Валерка нахмурившись, угрюмо молчал.

— Значит, не выучил, — обрадовано заключила она. — Садись, «два»!

Пенелопа принялась по очереди опрашивать злосчастный отрывок по классу. Время медленно и уверенно котилось к завершению урока. Валерка расслабившись, увлекся другой работой. Двигая быстро рукой, он рисовал, закончив, подвинул тетрадь на мою половину, и, сдерживая смеха, показал свое творчество. Я молчаливо, оценив рисунок и прочитав к нему восьмистишие, также не удержался от смеха.

— Что здесь происходит, — как грозовая туча нависла Пенелопа над нашей партой.

Валерка в замешательстве замер, Пенелопа грубо выхватила из его рук злополучную тетрадь, заподозрив неладное. Она лихорадочно пролистала ее, и, не найдя ничего криминального и предосудительного, уже собралась ее вернуть, но последняя страница предательски развернулась во всей красе. Пенелопа впилась в рисунок и стих близорукими глазами.

— Мерзавец! Выродок! Дегенерат! — послышался дикий вопль учительницы. — Сволочь! — нервно верещала Пенелопа, слова слетали с ее голосовых связок, как вода с водопада, безостановочно.

В классе повисла тишина, никто не шевельнулся, не выдавил ни слова, если не считать Щуку промямлившего шепотом: «Полный ек». В приступе необузданной ярости Пенелопа ударила Валерку по лицу. Щелки ее ноздрей раздувались от возбуждения. Комар стоял бледный. На его лице не было никакого выражения, глаза смотрели сквозь Пенелопу в одну точку — на классную доску.

— И ты в этом замешан?! — устрашающим ледяным тоном произнесла Пенелопа, уставившись на меня. Ее глаза гневно сверкали. Левая рука Комара незаметно за партой стиснула мою руку, и это прикосновение подействовало на меня умиротворяюще. — После уроков оба в кабинет директора, там поговорим по-другому! Вы у меня пожалеете, что вообще родились на свет божий! Я вам устрою такое... такое, — у нее перехватило горло, Пенелопа резко повернулась, услышав звонок, быстрыми шагами направилась к учительскому столу, забросив в сумку свои пожитки, громко ушла, хлопнув дверьми перед самим носом изумленной биологички. Та в нерешительности замерла на пороге класса, словно не решалась зайти.

— Что у вас тут произошло?

— Разборка, — ответил за всех Щукин, и класс вымученно засмеялся. — А так, в общем, — Щука постарался спародировать

Пенелопу, и у него это неплохо получилось, — урок прошел в спокойной, творческой атмосфере. Мы очень активно обсасывали мозговые косточки новеньких

— И как? — в унисон Командору, спросил Каблук, словно он был Папой.

— Никак! — иронизировал Щука. — У одного мозги есть, у другого, к сожалению, полностью отсутствуют. Вот такой клюшкинский парадокс.

Класс грохнул от смеха, только нам с Комаром было не до смеха.

После обеда состоялась большая разборка в кабинете Папы. Если бы не защита Марго и Большого Лелика, все для нас с Комаром могло закончиться намного печальней, так мы отделались недельным дежурством по столовой.

— Аттестаты увидите только через мой труп, — злобно прошипела нам Пенелопа.

Валерка к удивлению всех собравшихся в кабинете, на рожон не лез, вел себя чересчур смирно — все время молчал. Я сам был удивлен такому поведению друга.

— Собака лает, караван идет, — философски объяснил Валерка. — Жить будем!

После Пенелопиного урока такой кайф был прогуляться после уроков по территории Клюшки, посидеть, свесив безжизненно ноги, с могучей ветки старого кряжистого дуба-великана, но нас посадили на неделю под клюшкинский арест — запретили свежим воздухом.

На самоподготовке в тот же день пришлось сцепиться с Каблуком, рослым увальнем, под метр восемьдесят. Кулаки у него были огромные, глаза на редкость маленькие. Его волосы, брови и пушок, уже обозначившийся на подбородке, были светлые, почти белые. Каблук спокойно мог бы завалить Щуку одной левой, но он был дефективным, учился в компенсирующем классе, их на Клюшке презирали, с ними никто не водился. Поэтому Щука легко заделал его своей боевой шестеркой.

Каблук, как назойливая муха, пристал к Ленке Ивановой, говорил ей всякую гадость, желая довести ее до слез, и ему это удалось. Большого Лелика в классе еще не было, где-то застрял по дороге. Мне стало противно наблюдать, как придурок Каблук доводит Иванову до слез. Не знаю, какой черт дернул меня стать на ее защиту.

— Каблук, оставь девчонку в покое, — с легким раздражением обратился я к задиристому Каблуку.

Тот от неожиданности молчаливо выпучился на меня.

— Ты, что Сильвер вякнул? — вид у Каблука был слегка пьяноватый, его пошатывало, чтобы удержаться на ногах, он цеплял-

ся за край стола. Только через некоторое время я узнал, что Каблук «моментщик» — токсикоман.

— Что слышал, — невозмутимо повторил я. — Оставь Иванову в покое.

— Сильвер, — Каблук неожиданно сплюнул на пол между собой и мной. Лицо его грозно набычилось. — Если не хочешь получить по зубам, то вали отсюда, пока не накостылял тебе.

— Каблук, — я старался держать себя в руках, и поэтому было предельно вежливым. — Тебе же очень популярно сказали: «Оставь девчонку!» — десятки глаз оторвались от тетрадей и впились с интересом в меня. — У тебя проблемы с русским языком?! — закончил я с интонацией, по которой было ясно, мое терпение подходит к концу.

— Сильвер, ты чего это? — розовые, как ветчина, руки Каблука сжались в кулаки.

— Ничего, просто отстань от девчонки, — внутри у меня все кипело.

— Завидно стало, потянуло на Иванову, — Каблук грубо хохотнул. — Так я устрою, Иванова, дашь Сильверу?

Рука моя самопроизвольно поднялась, я врезал Каблуку по скуле, он повалился на пол, и смотрел на меня с разинутым ртом, не веря в то, что я посмел его ударить.

— Сильвер, ты покойник, — заорал Каблук во всеуслышание.

Дверь класса отворилась, на пороге с тетрадями под мышкой стоял Комар.

— Только после тебя, дефективный, — вмешался Валерка, который с опозданием пришел на самоподготовку. Это за ним наблюдалось еще в обезьяннике, что выводило из себя Гуффи.

Каблук злобно посмотрел на Комара, на меня, на его щеке нервно задергался мускул.

— Комар, ты еще допрыгаешься, — прошипел гнусаво он, и его лицо приобрело густо-фиолетовый оттенок. — И твой дружок...

— Катись Каблук, — презрительно оборвал Каблука Валерка. — Губошлеп, от тебя за километр прет «Моментом».

В классе повисло молчание, Комар и Каблук молча разглядывали друг друга, словно обнюхивали. Я невольно восхитился — страха Комар решительно не ведал. Лицо его выражало лишь отвращение.

— Ты все понял наркоман конченный, — презрительно фыркнул Комар.

Каблук понял, ситуацию не стоит больше усугублять, под улюлюканье группы смылся.

Валерка хмуро уставился на меня.

— На меня наезжаешь, сам же постоянно нарываешься на приключения, — недовольно пробурчал Комар. — Ни на минуту тебя нельзя одного оставлять!

Меня чуть не пробрало на смех, кто бы мне мораль читал, святой нашелся.

— С кем поведешься, от того и наберешься, — с усмешкой ответил я на выпад друга.

— Не забеременей еще, — неопределенно произнес Комар, и больше не сказав ни слова, вышел из класса, оставив меня в полном недоумении.

Настроение было испорчено, я угрюмо сидел за партой, не понимая наезда Валерки. В конечном итоге я сделал глубокий успокаивающий вдох и сказал:

— Ну, его...

И тут на стол упала записка. Там было только одно слово: «Спасибо!» Я понял, кто мне написал, стало тепло и приятно на душе.

После самоподготовки Большой Лелик оставил меня в классе для профилактической беседы. Вид у него был угрюмый, я понял, ему уже настучали на меня.

— Объяснись, майн либен, — потребовал Лелик.

— Разве, что-то произошло?! — спросил я, стараясь сохранить на лице самое безобидное выражение.

— Разве нет?! — в унисон мне ответил Большой Лелик. — Ты ничего не хочешь мне рассказать о происшествии на самоподготовке?

— Ничего, — я отрицательно потряс головой. — разве, что-то произошло?! — мои невинные глаза честно смотрели.

— Что произошло с Каблуковым? — Лелик пристально посмотрел на меня.

Я сделал вид, что до меня наконец-то дошло чего от меня хочет воспитатель.

— Пусть не пристает к девчонкам! — отрывисто произнес я.

Большой Лелик издал какой-то неописуемый звуковой восторг.

— Сафронов, растешь на глазах, — на лице воспитателя появилась мягкая, добродушная улыбка. — Пора нравиться девчонкам.

Мне стоило больших усилий сохранить безразличный вид.

— Разве я им могу понравиться?

— Еще как, — воскликнул весело Лелик, — все юноша зависит только от тебя.

— Учту, — вежливо ответил я, но на душе было приятно от Леликовых слов. Наверное, я вступал в возраст, когда очень сильно хотелось девичьего внимания.

Сумрак Клюшки словно подернулся рябью, сам его воздух дрожал. Во всем чувствовался приход зрелой осени.

После ужина произошло маленькое ЧП. Круглов из группы Гиббона, удобно усевшись на туалетном очке, собрался курнуть. Сигарета уже находилась во рту, и в этот момент его брательник,

ради шутки, брызнул на огонь зажигалки струю освежителя воздуха — раздался оглушительный хлопок. Воспитатель Сединина, между нами Трехдюймовочка, в этот момент как раз проходила мимо со своим любимым котом Родионом на руках. Взрывная волна выбила туалетную дверь, которая со свистом ударилась в противоположную стену, туалетное очко вдребезги, перепуганная физиономия Круглова с опалившейся челкой особенно всех позабавила. Всю ночь обитатели душевно смаковали Кругловскую туалетную посиделку, с каждым разом разрисовывая эту историю все сочнее и сочнее. До упада при этом, потешались над Трехдюймовочкой и ее упитанным котом, который от перепуга заныкался так, что бедная Сединина не могла его найти в течении двух часов, когда нашла, бедный Родя, шерсть дыбом, стены царапал, никак не хотел идти на ручки к своей хозяйке.

Утром на следующий день Трехдюймовочка всем подряд жаловалась на свою гипертонию, и таким тоном, словно эта болезнь была свойственна исключительно только ей одной, принадлежала ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права. С годами магическое слово «гипертония» и «мигрень» даже обитатели выговаривали с придыханием.

Больше всего Клюшка потешалась, когда вечером дежурила баба Такса. В наших глазах она выглядела смешно, даже уродливо: маленькая, бесформенная, как не долепленный колобок, у нее была маленькая округленная голова, хищный крючковатый нос, а над верхней губой красовалась большая бородавка, из которой торчали несколько длинных, толстых, черных волоса. Особо мы веселились, когда к бабе Таксе на дежурство под вечер приходил ее вечно пьяненький дед Матвей. Невзрачного, худосочного старичка с веселыми жизнерадостными глазами обожала вся Клюшка от мала до велика. Он смотрел на мир глазами человека, посланного за водкой. Когда ему напоминали, что он пришел в детское учреждение нетрезвым, дед Матвей серьезно рассматривал своего собеседника, и клятвенно заверял:

— Вчера был бой с пьянством, — после чего делал вдумчивую философскую паузу, — к сожалению, пьянство победило, — печально изрекал он; или: «Да разве я пью? Это так... усугубляю...» — и все вокруг хохотали от души.

Как только на горизонте появлялась грозная фигура бабы Таксы, дед Матвей с зачарованным огнем в глазах, бросался к жене с пылкими признаниями в любви, осыпал изумленную бабку водопадом комплиментов. Старушка краснела, смущаясь от пристального внимания посторонних к своей персоне.

— Шо ты пристал ко мне, как банный лист, — возмущалась она. — Чтоб ты куда-нибудь щез, щоб мои очи тебя не видели.

— Тасенька, подберут, не дадут пропасть, — озорничал старик, повеселевший от выпитой водки.

— Кому ты старый пенек нужен? — старый беззубый рот бабы Таксы нервно скривился, словно она обсасывала лимонную корку.

— Подберут Тася, подберут!

В коридоре раздался громкий общий смех, присутствующих при разборке обитателей Клюшки. Наконец, бабе Таксе удалось вытолкать пьяненького мужа на улицу, после чего она победоносно закрыла на крючок входную дверь, и с криком разогнала, собравшуюся публику.

Клюшка медленно погружалась в отбой. Валерка накинул на себя старые тянучки и футболку, прихватил мыло с зубной пастой, направился наводить вечерний марафет: чистить зубы и немного попугать лицо водой на сон грядущий. Я поплелся за Комаром. Больше всего меня прикалывала надпись над умывальником: «Умойся!». В углу на плиточном полу сидел и плакал маленький Тоси-Боси из четвертой группы. Их воспитатель был невзрачный на вид, невысокого роста, с двумя залысинами, которые проникали в глубь его жиденькой шевелюры, весь какой-то сладкий и жеманный, за что получил на Клюшке кличку Дуремар.

— Пацан, че надрываешь глотку, — сурово спросил Комар.

Тоси долго не мог выговорить ни слова.

— Ну, — крикнул Комар, и вывел Тоси-Боси из ступора.

— Меня достает Дуремар, — выдавил он себя, шмыгая носом. — Он меня каждую смену лапает, — лицо Тоси исказила легкая судорога.

— Ну, козел, — вскипел Комар, костяшками рук он ударил по плитке. — Где этот педрило?

— В пятой спальне, — заикаясь, ответил Тоси-Боси.

— Я ему счас покажу! — завелся Комар с пол оборота.

— Ничего вы ему не докажете, он же воспитатель.

Мы смотрели на Тоси-Боси и понимали, что, в общем-то, он прав. Что мы можем? Ну, сделаем Дуремару темную, ну и что?! Это не остановит его, он продолжит творить свое гадкое дело по ночам с другими, а может, и дальше будет приставать к бедному Тоси, пока морально не сломает его, и тот ему, заливаясь слезами, не уступит.

— Пойдем к Марго, все ей расскажем, — предложил я. — Марго — власть, она старший воспитатель! — доказывал я.

Валерка с сомнением посмотрел на меня, но я сумел его переубедить. Всей толпой мы пошли к Марго, она еще не ушла с работы, и обо всем ей рассказали.

Воспитатель Варфоломеев, маленький человечек с неприятными черными глазами и большим ртом, сильно растерялся, когда в полутемной спальне после отбоя увидел возникшую Железную Марго и нас за ее плечами.

— Паша Антонов, — металлическим тоном обратилась Марго к съежившемуся возле нас Тоси-Боси. — Тебя обижает воспитатель?!

Тоси-Боси, нахохлившись, угрюмо молчал.

— Ну, что вы такое говорите, — голос Дуремара звучал томно и напоминал шипение спускаемого воздушного шарика. — Павлик у нас славный мальчик, никто его не обижает, напротив, все любят.

— Я не вас спрашивала, — резко осадила, вспыхнувшая от негодования Марго.— Помолчите, — строго предупредила она.

Я не без удовлетворения заметил, как побледнел Дуремар, как ему резко поплохело, стало не по себе. Он весь сразу скукожился, закашлялся и стал невыносимо противным.

— Да, — с трудом, пересиливая себя, прошептал Тоси-Боси. По его лицо побежали слезы. — Он меня щупает каждую смену. Садится на кровать и лезет руками к трусам, если я сопротивляюсь, наказывает, — Тоси-Боси еще больше расплакался, Марго пришлось заботливо его прислонить к себе. — Я его боюсь, — успокоившись, заикаясь, произнес Тоси-Боси.

— Больше тебе нечего бояться, Пашенька, — решительно заявила Марго, смерив Дуремара гневным взглядом, казалось, она готова была вцепиться в него и разорвать на мелкие части.

Дуремар стоял ни живой, ни мертвый. Он что-то тихо лепетал в свое оправдание, чем еще больше вызвал раздражение старшего воспитателя.

— Я даю вам ночь, чтобы вы навсегда испарились из Клюшки?! — брезгливо произнесла Марго. — Если завтра я узнаю, что вы еще в поселке, вас ждет неприятная встреча с прокуратурой.

— Спасибо, — выдавил из себя обалдевший от счастья Дуремар, его моментально смыло из спальни.

Марго устало опустилась на стул, Тоси-Боси, обняв ее за шею, не отпускал от себя. Он уже не плакал.

— Маргарита Николаевна, — обратился Комар. — Разрешите Тоси-Боси забрать под нашу защиту. Мы его не обидим. Будет нам, как младший братишка, слово пацана даем, — произнес клятву Комар за себя и за меня.

Марго смерила нас долгим взглядом.

— Паша пойдешь к парням в комнату и в группу Леолида Михайловича.

Глазенки Тоси-Боси засверкали от радости. Он счастливо мотнул головой в знак согласия.

— Забирайте к себе сына полка, — улыбаясь, произнесла Марго.

Так у нас появился младший братишка Тоси-Боси, почему его так смешно прозвали — мы не уточняли, тем более что кличка Пашке нравилась, в ней было что-то доброе и ласковое.

Ночной покой снизошел на Клюшку. Издерганная, уставшая за день, она безмятежно мирно погрузилась в крепкий здоровый детский сон. Из открытых дверей спален в коридор доносился детское сопение, сонная болтовня, истерический смех или крик...

Сны не всегда бывают спокойными и яркими...

Подъем на Клюшке всегда начинался с голосистого и противного, как сирена, звонка в 7:30. С минуту Клюшка еще машинально спала, но вот кирпичное здание медленно и со скрипом зашевелилось. Послышались одиночные хлопанье дверей, шлепанье тапочек на босую ногу по скрипящему деревянному полу, крик воспитателей, поднимающих детей, шум смывных бачков в туалетах, бурчание труб под напором воды в умывальниках. Клюшка героически просыпалась к жизни. Шум с каждой минутой усиливался, разрастался, пока не стало окончательно ясно: Клюшка проснулась.

Второй звонок призывал всех обитателей на зарядку. Как приговоренные к пожизненной каторге, они полусонные молча плелись по лабиринтам коридоров вниз на первый этаж в главную рекреацию, где их уже поджидал Свисток, физрук в спортивной форме.

Третий звонок зазывал в столовку на завтрак, потом звонок на построение в школу, на обед, на самоподготовку, на ужин, на отбой...

И так каждый день, со временем наваливалась безнадежная тоска, от которой ночью хотелось плакать и выть.

Ночью опять обворовали клюшкинский продовольственный склад. Завстоловой тетя Даша Куприна вышла из кабинета директора зареванная. По дороге ей встретилась Железная Марго.

— Я ему не техничка, — эмоционально возмущалась тетя Даша. — Этот бардак мне порядком надоел, ухожу! — отчаянно воскликнула она.

— Не вздумайте это делать! — решительно возразила Марго.

— Поздно, Николаевна! Зря вы, отказались от директорства, когда умер Иван Семенович, видите, кого мы получили, — с упреком выпалила тетя Даша. — Этот маленький Колобок от большой Педагогики доведет Клюшку до ручки, попомните меня. Все, чем он здесь занимается, называется СИБУРДЕ.

— Чем? — Железная Марго нахмурилась.

— Симуляцией Бурной Деятельности, — с горькой улыбкой прокомментировал тетя Даша.

Железная Марго молчала, ей видно было, нечего сказать.

На следующий день после самоподготовки я пошел на свинарник отрабатывать трудовую повинность — наказание, наложенное Колобком. К своему удивлению обнаружил там Никиту Смирнова, носящегося по всему пространству свинарника с ведрами.

— Ты что здесь делаешь? — спросил я озадаченно.

— Работаю, — деловито ответил он. — Это мой объект.

— Объект, — тормознуто переспросил я, ничего не понимая.

— У каждого на Клюшки есть постоянная работа, за которую он конкретно отвечает, — просветил Никитон. В принципе я это и без него знал, правда, мы с Комаром еще не получили своих объектов. — Я выбрал свинарник.

— Почему?

— Из-за Стюардессы, — с нежностью и теплотой в голосе произнес Никитон, из глубины свинарника выползла старая облезлая колли и неторопливо поплелась к Никитону, тот, завидев ее, засиял как майская роза.

— Хорошо, когда собака друг человека, — сказал я.

— Угу, — согласился Никитон, — плохо, когда наоборот, — он достал из кармана брюк расческу, принялся расчесывать Стюардессу, говоря ей при этом нежные, ласковые слова.

— Что мне делать? — поинтересовался я.

— То же что и я: разносить свиньям корм, потом почистить в каждом хлеву, особое внимание уделить Фросе.

— Это кто такая?

— Наша кормилица, — с гордостью просвещал Никитон, улыбаясь. — Свиноматка. Каждый раз приносит не меньше двенадцати поросят.

— Вот, это мать-героиня! — восторженно присвистнул я.

Часа через два мы управились со всеми делами. Никита остался довольный моей работой. Я увидел в углу сваленные в кучу велосипеды и несколько мопедов.

— Это что за свалка? — спросил я.

— Кузи нет, чтобы починить, без нее никто не сделает.

— Кто такая Кузя?

— Скоро сам увидишь, — Никитон приятно усмехнулся. — Она у нас единственная и неповторимая, даже Щука с ней не связывается.

— Грозная такая, что ли?

Никитон на секунду задумался.

— Она, конечно, без башни, но с сердцем в душе.

Меня удивила такая странная характеристика, тем более данная пацаном, близким другом Щуки.

— Комар мог бы починить велики, он любит в технике ковыряться.

— Без Кузи не дам, но ей скажу.

— Однако, — выдавил я из себя.

— Что, однако, — ухмыльнулся Никитон. — Удивлен, что Клюшка не такая страшная, как кажется на первый взгляд. Будь Чеком и Клюшка тебя примет.

— Быть кем? — не понял я.

— Человеком, — глухо ответил Никита.

Возвращались мы в корпус молча, было уже темно. На следующий день я попросил Железную Марго выделить мне в объект свинарник. Она была крайне удивлена моим выбором, но не отговаривала, утвердила его.

Осенью, когда с остальных деревьев, росших перед фасадом и сбоку от Клюшки, уже облетала вся листва, на обоих дубах еще держались кроваво-красные листья, крепко державшиеся за ветки. Это были мощные деревья, глубоко пустившие корни в плодородную, всегда влажную почву; на одном из них был большой сук, опускавшийся почти до земли. Обитатели могли влезать на него и перебираться по другому суку на соседнее дерево. В пасмурные дни они напоминали засохшую кровь, но когда на небе проглядывало солнце, деревья так и пылали на фоне далеких холмов. Когда дул ветер, листья крепко держались за ветки, шепча и переговариваясь. Казалось, сами деревья ведут между собой разговор.

Шелест сухих, опадающих листьев, которые ветер кружил, гнал и сбивал в кучу, казался мучительным предсмертным вздохом, наполнял Клюшку глубокой и безысходной тоской. В октябре намокшие листья тяжело падали на землю, дождь немилосердно прибивал их к ней. Они, желтые, красные, золотистые медленно исчезали в своем прощальном танце. Им уже было не дано вспыхнуть последним золотым блеском в небе.

В октябре директор решил спилить старые дубы. Он нанял рабочих из ЖКХ, те приехали с бензопилами. День был холодный, но солнечный, и деревья напоминали большие костры на фоне далеких серых полей и холмов. На их защиту высыпала, как горох, вся Клюшка.

— Я не дам вам спилить деревья! — порывисто воскликнула Железная Марго. — Это недопустимо, — кричала она. — Вы их уберете, через мой труп, — как скала, стояла старший воспитатель.

— У меня есть предписание пожарников, — нервно доказывал Папа. В нем была какая-то слепая, даже глупая решимость. — Деревья закрывают окна, воспитанники по ним постоянно лазят, подвергают свою жизнь опасности.

— Нет! — крикнула Марго. — Этим дубам больше сто лет. Не вы их сажали, не вам их спиливать. Я вам это не позволю сделать, — у Марго был странно неподвижный взгляд. — Я отдала Клюшке двадцать лет, вы пришлый человек, хоть и директор, не понимаете, что для нас эти деревья.

Папа понял, Марго не переступишь.

— Хорошо, — недовольно произнес он. — Ваша пока взяла, — и он отступил, дал команду рабочим уйти.

Мы как дураки радостно заголосили. Впервые мы чувствовали себя сопричастными к великому делу, сохранения гордости Клюшки. Мы с Марго отстояли дубы, радости было полные трусы.

Был ясный, словно промытый долгими дождями, октябрьский субботний день. Небо было голубым, как талый лед. Большой Лелик предложил организовать маленький пикник: посидеть, подышать свежим воздухом, развести костер, сварить чаю, испечь картошку. Желающих сходить на природу набралось человек десять, самое странное, что с нами пошел Никита Смирнов со Стю-

ардессой. Большой Лелик отпросил всех нас у Марго до ужина. Решено было идти к озеру Танцующих Хариусов. Мы с Комаром там не были, но по рассказам Зажигалки, место офигенно красивое. Через час мы уже были у цели. Осталось пройти бурлящий Логовиш, небольшую речку, через которую было перекинуто длинное, толстое бревно. Первым прошел Серый, за ним героически пошел Большой Лелик. Он несколько раз останавливался и балансировал руками для равновесия. Все с напряжением наблюдали за воспитателем. Он не подвел, благополучно добрался до другого берега и весело стал нам махать рукой. Комар пошел после Лелика, за ним другие. Не прошедших через реку осталось четверо: я, Зажигалка и Никитон со Стюардессой. Первым пошел Зажигалка, когда он уже прошел половину пути двинулся Смирнов. Стюардессу он взял на руки, прижав к груди.

— Я боюсь, — неожиданно признался Никитон. — Я не умею плавать.

Шаги его были мелкими и неуверенными. Каждое его движение подчеркивало, живущий в нем страх. Никитону осталось сделать каких-то десять-двенадцать шагов, как он неожиданно сорвался и вместе со Стюардессой упал в реку, быстрое течение сразу их подхватило и понесло.

Все на берегу нервно загалдели, как сороки. Первым бросился спасать Смирнова Зажигалка. Я, как был в болоньевой куртке, прыгнул с бревна в воду и провалился в невероятный, немыслимый холод. На бесконечно долгое мгновение у меня перехватило дыхание и, как мне показалось, остановилось сердце. Мои легкие превратились в два стиснутых кулака. Сознание на некоторое время выскользнуло из тела, душа убежала в пятки. В тело впились тысячи иголок, кровь бешено пульсировала. Холод был убийственный. Вода обжигала, как огонь, кажется, даже мозги замерзли напрочь.

Зажигалку течение прибило к меляку, он встал на ноги и, что-то кричал вдогонку Никитону, чья голова периодически скрывалась под водой, но потом он выныривал, бешено колотя вокруг себя руками. Стюардессу также закинуло на меляк, она бегала, как окаянная по пятачку и надрывно гавкала, но в воду боялась прыгать. Комар побежал по берегу, вычислил глазом, в каком месте можно перехватить Никитона, и прыгнул в воду. Течение его также быстро понесло. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не смекалка Комара, ему действительно удалось перехватить Никитона и схватиться за корягу, которая торчала, как дерево из бурного потока реки. Через мгновение и я к ним доплыл. Дальше уже было дело техники, благо на тренировках в бассейне меня до автоматизма научили спасению утопающих. Артур, тренер, считал, что нам это надо обязательно знать, он оказался прав. Мы вдвоем с Комаром вытащили на берег Никитона. Я, часто-часто дыша, выпрямился, сердце мое было готово выпрыгнуть из грудной клетке. От холода зуб на зуб не попадал. Рядом стоял на полусогнутых ногах Валерка, с прилипшими к лицу волосами. Ники-

тон, лежа на траве, вертел головой, не веря, что не утонул. Зажигалка вместе со Стюардессой выбрались на берег чуть ниже нас.

— Ты цел, все нормально? — нервно спросил меня Валерка. — Ты мог погибнуть, — губы Комара от холода посинели. — Ты понимаешь, что бы со мной тогда было? Я бы умер без тебя, — без стеснения признался он, продолжая дрожать всем телом.

— Я цел, — клацая зубами, успокаивал я друга, — только колет под боком. — Я поднял глаза и посмотрел на Валерку. Вид у него был неважнецкий. — Ты как?

Комар подошел и, не стесняясь никого, при всех, обнял меня. Он постарался вложить в свое объятие все, о чем никогда мне не говорил, и, возможно, я его понял, потому что мне было хорошо как никогда оттого, что у меня такой заботливый и преданный друг.

— Аристарх, я всегда буду рядом с тобой, — шептал взволнованно Комар в ухо, вцепившись пальцами в руку с такой силой, что я поморщился от боли. — Со мной ничего не может произойти, — и столько в Валеркином голосе было уверенности, что я ему поверил.

Подбежали пацаны, окружили нас, хлопали по плечам, говорили слова. Большой Лелик сгреб нас в кучу и, прижав к себе, как заезженная пластинка бесконечно повторял: «Живы, живы, живы...». Зажигалка развел костер, мы стали греться, обсыхать. Только, когда по нашим внутренностям растекся горячий чай, заботливо приготовленный Леликом, тело стало успокаиваться от судорог.

— Ты классно плаваешь, — похвалил я Зажигалку. — Не страшно было?

— Два раза умереть нельзя, — с иронией ответил он.

— Как это? — спросило несколько голосов подряд.

— Просто, — смущенно покраснев от всеобщего внимания, произнес Зажигалка. — Когда я родился, врачи моей матери сказали, что я родился мертвым. Наверное, я был совсем чахлым, вот они и посчитали, что откину копыта, ну и чтобы не расстраивать маманю, сказали ей, что я умер.

— И что потом? — с живостью поинтересовался Комар.

— Ничего особенного. Мать приехала домой, собрала всю родню, устроила мне поминки. Через пару дней ей позвонили из больницы и, накричав, сказали, чтобы она меня забрала, мол, я выжил.

— Это, что, правда? — не поверил Комар.

— Конечно, — спокойным голосом ответил Зажигалка. — Зачем мне обманывать.

— Ну и история у тебя, — озадаченно произнес я.

— Плохая у меня история. У мамки моей после того случая крыша поехала, сначала чуть-чуть, а потом все больше и больше. Батя ушел от нас, сказал, что психи ему не нужны, это мать совсем добило, крыша у нее окончательно съехала. Так я попал на Клюшку, — горестно заключил Зажигалка.

Все потрясенно молчали.

— В прошлом году ко мне приезжал папаня, — с гордостью произнес Зажигалка и его глаза радостно заблестели. — Пообещал скоро забрать домой, вот я его и жду! — рот Зажигалки раскрылся от ушей и до ушей, столько в нем было счастья.

— Ты, его простил после того, когда он вас бросил? — спросил Комар.

— Да! Он понял, что без меня не может жить, — как ни в чем не бывало ответил Зажигалка.

— Ну, ты даешь?! — озадаченно воскликнул Валерка. — Я бы ни за что не простил!

— Комар, мне просто хочется иметь отца, — и все мы, сидящие вокруг Зажигалки, позавидовали ему черной завистью. — Не хочу всю жизнь быть госовским.

Вернулись мы с опозданием, Марго для видимости строго нас отчитала. Перед самым отбоем к нам в спальню зашел Никитон.

— Пацаны, — обратился он. — Я Логовиш никогда не забуду!

— Ты это еще Зажигалке скажи, — посетовал Комар.

— Сказал.

Никитон ушел. Мы с Комаром поняли, что в его лице обрели если не друга, то верного союзника.

В ночной тишине Клюшки было нечто обескураживающее трогательное. Казалось, спят не только дети, но и само здание, уставшее за сутки от энергии своих обитателей, реками выплескивавшееся, заполнявшее собой не только детский дом, но и все пространство вокруг него.

Мы любили с Валеркой вместо утренней зарядки спрятаться в клюшкинском лесу. Тонкие сучья издавали писк под нашими ногами. Слева от тропинки мы увидела пацана, обнявшего дерево. Вокруг было ни души.

— Чудило какой-то, — заключил Комар.

Мы молча подошли поближе к незнакомому пацану.

— Ты, чо делаешь? — развязно спросил Валерка.

— Не кричи, — по голосу мы врубились — перед нами девчонка. — Мешаешь слушать, как дышит дерево, — блаженно ответил она.

— Чокнутая? — присев на корточки, произнес Комар голосом, каким говорят, навещая в больнице смертельно больного человека.

Сам такой, — возмутилась девчонка, открывая глаза. — Я тебя трогала, звала сюда, че приперся, катись пока зубы целы, — Кузя окрысилась не на шутку.

Какая грозная? — опешивши, ответил Комар.

Интуитивно я понял, кто перед нами.

— Ты, Кузя?! — спросил я миролюбиво. Именно такой мне ее описал Никитон.

— Ну и что из этого? — недоброжелательно ответила Кузя.

— Это мой друг Валерка, а меня зовут Аристарх.

— Новенькие, которые заставили Колобка закрыть изолятор и выгнали с помощью Железной Марго Дуремара. Еще вы вдвоем спасли Никитона, — более дружелюбно произнесла она.

— Там был еще Зажигалка, — уточнил я.

— Знаю, — уверенно произнесла Кузя. — Мне Никитон сказал, что твой друг разбирается в технике, — она снисходительно посмотрела на Комара. — Приходи после самоподготовки в гараж, поможешь.

— А если не приду? — встал в позу Комар, Кузя смерила его осуждающим взглядом.

— Потери не будет, — сказала она, чем окончательно озадачила Комара.

Вечером Валерка восторженно произнес:

— Кузя такая девчонка, ну просто класс...

— Правда, — язвительно заметил я. — Втюрился? Ты конченый человек.

— Я это знаю! — с лица Комара не сползала счастливая, довольная улыбка.

— Аристарх, — весело воскликнул счастливый Комар. — Тебе также надо влюбиться и ты почувствуешь, какой это кайф!

— Ну, да, — скучно произнес я. — Где-то я слышал, что любовь — это, как большая заковыристая морковь, — я притворно засмеялся.

— Ну, тебя, — возмутился Комар. — Любовь — это кайф!

— Еще один наркоша, — я насмешливо добродушно посмотрел на Комара. — Не многовато ли для одной Клюшки.

— По больше таких наркош и на Клюшке можно было бы даже жить.

— М-да, — обескуражено ответил.

Таким счастливым Комара я еще не видел.

Было странное чувство, будто над Клюшкой взошло солнце.

Железной Марго пришла в голову умопомрачительная идея устроить на Новый год грандиозный бал — вечер вальса, даже Колобок дал ей зеленый свет. Эту чудесную новость она сообщила всем нам на еженедельной субботней линейке.

— Никаких отлыниваний, — Марго взглянула на приунывших обитателей своим особым железобетонным взглядом. — Щука ехидно хмыкнул, но, увидев направленный на него неодобрительный взор Марго, самодовольную ухмылку, словно слизали. — Девочки сами себе в мастерской шьют платья, ткань мы закупим. Мальчикам будут куплены парадно-выходные костюмы, — продолжала старший воспитатель. — Пары каждый выбирает по своему желанию. Все должно пройти на высоком уровне, будет телевидение, — Марго окинула обитателей выразительным взглядом. — Предупреждаю, участвуют все воспитанники детского дома с седьмого класса и выше. Я понятно выразилась, — произнес-

ла Марго строго, в ответ звучало гробовое молчание. — Репетиции начинаем сразу после осенних каникул. Я буду крайне недовольна, если кто-нибудь из вас попытается испортить этот праздник, мало тому вундеркинду не покажется. Вы меня знаете, — Марго умела быть убедительной.

У меня внутри все екнуло и оборвалось. На мгновение я представил себя всего такого уматного в новом костюме, белой рубашке, даже с бабочкой под горлом, расфуфыренную, к примеру, Сазонову, и ехидные улыбки вокруг, как только я сделаю первый хромой шаг. Такого позора мое самолюбие не смогло бы перенести. Я дождался звонка с линейки, и поперся в кабинет Железной Марго.

— Маргарита Николаевна, — отважно начал я. — Я не буду участвовать в вечере.

— Почему, — сухо и недовольно поинтересовалась Марго. — Ты же занимался танцами, насколько я знаю?! — она подозрительно уставилась на меня.

Большой Лелик сказал бы, что так даже не смотрят на врагов советской власти. Я смутился и сбивчиво принялся объяснять.

— Я не могу танцевать, — жутко покраснев, выдавил я из себя, опустив голову. — Не хочу быть посмешищем на всю Клюшку.

— Маресьев, когда хотел летать, танцевал перед медицинской комиссией на протезах, — едко произнесла Марго. — Так что Сафронов это не причина, чтобы я тебя освободила от вечера, — категорически заявила она, не глядя на меня. — Не надо разводить комплексы, ты меня понял? — не допускающим возражения тоном добавила Марго.

Я понял, что-либо доказывать дальше бесполезно. Комар с сарказмом поинтересовался:

— Отпустила?!

— Разбежалась, — огрызнулся недовольно я.

— Ну, что ж, — сыронизировал Комар. — Значит, будем танцевать!

— Утешил, — распсиховался не на шутку я.

— Не бери близко к сердцу, — продолжал в том же тоне Комар. — Если вдруг не найдешь себе партнершу, всегда готов выручить друга, — и он чуть не подавился от смеха.

— Не дождешься, — закричал я, прекрасно понимая, что Комар просто прикалывается надо мной. — Мне хватает по уши нашего танца в Пентагоне.

— Разве мы плохо тогда станцевали?!

— Замечательно, — фыркнул я, — только повторяться больше не катит никак.

— Тогда у тебя только один выход — танцевать с Ивановой.

Я пытался изобразить улыбку, но было больше похоже на зубную боль. Легко сказать — танцуй с Ивановой. Я очень даже не против, но как ей об этом сказать? Это не с Марго побазарить. Ленка Иванова — это совсем другое...

— Аристарх, — чуть помедлив, произнес Комар. — Поговори с Кузей, чтобы она согласилась со мной танцевать.

Я чуть не поперхнулся от такой просьбы.

— Я серьезно! — не отставал Валерка.

— Комар у тебя мозги совсем съехали набекрень, — я красноречиво показал Комару известный жест. — Во-первых, Кузя ни за что не напялит на себя платье, кроме своих джинсов она ничего не признает. Во-вторых, она ни за что согласится танцевать.

— Но Марго сказала, что все должны..., — не уступал Комар.

— Да плюнет Кузя на Марго с высокой башни и смоется куда-нибудь на время, Кузю, что ли не знаешь.

Комар понуро топтался на месте.

— Может быть, ты все-таки попробуешь? — Валерка с надеждой посмотрел на меня.

Я посмотрел на друга, как на безнадежного больного.

— Поговори с ней, ты умеешь, она тебя послушает, — упрашивал Комар. — Ты друг мне или сосиска?! — распсиховался Валерка.

— Валерка — ты дурак!

— Спасибо, знаю, это мое нормальное состояние.

— Ну, тебя с твоими приколами, — распсиховался я. — Сам уговаривай. Кузя твоя подруга, не моя.

Комар некоторое время молчал, потом выдал ответ, потрясший меня до самых пяток.

— Я стесняюсь! — он умоляюще посмотрел на меня.

— Попробую! — я мрачно посмотрел на влюбленного Ромео, сокрушенно вздохнув.

На следующий день после обеда я зашел в детдомовский гараж, где Кузя, вся чумазая, вместе с дядей Колей, перебирала мотор старого КАВЗика. Мне пришлось полтора часа помогать им. Быть «возьми-подай», потому что по-другому вытянуть Кузю из гаража было невозможно. Только после того, как дядя Коля сказал святое слово «по домам», я облегченно вздохнул. Вся моя одежда пропиталась солярой и маслом. Когда я сказал Кузе, зачем пришел, она смотрела на меня, как на пришибленного.

— Аристарх, совсем с головой не дружишь?

— Я с ней очень дружу, вы сами между собой разберитесь, а меня нечего втягивать в ваши разборки, — психанул я.

— Передай Комару, что я не собираюсь с ним танцевать какие-то вальсы, — ощетинившись, ответила Калугина. — Надо ему, пусть с тобой танцует, — язвительно бросила она.

Моя миссия провалилась. Я обо всем честно доложил Валерке, меня удивила его героическая стойкость. Он словно был готов к такому ответу.

— Время еще есть, — сказал он тихо. — Она будет со мной танцевать, — Комар говорил так, словно речь шла о взятии неприступной крепости.

— Да, — я старался поддержать друга. — Кузя такая непредсказуемая, — у Валерки был при этом такой огорченный вид, будто его лишили последней радости в жизни.

Началась напряженная подготовка к празднику. Каждая пара должна была разучить три танца: вальс, мазурку и полонез. Девчонки на трудах сами себе шили бальные платья. Парни во главе с Железной Марго несколько раз ездили в город, подбирали себе костюмы, рубашки, ботинки. Хореографом была Айседора, моей радости не было границ. Марго легко ее уговорила и та взяла отпуск, и переехала на время жить из города к нам на Клюшку вместе с Николаем Ивановичем. Репетиции проводились раздельно: пацаны еще не выбрали себе девчонок и поэтому репетировали друг с другом, вот тут по полной веселился Валерка. Он постоянно подтрунивал над напарником, себе он выбрал безропотного Чапу: «Нежнее... Крепче... Осторожней, не с бревном танцуешь...ну и чего ты стоишь передо мной такой красивый». Хохот в спортзале не утихал. Детдом погрузился в бесконечные репетиции, подготовка к празднику шла полным ходом. Железная Марго оказалась, как всегда права: дурдома тогда нет, когда все заняты одним общим делом, которое всех объединяет. На репетиции ходил даже Щука.

Ажиотаж был полнейший, такого на Клюшке никогда не было.

В конце ноябре нагрянули снег и морозы. Кроме уроков, самоподготовок, репетиций, появилось еще одно занятие, объединяющее всю Клюшку — хоккей. Мы могли в него играть, как сказала бы Пенелопа, денно и нощно. После ужина всех с трудом загоняли в спортзал после хоккейных баталий на репетиции по танцам. Я долго не мог собраться с духом и попросить Ленку стать моей партнершей на празднике.

Раньше девчонки меня ни каким боком не интересовали, пока не появилась Ленка. Первое время я не обращал на нее никакого внимания, потом, когда она прислала записку, что-то случилось. На уроках я только и делал, что пялил на нее глаза и отводил их лишь тогда, когда наши взгляды пересекались. Я страдал оттого, что хромой, что, как мне казалось, невзрачный. Я стал нервным, раздражительным. Каждый день я подолгу изучал свое лицо в зеркале и, оставался, разочарован, комплексуя по поводу своей внешности, даже спросил у Комара.

— Я красивый?!

— Как моя жизнь, — ответил, давясь от смеха, Валерка.

С тех пор, как в моем сердце появилась Ленка, прежняя жизнь кончилась безвозвратно. Мне казалось, что у меня слишком длинный нос, неровные скулы, глаза слишком маленькие, волосы слишком безрадостно белобрысы, много угрей на лице. Я изменил отношение к одежде, стал ходить по Клюшке в брюках, а не спортивных тянучках, футболки заменили рубашки. Все эти изменения быстро заметили на Клюшке, больше всех прикалывался надо

мной Комар, хотя сам был по уши влюблен в свою Кузю. Он беспрестанно при всех называл меня «Влюбленным Ромео», на себя бы посмотрел. Когда Ленка первый раз в клубе позвала меня станцевать с ней «медляк», я настолько оробел, что ноги сделались деревянными, сердце же так по-дурацки громко колотилось в груди, что мне казалось, что все это услышат. Вот так мы стали дружить.

Пенелопа всегда была против меня, и когда я приходил за Ленкой, всегда выслушивал в свой адрес много интересного. Не было исключением и этот раз. Я долго звонил в знакомую дверь, пока ее, наконец, не открыла Пенелопа.

— Мне бы Лену?

— Никаких Лен, топай себе на Клюшку, — озлобленно ответила Пенелопа.

— Не позовете Лену, я буду ночевать на пороге вашего дома, — твердо заявил я.

— Ну и ночуй, если дурак, — и Пенелопа, собравшаяся закрыть дверь, вынужденно остановилась: на пороге появилась Ленка.

— Я, сейчас оденусь и выйду, — спокойным, уверенным тоном произнесла она.

— Никуда ты не пойдешь, — повысила голос Пенелопа.

— Тетя, я через час приду целая и невредимая.

Ленка накинула на себя полушубок, надела сапоги и подошла к двери.

— Елена, не смей выходить, — загородила ей дорогу Пенелопа.

— Я все равно уйду, — с горячностью ответила Ленка.

— Хорошо, иди, — как-то неожиданно обмякла Пенелопа, освобождая дверной проем.

Минуты три она провожала нас безмолвным взглядом. Мы пошли гулять по вечернему поселку. Через минут сорок Ленка призналась, что замерзла.

— Домой? — спросил я. — Тетки не боишься?

— Нет, — ответила Ленка. — Она неплохая, только очень несчастная.

— Почему она такая в школе злая...

— Ты знаешь, кто такая Пенелопа?

Я пожал плечами.

— Это жена Одиссея, она долго ждала его, пока он вернется с походов. Моя тетка не дождалась своего Одиссея, поэтому у нее такой сложный характер.

Мы не заметили, как подошли к Ленкиному дому. Минуты две стояли у калитки, переминаясь с ноги на ногу.

— Отвернись, пожалуйста, я что-то спрошу тебя, — попросил я.

— Для чего отворачиваться, — не поняла Ленка. — Спроси так.

Я посмотрел на Ленку, и душа моя ушла в пятки. Слова вылетели из головы.

— Ну, — подбодрила она.

Я с минуту собирался с духом.

— Согласишься танцевать со мной на Новый год?

— Да, — коротко ответила Ленка.

— Ну, с меня сейчас танцор, — промямлил я.

— Зря ты так Аристарх, — перебила Ленка. — Ты очень хорошо танцуешь, я видела на репетиции и не надо стесняться того, что ты прихрамываешь, — она подошла и прижала свои губы к моему холодному лицу.

Я засиял, как ночная звезда в одиноком небе. От нахлынувшего счастья меня пробило на смех, я, что-то Ленке говорил — говорил, она слушала и улыбалась, зараженная моими эмоциями. Наконец, мы расстались. Я долго молчаливо провожал ее взглядом, чувствуя, как мое сердце зашлось от радости, взлетело до небес и снова вернулось на свое прежнее место.

Я вдруг понял, что влюбиться, это быть в постоянном волнении. До сегодняшнего вечера я таких аномалий за собой не наблюдал.

Я никак не мог уснуть, ворочался с боку на бок, находясь под впечатлением от встречи с Ленкой. В спальне было душно, я поднялся, открыл форточку, снова прилег. На соседней кровати беспокойно заворочался Тоси-Боси. Комара не было, он пропадал в спальни Кузи, и это надолго.

— Аристарх, можно я к тебе пойду, — заканючил Тоси-Боси. — Мне страшный сон приснился.

Залазь.

Тоси-Боси с радостью юркнул в мою кровать. Его горячее дыхание, что-то растопило во мне: я прижал к себе Тоси-Боси, заботливо укрыл одеялом.

— Аристарх, ты, правда, с Валеркой считаете меня своим братом? Я маленький, мне так хочется, чтобы у меня были старшие братья, — Тоси-Боси крепче прижался ко мне.

— Конечно, — шепотом, выдавил я из себя.

— Здорово, — счастливо прошептал Тоси-Боси.

Сна как не бывало, все перемешалось в моей голове. Радостные воспоминания о проведенном вечере с Ленкой затопили всего меня, теперь еще восторг Тоси-Боси. Господи, как хорошо-то...Я чувствовал, как из груди выскочил комок и покатился по полу спальни.

Наверное, когда человеку на душе хорошо, он способен лучше понимать других, чем когда ему плохо. Я поймал себя на мысли, что Тоси-Боси, в сущности, очень одинок, и мне от этой мысли стало не по себе, и я почувствовал, как в эту ночь десятилетний Тоси-Боси стал для меня родным, дорогим, близким. Я прижал его к себе и погладил по макушке, он расплылся от счастья.

— А, спинку почесать...

Стало вдруг так хорошо и спокойно, как бывает в кино, когда смотришь фильм.

— Тоси-Боси, хорошо, что ты мой брат!

Тоси от радости не закрывал рта, его голос звенел от волнения, и он так торопился, что проглатывал слова. Он по секрету сообщил, что собирается построить подводную лодку, и что в школе его не записали в драмкружок, потом еще что-то, но я уже не помнил. Я тоже не удержался и проговорился о поцелуе Ленки.

Я уже засыпал, а Тоси-Боси все продолжал говорить, и его дыхание согревало мне плечо.

Воспитатель Сомов, придя на утреннюю смену, успел уже прилично приложиться к стакану, скорее всего не одному, потому, что, выйдя из каптерки прикопался к Тоси-Боси, тот ему, что-то ответил и вдруг Сомов ни с того, ни с сего ударил Пашку по лицу. Тоси-Боси заскулил, как собачонка, которую больно пнули ногой. Свидетелем рукоприкладства стала Трехдюймовочка, поднявшая невообразимый крик на весь этаж. Из спальни вышел директор, он часто заходил в спальный корпус, контролируя утренний подъем обитателей. Узнав обо всем происшедшем, при всех не удержался и звезданул пьяному воспитателю по физиономии так, что тот отлетел метров на пять. Потом пьяного Сомова пацаны, по приказу Колобка, утащили в каптерку и закрыли на ключ.

— Очухается, отвезешь его до дому, — приказал «ходячей заботе» — завхозу директор.

Подошла Железная Марго, обитатели были в двух шагах позади нее.

— Что вы как черный ворон летаете надо мной, — взорвался Колобок.

— Надеюсь, вы, наконец, уволите Сомова, — спокойно спросила она.

Дерик, сморщив лоб от напряжения, достал пачку сигарет и принялся нервно их теребить в руках.

— Да, на этот раз он зашел слишком далеко, — согласился он. — Теперь его работа здесь окончена. — Он помолчал, затем после некоторого раздумья произнес: — Вас, наверное, удивляет, почему я был всегда так снисходителен к Сомову?

— Он же ваш родственник, — сухо ответила Железная Марго.

— Никакой он мне не родственник, — Колобов скривил лицо. — Это все клюшкинские сплетни. — Мы с Сомовым сидели за одной партой с пятого класса. Я всегда был для него Колобком, он для меня Сомом, вот так, — Колобов выдавил из себя подобие улыбки. — Когда закрыли совхоз, Андрей остался без работы. Не он ко мне подошел с просьбой, помоги. Пришла его жена, и я не смог ей отказать, потому что им не на что было жить. Ну, а после трагедии, когда Андрей за лето похоронил сына и жену, я дал себе слово, что ни за что его не уволю. Мне не хотелось долго нарушать это обещание, но теперь придется.

Впервые нам всем по-человечески стало искренне жалко Колобка, оказалось и у него есть сердце.

До праздника оставалось чуть больше недели, когда после уроков ко мне подплыла Кузя и смущенно выдавила из себя:

— Передай Комару, — она предательски покраснела. — Я согласна идти на праздник.

Нет, то, что Кузя с приветом, я всегда знал, но что с таким большим, не догадывался.

— И платье на себя напялишь? — провокационно спросил я.

— Без проблем.

— Клюшка упадет в осадок.

— Ее проблемы! — Кузя лучезарно засмеялась.

Я мгновенно передал слова Кузи Комару, тот зацвел и мгновенно побежал к Кузе. Я посмотрел на друга, еще один потенциальный пациент для психушки. Через десять минут они явились передо мной сияющие и сказали, что готовы репетировать до потери пульса.

— Что? — дико заорал я. — Кузя, ты сумасшедшая!

— Мне это все горят, — Кузя улыбнулась. — Готова уже в это поверить, — легко и непринужденно добавила она.

— Аристарх, не кипятись, ночи длинные, — успокаивал Комар. — Ты успеешь!

Начались упорные, дополнительные репетиции. Кузя танцевала неуверенно и неуклюже.

Перед отбоем Комар на полном серьезе спросил меня:

— Аристарх, ты целоваться умеешь?

— Теоретически или на практике?! — съязвил я.

— На фига, мне твоя теория, — буркнул Комар. — Мне надо научиться целоваться, — отчаянно доказывал он мне. — Я никогда с девчонкой не целовался.

— И что, — в напряжении спросил я, интуитивно чувствуя в словах Комара скрытый подвох.

— Тренироваться давай! — серьезно произнес Валерка и пристально посмотрел на меня.

— Что?! — крикнул я, как ужаленный. — Я смотрел на друга и не мог понять: он меня разыгрывает или все, что он говорит — это серьезно. — Комар, тебе адреналинчика не хватает, — моему возмущению не было предела. — Скучно стало жить на Клюшке? Мозги совсем поехали набекрень, — продолжал изливаться я.

— Нет, просто я влюбленный, — сокрушенно признался Валерка. — Первый раз и так сильно.

— Как все запущено, — сочувственно покачал я головой.

— У тебя разве не так с Ивановой?

Я тактично промолчал.

— Тихий давай договоримся: если у меня когда-нибудь родится сын, — Комар на секунду призадумался. — Я его назову...

— Только не Аристархом, — взмолился я.

— Уговорил, как ты хочешь?

— Артуром! Мне это имя нравится.

— Заметано, — уверенно произнес Комар. — Когда у тебя родится сын, назови его Егором.

— Хорошо, сделаю, по-твоему, — пообещал я клятвенно.

Мы были уверены, что именно так когда-нибудь поступим со своими будущими детьми. Еще я понял, что дружба — это когда человека нет, а ты его присутствие чувствуешь постоянно. Комара нет со мной в Бастилии, а я с ним советуюсь по всякому поводу и без. Мне безумно не хватает Комара, до боли не хватает.

Праздник неумолимо приближался. Проблема была с платьем. За неделю сшить было уже не реально, тем более, что Кузя уроки домоводства злостно пропускала и трудовичка заявила, что не стукнет ради Калугиной палец об палец. Я сразу понял, выход только в одном — сразу купить готовое. Марго опустила нас с Комаром на грешную землю: денег на покупку нового платья на Клюшке больше нет. Началась истерика. Каждая репетиция между Валеркой и Кузей превращалась в выяснение отношений. Я как мог, сглаживал их разногласия, как ни странно у меня это получалось. До вечера осталось три дня, платья не было.

— Все решено, — решительно произнес Валерка. — Я перебрал все варианты, — он сделал паузу. — Осталась только Санта-Барбара, — лицо Комара было пепельно-серым, он старался не смотреть на меня.

— Если ты туда пойдешь, — холодно заявил я, грудную клетку наполнила свинцовая тяжесть. — Ты мне больше тогда не друг!

— Аристарх не будь занудой, — взмолился Комар.

— Ты ополоумел, — я все еще никак не мог прийти в себя. — Ты обещал мне забыть дорогу в Санта-Барбару, — закричал я срывающимся голосом. — Думаешь, Кузя будет в восторге, если узнает правду?

— Она не узнает! — буркнул Комар.

— А если узнает? — продолжал давить я. — Что она подумает о тебе?! О Кузе подумай!

— Если ты такой умный, — вскипел Комар, — то придумай что-то, — Валерка был на грани нервного срыва. Он застонал, спрятав лицо в ладони. — Она согласилась, понимаешь, — Комар посмотрел на меня, и я понял насколько ему тяжело. — А я не могу достать ей платье, потому что я шляпа.

— Я достану тебе деньги, — кровь опять прилила к моим щекам. — Завтра до обеда у тебя будут деньги.

Комар вытаращил на меня глаза, остолбенел, наверное, подумал, что у меня снова бред и температура.

— Аристарх не чуди, — лицо Валерки кисло посмотрело на меня. — Где ты возьмешь такие деньги, сам, что ли вместо меня пойдешь в Санта-Барбару? — съехидничал Комар.

— Я тебе все сказал, — тихо, но уверенно повторил я. — Деньги у нас завтра будут!

— Хорошо, если завтра их не будет, — Валерка со значением взглянул на меня. — Не держи меня тогда, харе?! Кузя должна быть в самом лучшем платье.

Я молчаливо кивнул головой. Сразу после разговора с Валеркой я направился в воспитательскую. Мне нужен был Большой Лелик. Он был на месте, играл в поддавки с Тоси-Боси.

— Леолид Иванович, — обратился я, залившись проклятой краснотой. — Мне надо с вами переговорить один на один.

По интонации моего голоса, Лелик понял, что это серьезно.

Паша, — обратился он к Тоси-Боси, — доиграем через минут пятнадцать, — и Большой Лелик посмотрел на меня, словно спрашивал: столько времени хватит. Тоси-Боси без обид оставил нас одних в воспитательской. — Леолид Иванович, — кинулся я в бой. — Одолжите деньги. Кузе необходимо на вечер купить платье.

— Почему ты просишь деньги, а не Комаров?

Я не ответил на этот вопрос.

— Он же тебе никогда не вернет этих денег, — Большой Лелик продолжал с интересом наблюдать за мной.

— Никто и не заставляет его это делать.

— Однако, — изумился Большой Лелик, вскинув бровями.

— Я верну вам деньги, — стал я заверять воспитателя, в боязни, что он мне откажет. — Заберите мою пенсию, которую я получаю по инвалидности.

Лелик потрясенно уставился на меня.

— Не надо Аристарх мне твоей пенсии. Поедем завтра всей толпой покупать Калугиной платье.

— Леолид Иванович, вы... вы... самый классный.

— Правда, что ли? Мне этого здесь еще никто не говорил, — добродушно засмеялся Большой Лелик.

Проблема Кузи была решена. На следующий день платье было куплено, к нему Айседора прибавила свою чешскую бижутерию. Когда Кузя оделась во все это богатство, перед нами стояла Королева. Кузя подошла и поцеловала меня в щеку.

— Ты настоящий друг!

Я был на седьмом небе от радости. Снег, который синоптика обещали, пошел только поздно вечером. Он медленно и как-то робко кружил в воздухе, слабо поблескивая на лету, и таял, едва коснувшись земли.

Конец декабря пришел на Клюшку с ветром и снегом. По коридору гулял холод, батареи были завоздушены или так топила местная котельная, а снег все падал и падал, и скоро Клюшка и окрестности оделись толстым белым пуховиком.

Праздник начался ровно в семь вечера. В спортзале специально вырубили свет. В темноту зала под музыку стали заходить пары со свечами в руках. Ими зажигали факелы, закрепленные на стенах спортивного зала. Я с Ленкой Ивановой, как ведущие, зажгли главный факел. Сто пятьдесят свечей и пятнадцать факелов

по бокам оживили зал. Это была задумка Айседоры. Когда гости увидели пацанов в строгих темных костюмах с бабочкой на рубашке, девчонок в платьях, с прическами, с веерами в руках, выпали в осадок, даже Папа от удивления издал восторженный членораздельный звук. Все пары стояли по периметру спортзала, не было только Кузи с Валеркой. Айседора придумала для них в последний миг специальный выход. Музыка резко остановилась. Затрубил горн, потом послышалась частая барабанная дробь. Четыре пацана внесли задрапированный тканью ящик из под мусора. Иваныч, трудовик, из него придумал классные закрытые носилки. Все напряглись, никто же не знал, что в носилках. В центр вышел Комар. Николай Иванович, Айседоры муж, отдал ему свой белый костюм, заботливо подогнанный Айседорой под фигуру Валерки. Выглядел он в белом костюме супер класс. Валерка плавным движением руки откинул ткань с носилок, и все увидели сидящую на табуретке Кузю в нежно голубом платье. Какая она была в нем красивая. Как она держалась, какая на ней была прическа. Не все сразу поверили, что это Кузя. Они с Валеркой были первой парой, которая открыла Праздник Вальса. Большой Лелик потом сказал мне, что Кузя в своем платье была похожа на Наташу Ростову.

Последними выступила Айседора с Николаем Ивановичем. Такого проникновенного танца, такой легкости в движениях, воздушности в руках я ни у кого еще не видел. Танец, как полет души.

Праздник всем понравился. Кузя была избрана Королевой вальса, ей на голову закрепили золотистую корону из фольги.

— А, Кузя наша, правда, ничего, — восторженно произнес Комар. — Классно выглядит!

— Это комплимент или повод подраться, — Кузя лукаво улыбнулась. Она, краем уха, услышала восторг Комара.

— Комплимент, — Валерка сиял от счастья.

В общем, вечерок выдался ничего себе.

На следующий день Папа на линейке всем объявил, что Клюшка в полном составе, вместе с воспитателями, на зимних каникулах отдыхает в загородном лагере. Все были счастливы.

За день до отъезда испортилась погода. Небо было неприветливое, редкие звезды, как погасшие угли, мерцали слабым мертвым блеском, в спину дул унылый ветер.

И все же мы классно отдохнули, накатались на лыжах. Все возвращались в прекрасном настроении и, когда въехали на территорию Клюшки обомлели...

Дубы были спилены, вместо них остались два пня, по колено человеку среднего роста, срезанные точно под прямым углом. Тоси-Боси первым добежал до них, потрогал руками и расплакался.

— Им было больно, — жалобно скулил он.

Все были в полном трансе от вероломства Папы. Марго не скрывала слез.

— Ну, и козел, Колобок, — прошибло Щуку.

— Ты только сегодня об этом узнал, — Никитон осторожно дотронулся руками до пней. — Холодные, какие? — задумчиво произнес он.

— Это нельзя так оставить, — Марго уверенными, быстрыми шагами направилась к парадному крыльцу Клюшки.

— Счас она вставит Колобку пистона, — ехидно заметил Чапа.

— Ему от него ни тепло, ни холодно, — угрюмо парировал Никита. — Колобок свое обещание выполнил — спилил деревья. Чтобы ему не мешали, сплавил на неделю Клюшку в лагерь. Хитро придумал.

— Дерика надо наказать, — Щука с прищуром посмотрел на Никитона. — Его надо сделать оботравшем!

Все недоуменно посмотрели на Командора. Быть оботравшем на Клюшке было редкое наказание, но самое страшное. Решение об этом принимал только Командор на туалетном собрании и назначал шестерку, которая должна была все сделать. От оботравша отворачивались все обитатели, он становился изгоем до самого выпуска. С ним нельзя было заговорить, сидеть за одним столом в столовой, партой в классе, даже койка его переносилась в другое место, поближе к двери. Администрация Клюшки, узнав, что воспитанника сделали оботравшем, оперативно принимала меры, чтобы несчастного перевести в другой детский дом, но нехорошая слава и туда доходила, от этого нельзя было скрыться. Это было как позорное клеймо на всю жизнь.

Сделать директора оботравшем — на такое на Клюшке за время ее существование еще никто не решался.

— Если вы трусите, то это я сделаю сам, — уверенно произнес Щука.

— Мы это сделаем вдвоем, — все посмотрели на Никитона, тот был спокоен, только немного бледноват.

— Мы сделаем Колобка Вонючкой, — уже, как свершившийся факт, заверил всех Щука, а нам было страшно, потому что каждый из нас понимал, какие после этого Клюшку ждут репрессии. Колобок такое никогда не простит.

— Еще было бы классно у него украсть печать, — неуверенно предложил я. — Моя усыновительница печать всегда носила с собой, боялась ее потерять.

— Аристарх, — восторженно воскликнул Комар, — не зря у тебя светлая голова.

— Идея не плохая, — поддержал Никита. — Мы с Максом опустим его ниже плинтуса, да еще пропажа печати — это будет полный аллес. Это будет здорово, — восторженно воскликнул Никитон.

— Но кто это сделает? — Комар беспокойно оглядел всех нас. — Печать же в кабинете и в сейфе?!

— Сига еще не такие замки открывал, — Щука широко улыбнулся. — Колобок сдуется, как проколотая шина.

Сигу в поселке знала каждая собака, в милиции на него собрали пухлый том бумажек, но ничего реально с ним сделать не могли, потому что Вальке было всего одиннадцать лет. Сига был невзрачен, как серая мышь, маленький, щупленький, вечно сопливый из-за хронического гайморита. Его квадратная, коротко стриженая голова была в шрамах. Родители Вальки вели пьяный образ жизни, и чтобы маленький Сига никуда не исчез в период их загулов, привязывали его за веревку к отопительной батарее. Когда он однажды сбежал, стали сажать на цепь в собачью будку. Поселок возмутился, требовал привлечь таких родителей к ответственности, но как только раскрылся талант Сиги к воровству, таких требований к участковому больше не поступало. Мать Сиги пропала, поехала с мужиками в лес, и больше никто ее не видел. Через полгода нашли какие-то обглоданные зверьем человеческие кости в лесу, но милиция особо не выясняла, кому они принадлежат. Отец Сиги сел в тюрьме за убийство.

На Клюшку Сига попал уже вором в авторитете. За год своего обитания он с удвоенной, утроенной энергией промышлял на новом месте по комнатам, складам, каптеркам. Вальку безжалостно избивали за воровство, он клялся больше не воровать, лил крокодильи слезы реками, но остановиться не мог, с увлечением брался за старое.

Небо нахмурилось, за стенами Клюшки протяжно завывал ветер, точно жаловался на что-то.

Через два дня парадная дверь кабинета Колобка была измазана толстым слоем дерьма. Проблем, где его взять не было, в свинарнике этого добра хватило бы на все двери Клюшки в метровый слой. Вонь на втором этаже стояла не выносимая. Клюшка от души потешалась над директором-оботравшем. «Колобок обдристался», — с нескрываемой насмешкой передавали друг другу обитатели и мчались на второй этаж, чтобы собственными глазами убедиться, что директора действительно сделали оботравшем. Его уже больше никогда не называли Папой или Колобком, презрительно только Вонючка.

После полдника Вонючка выглядел разъяренным, казалось, он еще больше раздулся в размерах. Вонючка построил Клюшку на хоккейной коробке и держал три часа, до самого ужина, допытываясь, кто из обитателей сделал паскудство с дверью. Щука выразился фееричней: «Папа ходил, как недоенный или стоял, как чир на пятке». Дерик грозно посмотрел на Щуку, его багровую физиономию исказила легкая судорога.

— Это все ты, Командор хренов, — начал он тоном, который прямо-таки дышал грубостью в каждом слоге.— Я знаю, что здесь

не обошлось без тебя, — Папа грозно скрестил руки на груди и поджал губы, ожидая признаний от Командора. Его на повал сразила широкая, открытая улыбка Щуки.

— Что вы, Сергей Владимирович, — Щука честно и преданно смотрел в глаза Колобка. — Я на такую подлость не способен!

— Тогда назови, кто это сделал, — прошипел директор, казалось, он от напряга взорвется.

— Не знаю! — негодующе произнес Щука. — Убить такого гада мало! — добавил он гнева в своем голосе.

Обитатели, слушая Щуку, молчаливо давились смехом. В Командоре погиб артист.

— Это полный бедлам, — воскликнула сокрушенно Трехдюймовочка. У нее был чересчур огорченный вид.

Папа, окинув толпу обитателей не предвещающим ничего доброго взором, сообщил, что мы все его запомним на долго и, что он возьмется теперь за Клюшку ежовыми рукавицами. Мы не знали, что такое ежовые рукавицы, но понимали, что Папа начнет зверствовать. «Я из вас сделаю сынов полка», — грозно обещал Вонючка, проходя между нашими рядами.

На следующий день новое построение. Обнаружилась пропажа печати. Приехала милиция, допрашивали Щуку, Никиту, конкретно взяли в оборот Сигу. Бесполезно. Все клялись собственными матерями, их здоровьем, что ничего не знают. Вонючка обещал всех засадить в спецуху, но печать это не вернуло. Менты неприкаянно шарахались по детдому три дня и вынуждены были уехать, не солоно хлебавши. Клюшка же долго и с удовольствием вспоминала историю падения Великого Колобка от Педагогики.

Все педагоги делятся на две категории: мазохисты и садомазохисты. Мазохисты — это те, которые сами живут и другим дают, а садомазохисты — сами нормально не живут и другим не дают. Пенелопа относилась ко второй группе. После уроков она оставила всех еще на один дополнительный. Деваться было некуда — остались. Когда до конца урока оставалось минут десять, двери кабинета открылись, и в класс вошла Маркиза. Всем своим видом она демонстрировала важность.

— Я на минутку, — предупредила она Пенелопу, обвела всех взглядом, словно, проверяя, всем ли на месте. — Так, люди, — приказным тоном начала она, — смотрим на меня.

— Если мы люди, тогда это не класс, а людская, — не отрывая голову от журнала, с сарказмом заметила Пенелопа. — В девятнадцатом веке, так назывались прихожие у помещиков.

— Я учту ваши ценные замечания, Белла Ивановна, — едко процедила сквозь зубы Маркиза.

Пенелопа и бровью не повела. Все с тем же хмурым, скептическим выражением она вытащила из черной дамской сумки, лежащей на столе, сменные очки, сказав не громко в сумку:

— Казя, фу! — потом, как бы случайно взглянув на заучиху, извинилась, что перебила ее.

— На этой неделе приезжает большая комиссия, — значительно произнесла Маркиза, как будто объявила тайну государственной важности. — Проверять будут вас, — она рукой показала на нас. — Смотреть будут все, начиная от тетрадей заканчивая дневниками. Белла Ивановна, — теперь Маркиза повернулась к Пенелопе, — чтобы все оценки стояли в журнале и, чтобы ни одного неуспевающего, — тоном, исключающим любые возражения, потребовала Маркиза. — Сюрпризов мне не надо иначе на педсовете никого не пожалею, — грозно закончила она.

— То, что вы нам Екатерина Васильевна предлагаете, называется служебным подлогом и это уголовно наказуемое дело, — спокойным голосом заявила Пенелопа с места.

Маркиза замерла с выпученными глазами, краснота, идущая из шеи постепенно стала разливаться по всему лицу.

— Что вы себе позволяете, Белла Ивановна, — сдавленным голосом процедила Маркиза, возмущенная поведением Пенелопы. — Как вам не стыдно такое говорить при детях!

— Чего мне стыдиться? — Пенелопа пожала плечами. — Своей честности?! У меня ученик двойку не получает, он ее зарабатывает.

— Вы ставите два не ученику, а своей некомпетентности! — нервно выкрикнула Маркиза.

— По поводу компетентности ничего не могу сказать, индивидуальщиков не учу, — Пенелопа надменно снисходительно посмотрела на раскрасневшуюся Маркизу. — Учу нормальных лоботрясов, которые не хотят учиться, но я их всячески заставляю это делать. Так сказать, насилую учебным процессом.

Неожиданно угрюмую тишину класса прорезал писклявый собачий лай.

— Это еще, что такое? — в замешательстве воскликнула Маркиза, она метнула недоумевающий взгляд на Пенелопу.

— Казя домой хочет, — спокойно проговорила ни капли не смущенная Пенелопа, нежно держа в руках маленькое лысое создание: карликового пинчера, который вылез из ее дамской сумочки. — Казя устал, — как ни в чем не бывало, приговаривала она, — Казя кушать хочет. Сейчас мамка, пойдет домой и Казеньку накормит.

Плотная, мускулистая, по-мужски широкоплечая фигура Маркизы выпрямилась и напряглась, словно перед прыжком.

— Белла Ивановна, — к Маркизе вернулся дар речи. — Сколько раз вам можно указывать, что в школе собакам не место?

— Мое рабочее время, Екатерина Васильевна, закончилось. Это дополнительная консультация, которую вы назначили без согласования со мной, и я так понимаю, что ко всему прочему она еще и бесплатная! Так, что не надо мне указывать, куда девать Казю!

— Я тоже работаю без выходных, — вспыхнула, задетая за живое, Маркиза.

— Екатерина Васильевна, не кричите, Казя этого не любит, — и словно поняв слова хозяйки, маленький Казанова разлаялся на весь класс, чем вызвал всеобщий смех.

— Ну, знаете, с вами невозможно работать, — Маркиза резко повернулась и разозлено вышла из класса.

Радостный маленький Казанова издал победный лай. Пенелопа в наших глазах выросла до героя, заткнула за пояс саму Маркизу, заместителя директора по учебной работе.

В два ночи я проснулся, как будто меня, что разбудило. Я открыл спросонья глаза и едва не свалился с кровати: прямо на меня в темноте таращились глаза Никитона. У меня душа от испуга сбежала в пятку.

— Ты меня напугал! — мое сердце еще продолжало заполошенно колотиться.

— Аристарх, халява есть небольшая, — шепнул Никитон. — Со свинарника мешок комбикорма нужно стащить, мужик сразу стольник дает, мне страшновато одному идти. Пойдем вместе, деньги поделим.

Я легко согласился, мне нужны были деньги для подарка Ленке. Я быстро оделся, Никитон осторожно открыл дверь спальни и выглянул в коридор. Бесшумно ступая по скрипящему деревянному полу, мы дошли до лестницы, быстро сошли по ней на первый этаж. Входная дверь была открыта. Мы молча дошли до свинарника. Никитон полез в знакомое место за ключами.

— Кто-то был до нас, — озабоченно произнес он. — Ключи не на том месте.

— Главное, что вообще есть.

Никитон согласился. Он достал из кармана куртки фонарик и посветил.

— Куда этот комбикорм надо отвезти? — спросил я шепотом.

— Во двор Трехдюймовочке, завтра она с нами расплатится.

— Ну, значит, отвезем, — я взял ключи у Никитона, открыл двери свинарника, и мы зашли внутрь.

Свиньи, зачуяв вошедших, издали хрюкающий звук. Никита открыл дверь склада. Мы вдвоем взяли за концы мешок и потащили к выходу.

— Аристарх, поищи, тут где-то в углу были старые санки, — Никита отдал мне фонарик, сам же остался на улице возле мешка.

Я пошел искать санки и через минуту вышел.

— Никитон... — голос мой дрожал. — Ты только это..., ну не психуй, но там, на сене, кажется, лежит дохлая Стюардесса.

— Что, — вырвалось у Никиты, и он вбежал в свинарник.

Собака лежала на боку, оскалив зубы.

— Стюардессочка, — заплакал Никита и дрожащей рукой дотронулся до собаки и, сразу отдернул, почувствовав, что руки прикоснулись к чему-то липкому.

— Аристарх, нормально посвети на Стюардессу.

Я направил фонарный луч на собаку, ее шерсть была в крови.

— Ее убили! — с болью произнес Никита.

Его блуждающий взгляд остановился на бычке от сигареты. Механически он его поднял, посветил на него фонариком, прочитал на ободке фильтра «Бонд».

— Здесь был Макс, — сиплым голосом произнес он. — Это он Стюардессу убил.

— Не может быть, зачем ему это? — не поверил я.

— Не знаю, но это он убил мою собаку, и это он увозил на повозке комбикорм, его видать об этом также попросила Трехдюймовочка. Это все Щука. Только он один у нас курит «Бонд». Я ему Стюардессу ни за что не прощу, — и Никита решительно направился к выходу.

— А, комбикорм?

Никита остановился, повернулся.

— Мне он не нужен, — крикнул Никита и скрылся в темноте.

Я постоял некоторое время возле мешка с комбикормом.

— И мне он не нужен, облезет Трехдюймовочка, шиш ей, а не наш комбикорм.

Я затащил мешок обратно в коридор свинарника, мимоходом с грустью взглянул на Стюардессу. «Ну, если это ты, Щука, то ты заварил кашу!», после чего закрыл двери свинарника.

Луны не было; звезды сверкали в темном небе, словно россыпь искр; но равнина, застывшая в неподвижности, в бесконечном молчании, все же светилась тусклой белизной. По дороге на Клюшку я увидел в небе падающую звезду. «Надо загадать желание», и я его загадал.

В хрустком воздухе холодного февральского утра, в порывах северо-западного ветра чувствовалось приближение метели.

(*Окончание в сл. номере*)

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

/ Берлин /

* * *

Поглубже в снег улечься,
Чтоб не оледенеть.
А чтобы не обжечься —
Заранее сгореть.

А чтоб не обижаться —
Самой сказать «прости».
А чтобы докричаться —
На шепот перейти.

* * *

Расширяя мирочек свой тесный,
Где половник, коляска, кровать,
Я не ехала в рай поднебесный,
Я поехала мир познавать.

Только жалко, что мир возлюбя,
Где беспечно скиталась,
Слишком мало познала себя
И дурёхой осталась.

2008

* * *

Если ты не понарошку
Полюбил меня, милашку,
Я тебе сварю картошку,
Я тебе зашью рубашку.

Если сделаешь подножку,
Я не дам тебе поблажку,
Я тебе зашью картошку,
Я тебе сварю рубашку.

* * *

Запачкана кляксой
Писалась тетрадка кармическая,
И нервною плаксой
Была героиня лирическая.

Немножко сопливой
В рыданьях любви помирающей.
Зато справедливой
И гордо мерзавцев прощающей.

А нынче, возможно,
Она не такая красивая,
Зато безнадёжно
И гордая, и справедливая.

2008

* * *

Не было б лет золотых —
Не было б мудрости стажа.
Сколько волосьев седых...
Все не повыдернешь даже.

Вот и проруха под крик
Ревности — зависти духа.
Где твоя мудрость, старик?
Где твоя мудрость, старуха?

2008

Сергей ГРАБАРЬ

/ Киев /

Волхвы[1]

1. МЕЛЬХИОР

Помню: два года тому ночью всё озарилось светом, будто день вокруг. Всё стало прозрачным и чистым, как утренний воздух. А после мгновенно исчезло. И только Звезда, которой раньше не было — яркая-яркая... Засияла и поплыла. Поплыла по небу — чудеса какие-то, и по сегодня так. И мы за нею, словно безумные, идём уже второй год — и днём и ночью. А сияет она постоянно: днём как маленькое солнце возле солнца большого, а ночью — как солнце рядом с луной. И даже когда тучи — всё равно пробивается свет.

Поначалу шли споры, как это и бывает среди людей. Он или не Он, ведь Звезда пророчит. А потом выбрали нас — от трёх колен Ноевых. И мы отправились: трое мудрецов — астрологи с Востока: Каспар, Бальтазар и я — Мельхиор.

Пролетали дни, месяцы — а мы шли за Звездой. Иногда казалось, что она никогда не остановится, и всегда будет плыть по небосклону. Мы видели разные земли, встречали людей. Они были напуганы необычным светом, который лился с небес. Они готовились к худшему. Появилось множество прорицателей, предсказывающих Конец Света. Их слушали, но надеялись на спасение и на Его приход. Нас расспрашивали: кто мы и куда идём? Нас просили рассказать об этом Вселенском свете, и мы рассказывали. Нам чаще всего верили, ибо мы несли надежду.

А Звезда светила и плыла...

[1] Рассказ взят из книги «Сецессии», готовящейся к изданию в Санкт-Петербурге (издательство «Алетейя»).

Мы шли дорогами и бездорожьем, пустынями и долинами, мы шли уверенные, что рано или поздно она приведет нас к Спасителю.

В один из вечеров Звезда остановилась. Сбылись слова пророка Михея: «И ты, Вифлеем-Ефраф, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя выйдет ко мне Тот, кто должен быть владыкой в Израиле и Чьё происхождение от начала, от дней вечных».

То была Иудея — царство Ирода Великого.

Я — Мельхиор из Аравии, из колена Сима, сына Ноева, пишу эти строки.

2. КАСПАР

Это был не человек. То, что мы увидели, трудно назвать человеком, но и зверем тоже. Это было разорванное в клочья сумасшествие, не верившее, что когда-то смерть придёт к нему, и все, что создавалось такими усилиями, достанется другим, а ему чёрная пустота и длинный путь в ад. То, что мы видели перед собой, было творением дьявола на земле: хищные, маленькие сощуренные глаза, тонкие дрожащие губы, чуть очерчивающие гнусавый рот, заострённые уши, торчащие как у чёрта, и руки...

Его руки это было что-то странное, что-то особое в этом получеловеке-полу-звере, полу непонятно ком. Его руки вибрировали так, что было неизвестно, остановятся они когда-нибудь вообще, или эта постоянная дрожь и конвульсии не оставляют его даже во сне.

И все это усиливалось каким-то потусторонним шипением-шептанием изнутри, от которого даже у нас — людей, многое видевших в своей жизни, шёл мороз по коже. А что говорить о подданных, живущих здесь постоянно. Они не просто боялись, они были загнаны в угол.

Это был Ирод Великий — правитель Иудеи, Самарии, Галилеи и других земель. Сын Антипатра и аравийки Кипры. Властитель людских судеб. О чём он думал сейчас, позвав нас? Едва ли о сотнях невинно уничтоженных им людей. О сорока пяти сторонниках Антигона. Или о стертых с лица земли Маккавеях. Или, может, о страданиях во время пыток своей первой жены — Мариамны. Или о десяти последующих жёнах, исчезнувших неизвестно куда. Или о своих кровных сыновьях, погибших только потому, что были его наследниками. Или, возможно, о своём приказе уничтожить детей, в возрасте до двух лет. О чём же сейчас думал Ирод?

Вдруг мы услышали тихие-тихие всхлипы:

— Я прошу, очень прошу, умаляю Вас, скажите, где Он? Я знаю, что Вы знаете. Иначе Вы не пришли бы сюда издалека. Я заклинаю Вас, скажите, потому что если Он пришёл, то мне конец — и уже ничто не спасёт...

И он заплакал, всемогущий Ирод, заплакал и опустился на колени.

— Ну, хотя бы когда будете возвращаться... назад... от Него, скажите, где Он... просто укажите направление... потому что иначе не жить... иначе смерть.

Странно было смотреть на ничтожество этого человек, которому покорялись земли и народы, который обагрил реки кровью. Сейчас он был согласен на всё, лишь бы сохранить власть.

Мы молча поклонились и ушли.

— Я прошу Вас... скажите... только направление... — слышалось позади.

Я Каспар из Эфиопии, из колена Хама, сына Ноевого, пишу эти строки...

3. БАЛЬТАЗАР

Звезда стояла ещё несколько дней. Ещё в первый день мы определили место. После встречи с Иродом, не теряя времени, собрав спутников, взяв Священные Дары, мы отправились в Вифлеем.

Время торопило: заканчивался третий день, с тех пор, как Звезда остановилась, по всему что-то должно было случиться сегодня, но где именно — мы не знали.

Раскинувшийся перед нами Вифлеем, лежал в какой-то чувственной дрёме. Он был полуосвещён: сияла Звезда. Внезапно от Звезды отделился яркий луч, пронёсся над селением и остановился на окраине, среди холмов.

— Это там, — вскричал Мельхиор.

— Это там, — вторил ему Каспар.

— Это там, — подхватил я.

Сломя голову, бросились мы к противоположной стороне селения. Подбежав ближе, увидели небольшую пещеру. Она казалась пустой. Внезапно пещера озарилась ярким светом, и мы увидели... мы увидели. Младенца... и Мать, которая склонилась над Ним...

— Свершилось, — прошептал кто-то из нас.

Поражённые, мы упали на колени, не только Каспар, как потом говорили, а все, да ещё те, кто пришёл с нами в эти земли, и те, кто присоединился в дороге, и кто жил тут, в Иудее — все припали к земле, потому что стали свидетелями пришествия Спасителя.

Мы чинно положили пред Ним Священные Дары:

Золото, как символ Его царствования на земле;

Ладан, как символ Его первосвященства;

Смирну, как символ Его земной жизни, страдания и мученической смерти.

Мы положили Священные Дары к Его ногам, а Он... Он протянул к нам маленькие ручки, и мы почувствовали тепло, которое волнами разливалось по всему телу...

Он благословил нас...

Я — Бальтазар из Персии, из колена Иофета, сына Ноева, пишу эти строки...

4. ЭПИЛОГ

После Вифлеема они вернулись домой иной дорогой. Почему они так поступили? Может быть, чтоб сохранить жизнь, и свою и Спасителя. Они видели Ирода Великого и знали, на что способен этот человек. По пути они рассказывали людям о пришествии Мессии. Одни верили, другие — нет. Так уж в этом мире повелось. В какой-то момент их дороги разошлись. Каждый направился в свою землю.

Больше они никогда не виделись. Но, постоянно глядя на небо, вспоминали, как когда-то им выпала счастливая звезда: увидеть рождение Спасителя нашего Иисуса Христа и первыми Ему поклониться.

Радовались ли они этому? Конечно, более того, каждого из них переполняло бесконечное счастье причастности к величию этого события. И на вопрос: «Что такое счастье?» они отвечали «Счастье это верить в Него!»

Они прожили долгую жизнь, и каждый встретил свой назначенный час. Они завершили свой путь в полной ясности разума, с просветлёнными, одухотворёнными лицами. Случилось так, что они пережили Спасителя, и впереди их ждала встреча с Ним.

В IV веке их мощи были перенесены в Царьгород, позднее — в Милан, а в 1164 году императором Фридрихом Барбароссой — в Кёльн.

* * *

Шёл 2007 год от Рождества Христова. Я стоял в полупустом Кёльнском соборе. Стоял и не мог оторвать глаз от золотого ковчега в алтаре. Там были мощи трёх посланников человечества.

Я был счастлив. Я слышал их слова: «Счастье в вере в Него!»

Владимир ШПАКОВ

/ Санкт-Петербург /

Возвращение из Мексики

Повесть

Есть ли у этого пути сердце? Если есть, это хороший путь; если нет, от него никакого толку.

Карлос Кастанеда

1

И тогда вспоминаешь о том, что *мы живем внутри большого пузыря. Мы помещены в пузырь с рождения, и если в младенчестве он еще открыт, то на излете детства — закрывается, и мы оказываемся в замкнутом пространстве.* Вспоминаешь в длиннющей очереди, где топчешься второй час, потихоньку дуреешь, и кажется: тебя окружает плотный «пузырь», в который не проникает звук. Не первый раз переживаю сей коллапс, но пока не привык. Что?! Я плохо слышу!! Стоящий сзади верзила в кожаном плаще крутит головой, мол, идиот! А ты ведь не прикидываешься, действительно не расслышал вопрос. Или мнение? В этой очереди вопросы кончились, зато эмоциональные мнения выплескиваются то там, то здесь. Мол, доколе?! Бардак, даже здесь — вопиющий бардак! Но если час назад выплески были слышны, то сейчас между мной и миром установили невидимую преграду, так что музыка бытия прорывается в мозг с трудом. Ник говорил, что «пузырь» — это наше восприятие, которое мешает подлинному контакту с миром, то есть, род метафоры. Я же по-настоящему, без всяких метафор оказался внутри кокона, вроде как запеленутый в вату.

Впереди втискиваются те, кто давно занимал, и меня грубо теснят. Я давно не толкался в очередях и потому забыл, что очередь — это наше все, это способ жизни и образ мышления, общение и самореализация, возможность дать в морду тому, кто не по нраву и т. п. А ведь приличные с виду люди! И в такое учрежде-

ние стоят! Человеческая цепочка неплохо прикинута, она поправляет галстуки, покуривает, и дым от сигарет не ошпаривает ноздри, как иприт, а ласкает обоняние, как французский парфюм. Я не нюхал иприта, но зачем тогда воображение? Я и в Мексике никогда не был, а ведь воображаю ее подчас в подробностях, ни дна ей, ни покрышки!

Здесь я тоже из-за Мексики, что меня лично удивляет, но людей из очереди удивит вряд ли. Тут ведь каждый либо живет «за бугром», либо имеет там какие-то делишки. Вон тот в твидовом пиджаке, наверное, гешефтмахер, имеет парочку офисов где-нибудь в Лондонском Сити. А эта мадам в шиншиллах, небось, к родственникам в Штаты рвет когти... Наконец «пузырь» (ура!) лопается, и мир опять обретает полнозвучие.

— Вы слышите выстрелы? — наклоняет голову шиншилла, — Я слышу — уже на кольце стреляют!

— Это глушитель стреляет! — морщится твидовый, — Глушитель автомобиля!

— Что вы мне объясняете?! Позавчера точно также у нас под окнами стреляли! А потом во дворе человека убитого нашли!

Очередь пронзает электрический разряд, и все нервно прислушиваются. А почему? Потому что они во власти *события*, потрясшего столицу парочку дней назад. Ты тоже, по идее, должен всеми фибрами переживать *событие*, но почему-то не переживаешь и больше всего хочешь достичь заветного угла, от которого совсем недалеко до входа. «Здрасьте! Вот бумажечки для мексиканских властей, будьте добры, проставьте печать! Покорнейше благодарю-с! Как говорится, будете у нас на Колыме...» Очередь продвигается вперед, надежда вспыхивает в груди, как костер после доброй чарки бензина, потом ты видишь, что несколько людей из авангарда возвращаются — лопнуло, то есть, терпение. И хотя ты на полдесятка тел ближе к заветной цели, надежда гаснет, будто в костер плеснули большущее ведро воды. Они обещали, что откроют в двенадцать, так вроде орали впереди, однако уже два часа, а двери по-прежнему на запоре! Ладно — вчера, сразу после *события*, но сегодня-то уже всё (или почти всё) в норме, на улицах столицы восстановлен правопорядок, и учреждения, блин, должны работать!

Я выхожу из очереди, предупредив, мол, на пять минут, перекурить. И, вытащив сигарету и нюхая ее, словно собака найденную кость, двигаюсь вдоль здания-монстра. Странно: сигарета пахнет борщом, так что хочется положить ее в рот и сжевать. Или она пахнет ипритом, которого я не нюхал, но почему-то помню запах? Фокусы с запахами, тугоухость, а еще утрата равновесия — полный набор симптомов для того, чтобы улечься на больничную койку. Ты же, остолоп, притащился в столицу и теперь шаркаешь по гранитным плитам и боишься взглянуть вверх, на шпиль, потому голова опять может закружиться, и ты хряснешься затылком о ступени.

«Он погиб на ступенях Министерства иностранных дел» — напишут в твоей родной провинциальной газетенке, причем все сразу забудут, что от удара затылком о ступени. Зато обязательно вспомнят о *событии* и, конечно же, привяжут к нему безвременную кончину. «Он защищал либеральные ценности!» — так будет завершаться некролог, и ты завертишься в гробу, как пропеллер, и возопишь из-под глыб: «Только вот этого, блин, про ценности — не надо!!»

Это здание похоже на кремлевские башни, разве что стены не красные, а серые с коричневатым отливом. Серо-коричневая громада со шпилем нависает надо мной, я же, боясь глянуть вверх, чапаю вдоль фасада. Чап-чап, чап-чап — да когда же эта домина кончится?! Потом надо столько же чапать обратно, к правой оконечности фасада, где из-под навеса (кажется, устроенного ради безопасности — с высоток уже давно начали осыпаться фрагменты) торчит хвост очереди. Далее очередь огибает МИД и втыкается в задний вход, увы, второй день закрытый для посетителей. Странно: парадный вход как раз таки работает, сюда подкатывают лимузины, и люди в черных пиджаках озабоченно поднимаются по ступеням, держа в руках солидные черные папки. У меня же в руках тонкая синяя папочка с тесемками, в каких школьники носят тетради. Но я все равно прижимаю ее к груди, возвращаясь в очередь и моля непонятно кого о том, чтобы меня не «заштормило».

Красочный букет симптомов — это последствия знакомства с товарищем Меньером. В районной поликлинике сказали, что подозрение на болезнь Меньера, то есть, именно его я должен благодарить за те забавные штучки, что происходят с моей головой. Или благодарить нужно мою бестолковую жизнь? Или, наоборот, не благодарить, а проклинать? Когда я встаю на место, впереди раздаются возгласы, затем мимо, пыхтя, пробирается краснорожий толстяк.

— Не откроют сегодня! Опять у них выходной!! Ну, сукины дети...

После чего упругое тело очереди начинает распадаться на составляющие. Только что я наблюдал единый организм, и вот — ноги, руки отпадают, печень и сердце безвольно вываливаются из утробы, а далее — распад на отдельные клетки.

Я тоже участвую в процессе распада, надо сказать, не без сожаления. Я оглядываюсь в надежде, что кто-то сейчас выскочит из-под навеса, махнет рукой и крикнет: «Открылись, давайте сюда!» И бумажки из папочки проштампуют, и я отнесу их в мексиканское посольство, и оно запечатает их сургучной печатью, а дальше — свобода, свобода, эх, эх, без креста! Это же не папочка, это крест, который я взвалил на себя по глупости, и от которого срочно надо избавиться. А что? Скажу Нику, что потерял, мол, знаешь, что в столице творится, можно не только бумаги — голову потерять! Ник, конечно, заломит руки: «Что ты наделал?! Я же так

хотел вернуть Ирину из Мексики!» «Хотеть не вредно, — отвечу я, — Если бы хотел всерьез, то сам бы поехал и таскался по этим грёбаным министерствам!»

Я спускаюсь по ступенькам, двигаюсь по Садовому кольцу, а сам прикидываю: как бы избавиться от креста? В первом дворе, куда заскакиваю, на скамейках торчат старушки и с подозрением на меня пялятся. В следующем слишком много детворы, и только на третий раз попадаю в глухой двор, где слева брандмауэр, справа — гаражи. Между гаражами виднеется пространство, куда можно спокойно бросить надоевшую папочку, напоследок (типа: на всякий случай) взглянув на ее содержимое.

Итак, мы имеем паспорт на имя гражданки Мищук Ирины Олеговны, большеглазой брюнетки с пышными волосами. Что ж, такие гарные дивчины должны мексиканцам нравится, хотя ты, Ириша, своего мучачос, видно, не нашла... Если раскрыть паспорт на нужной страничке, обнаружится еще один Мищук — Лаврентий, с которым заключен и расторгнут недолгий брак. А еще через пару страниц вписан третий Мищук, Геннадий, в возрасте десяти лет. Что же ты, Гена? Почему молчал? Почему не упирался ногами и руками, когда сбрендившая мамаша увозила тебя на выжженную землю мескалиновых кактусов?! Эх ты, Геннадий... Затем следует диплом МГУ (факультет иностранных языков) и вкладыш к диплому, свидетельствующий об отличной успеваемости студентки Мищук, блестяще сдавшей испанский, французский, отечественную и зарубежную историю, но, увы, от этого не поумневшей. Умная студентка Мищук работала бы сейчас в какой-нибудь туристической фирме, водила бы испанцев и аргентинцев по экскурсиям и в ус не дула. Далее (полный смех!) — характеристики с мест учебы и работы. Ну, зачем этим Сикейросам ее характеристики?! Бумаги переведены на испанский язык, отксерокопированы, вот только ходу им столичные бюрократы не дают! А тогда я, как говорится, умываю руки...

Но умыть руки, я чувствую, не получится. Не зря спелеологи говорят: когда выходишь из пещеры, не оглядывайся, иначе утянет! Недаром предание превратило Лотову жену в соляной столб, то есть: не стоило развязывать тесемочки и заглядывать в папочку, где полдесятка официальных бумажек скупо повествовали о женской судьбе. Гекуба, блин! Я с унынием сую папочку в пакет, выкатываюсь обратно на Садовое кольцо и — вот тебе наказание! — с ходу попадаю в лапы милицейского патруля.

— Гражданин! Эй, гражданин!

Орут в спину, и я делаю вид, что окрик относится к кому-то другому. Мало ли людей шагает по Садовому кольцу!

— Гражданин!! Немедленно остановитесь!

Что ж, надо тормозить. Остальные шагающие, как я с разочарованием отмечаю, шагают ровно, если надо, они с закрытыми глазами пройдут по половице, меня же покачивает, из-за чего путь напоминает синусоиду. Ну, Меньер, ты и гад! Сука ты, потому что вылез в самый неподходящий момент, и сейчас я опять бу-

ду оправдываться, мол, не пил из копытца, не козел, и закон уважаю! Почему же тогда меня шатает, будто я литр на грудь принял?! А вот это, граждане милиционеры, отдельная история. Они, конечно, не поверят, но я вытащу бумажку, которую выписали в родной поликлинике, и где (о, счастье!) кроме названия моей хворобы прописаны еще и симптомы, в том числе расстройство вестибулярного аппарата.

— Предъявите документы!

Ментов двое, и настроены они решительно.

— Так, гость столицы... И почему же гость в таком состоянии?

Не желая впустую тратить слова, роюсь в кармане.

— Что вы там ищете?

— Главный аргумент, — криво усмехаюсь. На всякий случай младший по званию (судя по количеству лычек) тоже готовит «аргумент», а именно: берет на изготовку дубинку.

— Что это?

— Справка.

— О том, что вам разрешено разгуливать по городу в нетрезвом виде?

— Вы читайте, там все написано.

Вначале читает старший, сует бумажку младшему, и тот недоверчиво усмехается.

— Пусто дыхнет, — говорит, — Тогда сразу станет ясно — чем он там болеет.

Но старший, кажется, входит в положение.

— С такими вещами надо дома сидеть, а не разъезжать! — сердито говорит он, — Вы что, не знаете, что у нас происходит? Да тут такое творится...

— Снайперов по крышам вылавливаем, понял? — говорит младший, — А такого, как ты, подстрелить — нечего делать! Ты же ходячая мишень!

Я и сам знаю, что лучше сидеть дома, а не шляться по встревоженной столице, где еще не все снайперы пойманы. Но что я могу поделать? Это судьба меня несет, это рок тащит непонятно куда сутулого человека выше среднего роста, одетого в потертую джинсовую куртку (так я выгляжу согласно милицейской терминологии). Ник мог бы сказать: «Это — путь воина, старик!», только если я и напоминаю воина, то в лучшем случае — солдата наполеоновской армии во время отступления...

2

Отступление началось давно: неприятель медленно, но верно меня теснил, давая понять, что на данной территории я — лишний. Однажды мой письменный стол оказался задвинут в темный угол, а на его место у окна теща поместила старенький телевизор КВН — память о ее покойном отце Семене Ильиче Варшавском, который изобрел какой-то там электронный блок и, таким обра-

зом, вошел в сонм отцов-основателей отечественного TV. Я сказал, что музей она могла бы разместить и в своей комнате, но теща с молчаливого одобрения супруги еще и фотопортреты своего Эдисона развешала! Как выяснилось, это были наглядные пособия, которые должны внушать трепет и уважение к человеку, сумевшему в невероятно тяжелых жизненных условиях добиться успеха. Да, было трудно. Да, приходилось недоедать, работать по пятнадцать часов с сутки, но эти люди...

Нет, впрямую ко мне не обращались, все это говорилось между тещей и супругой, но адресат был понятен. Откуда-то им стало известно, что отношения с редактором у меня окончательно испортились, что Горыныч (прозвище редактора) готовится меня сожрать с потрохами, а значит, местечко в областной газете скоро тю-тю. Они полагали, что подстегивают меня кнутом возбужденного самолюбия, только оно почему-то совсем не возбуждалось. У меня вообще давно ничего не возбуждалось, я даже спал на кухне под предлогом того, что работаю ночами и никому не желаю мешать. На самом деле я высовывался с сигаретой в окно и с высоты двенадцатого этажа, на котором расположена наша двухкомнатная конура, разглядывал огоньки внизу. Если на них долго смотреть, казалось, что они отдаляются, делаются чем-то невероятно далеким. И я представлял, что вон тот огонек — супруга, этот — теща, а вон тот, красный (светофор вроде) — редактор Горыныч. Сам же себе я представлялся космическим кораблем, который набирает скорость, достигает световой скорости, — и вот, ты уже в другой звездной системе.

Предпоследней каплей был внезапно заключенный «Варшавский договор» — так я называл союз супруги и тещи. Когда-то я предупреждал Галину: не смей входить в этот «договор», ничего хорошего не выйдет! Увы, не послушалась, и, когда я в сердцах пнул ногой фамильный телеящик, на его защиту кинулись и оскорбленная мать, и униженная дочь, дескать, я пока что ничего в жизни не сделал, не изобрел, не сотворил, а уже смею поднимать руку на плоды чужого творчества!

— Ногу, — уточнил я.

— Что — ногу?! — не поняла теща.

— Я поднял ногу на плод чужого творчества.

Секунда, набор воздуха, и еще миллион аргументов, превращающих меня в ничтожество, а семейство Варшавских поднимавших на немыслимую высоту (с учетом «великого» изобретения — на высоту Останкинской телебашни). Галина внесла посильную лепту, тоже орала, взявшись за руки с остервенелой мамашей, а в это время именно я поднимался на высоту Останкинской башни, а кричащее семейство оставалось внизу, маленькое и злобное, брызгающее слюной, единое в своем уничтожающем пафосе...

— Ты такой же, как твой Ник: витаешь в облаках и думаешь только о себе!

В облаках, думал я, это хорошо, поднимемся к ним еще на сотню метров.

— Ты не умеешь зарабатывать деньги, только тратишь их на свои дурацкие книжки!

Еще сотня, так что я был уже на уровне ресторана «Седьмое небо».

— И вообще, я знаю, о чем ты мечтаешь! Ты хочешь уехать к своей московской шлюхе, к этой несчастной поэтессе, такой же бездарной, как и ты!

Этот пассаж заставил меня взлететь на шпиль, кажется, высотой более полукилометра. Куда было подниматься дальше? Лететь в небо, к свободным птицам? Семейство уже превратилось в муравьев, в неразличимые точки, но тут внезапно сдавило виски, и я рухнул в кресло.

— Три минуты, хорошо? Отдышусь — и ухожу!

Радовало одно: что сын пребывал в детском саду и не наблюдал всей этой мерзости. Можно было забежать к нему, но зачем? Я же прекрасно понимал: финита, никто и никогда не даст спокойно с ним общаться, а тогда и беспокоить пацана не стоит.

Последней же каплей было приглашение в кабинет главного редактора, который молча подвинул по столешнице лист бумаги, мол, давай! Я также молча нарисовал вопросительный знак и подвинул главному (так сказать, прикинулся шлангом). Тот усмехнулся, порвал лист, вытащил новый и опять подвинул. Писал я недолго, прощаться не стал и, помнится, сбегал по лестнице с невероятной легкостью. Знаете, наверное, эту легкость, когда нечего терять, когда все личные и социальные обязанности отпали, как балласт с аэростата, и ты вроде как готов рвануть в небеса.

Я вышел на улицу, огляделся и вдруг заметил развязавшийся шнурок на левом ботинке. Когда я нагнулся, легкость еще оставалась, но, подняв голову, я обнаружил изменившийся мир. То ли я, то ли дом администрации напротив редакции вдруг начал накреняться, и если бы не оказавшийся поблизости мужик, я бы точно грохнулся о ступени. «Эй, плохо, что ли?» Я же молча прислушивался к гулу в голове, озирал пространство, утратившее верх и низ, и только потом почувствовал, что опустился задницей на осколок кирпича. Я вытащил осколок, с силой откинул, и опять почувствовал, как тянет упасть. «Ну, мать-перемать... Скорую тебе, что ли, вызвать?»

Когда я представил, как от стен родной (уже в прошлом, но все равно) редакции меня увозит скорая, пепел Клааса вспыхнул в груди и заставил будничным голосом ответить, мол, пустяки, мужик, гуляй! «Так это с тобой часто бывает?» Да каждый день, когда накануне выпью! Лицо спасителя сразу повеселело. «Так бы сразу и сказал! Тогда посиди, отдохни, потом пивка дерни — и все пройдет!» Я последовал совету: с трудом поднялся, осторожно добрел до ближайшего бара и, как ни странно, после третьей кружки почувствовал облегчение! Захмелев, я обрел соответствие с голо-

вой, в которой развинтились какие-то шарики, отвечающие за устойчивость, и покой сошел в мою душу. «Фигня, прорвемся! — думал я, — не то еще проходили!»

Несколько дней я торчал в квартире уехавшего в отпуск приятеля, с тревогой ожидая, когда в очередной раз шар земной уплывет под моими ногами. Я обнаружил, что омлет может пахнуть гуталином, что левое ухо иногда оказывается забитым ватой, и ты усиленно в нем ковыряешься, утешая себя мыслью: это банальные серные пробки. Потом будет ЛОР, промывание ушей водяным шприцем (полюбуйтесь, никаких пробок!), и заведующий отделением, который заставит стоять на одной ноге с закрытыми глазами, после чего произнесет словечко: Меньер. Это что за фигня такая?! Не что, а кто, звали этого дядьку Проспером, жил он давненько, в девятнадцатом столетии и первым описал данный синдром. Хотя — это только мое предположение, может, болезнь имеет другие корни. И что же делать? Поначалу вот тебе рецепт на бетагистин. А вообще-то надо ехать в Москву, там специалисты получше.

И так мне захотелось в Москву... Я испил все положенные «капли», я был свободен, я хотел вдохнуть полной грудью московского воздуха, и мне было совершенно наплевать на то, что в столице шла какая-то политическая буза, руководители державы рассорились, как два гоголевских персонажа, и со дня на день ожидался серьезный кризис. «Не буди лихо, пока оно тихо!» — мог бы сказать я супруге: я вовсе не мечтал увидеть Леру, я о ней почти забыл. Но ведь напомнила, сорвала заслонку, и вот — буйным потоком воспоминания, в том числе и эротические (слава богу, дядька Меньер поражал органы исключительно выше пояса). В прошлую нашу встречу, помнится, Лера упросила купить ей какие-то немыслимые — просто гигантские! — серьги, ручная работа крохотного финно-угорского племени, и даже в постели не желала снимать это языческое украшение. Кровать скрипела, серьги звякали, Лера вскрикивала, в общем, не занятие любовью, а студия озвучания «Мосфильма». А Сашка Выдрин, с которым не виделись года два? Говорят, он стал начальником в Гидрометцентре, уже отделом руководит, а значит, проставит хорошие напитки...

Знал бы о последствиях — ни за что не проговорился бы Нику о своих планах. Этот стукнутый вдруг забегал по комнате, где царил страшный бардак, начал что-то искать и, на мою беду, нашел. Понимаешь, перебирал он бумаги, моя московская родственница застряла в Мексике, поехала работать — и застряла! Ну, сказал я, и попутного ветра, если ей там нравится. Да в том-то и дело, что не нравится! Уехать она хочет оттуда, а денег — ноль, потому что выгнали с работы. То есть, она сама ушла, потому что это не работа, а, как бы тебе сказать...

— Сфера интимных услуг?

— Ага, вроде того. Попала не то в бордель, не то в порноиндустрию, хотя обещали работу в туристической фирме. Теперь сидит вся в долгах, даже на билеты денег нет. Она же, дура набитая,

еще и сына туда увезла! А вдвоем они на таком якоре, что мама — не горюй! Только мама, то есть, моя тетка, как раз таки горюет со страшной силой. Помоги, говорит, Коля, выручи двоюродную сестру! Ей там неплохую работу пообещали, в университете, только они требуют копию диплома, чтобы быть уверенными: они не фуфло на работу берут. Она же, кретинка, документ о высшем образовании здесь оставила! Зачем, мол, русский диплом, если я еду с туристами работать? В общем, если ее на работу возьмут, она за три месяца может и долг отдать, и билеты домой купить.

— Гуманная акция, — сказал я, — Но причем тут Москва?

— А я разве не сказал? В том-то и дело, что без Москвы, мать ее, просто никуда! Все эти бумаги нужно вначале заверить в МИДе, а потом отнести в мексиканское посольство и через них отправить! Тетка мне все это прислала, мол, спасай, а у меня — ну полный завал со временем! Пообещал, дурак, на свою голову...

«А может, на мою голову?» — задал я себе мысленный вопрос, а вслух поинтересовался: разве у нее нет мужа? Если есть сын, то, по идее, и муж должен быть! В ответ Ник зафонтанировал, мол, это не муж, а полный урод, и если бы не его, Ника, сумасшедшая занятость, он бы тотчас двинул в столицу, чтобы размазать его по асфальту! Далее он перешел на деловой тон, заверив, что ничего особенного делать не придется: визит в министерство, потом в посольство — и все! Перевод же на испанский и нотариуса (нужен был еще и нотариус!) Ник великодушно брал на себя.

— Кстати, у меня перевод должен быть сегодня готов! Пошли, заберем? Там такой колоритный испанец... Пошли, тебе будет интересно!

Высокого худощавого парня, впустившего нас в ворота добротного кирпичного дома, Ник назвал: Миша, но парень тут же поправил: Мигель. По-русски он говорил без акцента, и испанца в нем выдавала разве что смугловатая кожа и огромная серьга в ухе, чем-то напоминавшая Леру. Как объяснил по дороге Ник, Миша был потомком тех самых испанцев, что сбежали сюда от Франко. Родители его умерли, он же вдруг вознамерился возвращаться на родину предков: теперь и дом продает, и вообще — зарабатывает любым способом.

— Деньги принес? — Миша-Мигель отвел руку Ника, протянутую за листами.

— Но мне же проверить надо! — возмутился приятель.

— Что ж, проверяй... — на лице испанца появилась презрительная улыбочка, а Ник взялся изучать язык Сервантеса, выглядя при этом полным бараном.

— Пользуешься нашей безграмотностью... — вздохнул он и протянул деньги, — Дом-то продал?

— Нет пока. Вы жадные, хотите мало платить.

— Да ты просто цену задрал!

— Дом — это мой шанс, у меня другого капитала нет. А уехать я очень хочу. Это страшный город.

Ник вяло возразил, мол, не страшнее какой-нибудь Севильи, и мы опять увидели презрительную улыбочку.

— Ты разве был в Севилье?

— Я? Пока не был. — Ник покосился на меня, вроде как спрашивал: не был ли там я, но я ничем не мог помочь приятелю.

— А почему тогда так говоришь? Севилья — прекрасный город, я его видел. А ваш город страшный. И страна — страшная.

Под занавес зависла тягостная пауза.

— Виват Долорес Ибаррури! — сказал я, и дверь за нами захлопнулась.

Потом Ник ругался, мол, напринимали в свое время козлов, а они теперь нас грязью поливают! А чего тут поливать? Действительно — страшный город, он еще неплохо смотрелся, когда гудели заводы, дымили трубы, и жизнь била ключом. Теперь эта многокилометровая цепочка предприятий замерла, превратившись в грязный отстойник, построенные же вокруг гигантские заводские кварталы постепенно ветшали, все больше напоминая многоэтажные бараки...

После нотариуса Ник приобрел в книжном магазине синюю папочку, сложил туда документы и вручил мне. Мол, выручай, она же не от хорошей жизни туда рванула — очень уж муж достал. А куда деваться, если за плечами испанское отделение?

— В Севилью, — ответил я, — Куда же еще?

— К таким козлам, как Миша-Мигель?! — возмутился Ник, но потом скис:

— Она вообще-то пыталась — в Барселону резюме посылала, в Мадрид, но вызов прислали только из Мексики. Я ей кучу поручений надавал: чтобы про Дона Хуана побольше узнала, про Кастанеду, где живет, чем дышит и т. п. Но разве женщин это интересует? Напортачила, запуталась, как муха в паутине, теперь вытаскивай ее!

В этот момент опять начала «подъезжать крыша». Крепыш Ник вдруг вытянулся передо мной, как в кривом зеркале, и сделался похожим на астеничного Мигеля. Потом стал раскачиваться, но я-то соображал: это *мое* равновесие приходит в полную негодность, а значит, надо за что-то хвататься.

Ухватившись за Ника, я буквально на нем повис.

— Эй, ты чего?! И ты в таком состоянии собираешься... Н-да.

— Не переживай за мое состояние, — сказал я, — Я же его и направляюсь лечить.

— Да? — приятель повеселел, — Тогда вперед, ты должен идти «путем воина» и никуда не сворачивать! У тебя просто разорвались волокна, которые связывают человека с окружающим миром! Помнишь, как писал Кастанеда? «*Связь с миром происходит с помощью пучка светящихся волокон, исходящих из середины живота. Этими волокнами человек соединен со всем миром, благодаря им он сохраняет равновесие, они придают ему устойчивость*». А у тебя с устойчивостью...

— Совсем хреново! — закончил я, — Одна надежда: что эти самые волокна опять срастутся!

Чтобы меня подбодрить, на прощанье Ник сказал:

— Кстати: в Москве на днях куча наших орлов собирается! Ну, любителей Кастанеды, даосов, колдунов-шмолдунов... Мне письмо написали, мол, общая встреча — в Трубниковском, в каком-то литературном музее, так что ты смело можешь туда придти! Скажи: Ник не имеет возможности явиться, но я — его лучший ученик и тэдэ!

Когда мне подробно рассказали, кого и как там искать, «крыша» встала на место (а может, кастанедовские волокна восстановились). Я опять мог ориентироваться в пространстве и тоже решил: вперед и никуда не сворачивать! Я приобрел билет, собрал вещи, однако за день до отъезда вдруг раздался звонок, и Ник странным голосом осведомился: ты ящик не смотришь? Тогда вруби первый канал, полюбуйся!

Ящик передавал о том бардаке, что творится в сердце нашей Родины. Кто-то осаждал Останкино, кто-то штурмовал мэрию, кто-то строил баррикады. Эти события выстрелили не вдруг, но как-то летели мимо меня, озабоченного собственными передрягами. А тут — натуральная война, которую я смотрел, не отрываясь, пока под утро на экране не возникли танки, прямой наводкой лупившие по Белому дому...

— Ну, и как впечатления? — поинтересовался Ник, позвонив еще раз. В голосе сквозило разочарование, и одноврменно в нем теплилась надежда: а вдруг я такой сумасшедший, что все равно туда отправлюсь?

Я оказался сумасшедшим Мол, терять особо нечего, так что билет сдавать не буду. Отчего на том конце провода, кажется, даже прослезились.

3

Москва гудит, шуршит миллионами шинами на Садовом, и кажется: все жители столицы сели на тачки и стремятся уехать оттуда, где совсем недавно из АКМов и пулеметов косили людей, как траву. А что? Собрались бы, с лопатами и с вилами, да и выехали бы в мой «страшный» город. Наладили бы снабжение, хиреющий транспорт подтолкнули бы, а главное, нашли бы альтернативу гигантским заводам, что застыли мертвецами вдоль Московского, между прочим, шоссе. Айда к нам, ребята, не пожалеете! Когда встали заводы, вода в реке такая прозрачная сделалась, хоть пей ее без всякой очистки! Опять голавль стал клевать, а в притоках раки появились — вку-усные... Не ели вы таких раков никогда, клянусь мамой! Ну?!

Не дают ответа, летят в своих автомобилях, и (опять кажется) гудки клаксонов складываются в ехидную мелодию: ты осел, придурок, ты — никто! Ты сходил в больницу, куда советовал ЛОР, но оказалось: специалист по твоей болезни уехал читать лекции в Ам-

стердам. И в МИДе тебе указали твое место, дубина провинциальная! Разве ты не понял, что отныне закон — homo homini lopus est? ЧЧВ, говоря иначе, вся Москва живет по такому закону, и ты давай, шагай в ногу! Намедни тут одни ЧЧВисты победили других ЧЧВистов, и ты, лох Урюпинский, должен понимать, что победителей не судят, и они вправе наводнить Москву патрулями или расставлять, где захотят, БМП с пулеметами.

Такие примерно мысли возникают, когда я оказываюсь напротив огромного, в семь этажей сталинского дома, который ничем не отличается от соседних. Но это обман зрения: если усиленно поскрести по стенам дома, то, по идее, из образовавшейся дырки должна посыпаться соль. Ведь здесь изволит проживать «соль земли русской», молодые писатели и поэты, критики и переводчики, словом, будущее русской словесности, литературные студенты, которые в каждый приезд дают мне кров и пищу. Так что, случись чего, я лишусь и того, и другого.

А случиться может: напротив этой гигантской «солонки» приткнулись к деревьям две боевые машины пехоты с крупнокалиберными спаренными пулеметами на турелях. Стволы направлены прямо в окна, за которыми сочиняются вирши и романы, в одночасье могущие сделаться добычей пламени. Рукописи не горят, говорите? А вот мы щас попробуем зажигательным...

Подойдя поближе, вдруг слышу:

— Эй, стоять! Близко не подходить, а то...

Охраняющий БМП боец вскидывает автомат, и я поднимаю руки, мол, нихт шиссен! И боец, и боевые машины воспринимаются нездоровой частью мозга как реквизит какой-то «кинухи про войнушку», однако здоровая часть помнит: тебя, дружище, в любой момент может пошатнуть, а парень не так поймет, и...

Меня встречает комендант общежития, по совместительству — слушатель Высших литературных курсов. Видно, что слушатель с бодуна, выпить не на что, а тогда почему не порубить «капусты» на вахте? Время-то почти военное, а война, как известно, все списывает. Короче, комендант вместе с вахтером перекрывают путь и стоят неприступной крепостью, пока не сую купюру. Теперь подъем на седьмой этаж, комната критика Каткевича, и радостные объятия: здорово, дружище!

Мне тут же наливают водки, по ходу дела рассказывая о *событии*. Мол, позавчера такое было — полный п..ц! День рожденья сели отмечать (Каткевич сует ладонь: поздравь с тридцатником), налили по первой, и тут — стрельба! От Останкина, то есть, долетает канонада. Мы весь запас выпили за полчаса, и тут стихоплеты наши, Горлов с Балабиным, прибегают. Кричат: ура, идем козлов мочить! Каких козлов?! А любых, сегодня можно! А я им говорю: «Богатыри — не вы! Вы сами козлы, и вас первых замочат, так что лучше идите во вьетнамское общежитие и купите брату-критику водочки!» Вот они и купили — до сих пор пьем!

Через полчаса в комнату вползают Горлов и Балабин, похмеляться. Опрокидывают по первой, и тут же захлеб о том, что творилось у телевышки.

— Там ваще такая стрельба началась!! — таращит глаза Горлов, — Автоматы: та-та-та! Пулеметы: тах-тах-тах!

— А пушки...

— Не было пушек, не п..ди!

— Как это не было?! Пушки: трах! Трах!!

— Это тебе по башке вчера трахнули, когда водку ночью искали!

— А тебя...

Конец спорам кладет бультерьерша Машка, прикусив Горлова за икру.

— Вот зараза! Такая же, как ты, Каткевич, зараза! «Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу...» И собаку каждый выбирает по себе! Бультерьер — идеальная собака для критика! Верно, Балабин?

— Такие собаки — это аватары критиков. Вот, к примеру, жил в прошлом столетии критик Виссарион Белинский, так он наверняка в следующей жизни воплотился или в боксера, или в такого вот буля! Машка, то есть, Виссарион — держи колбаску!

— Эй, нечего собаку травить! Такую колбасу только поэты могут жрать, а нормальная собака сразу от нее ноги протянет! Ей же, кормилице, опять рожать скоро...

Каткевич ласково треплет Машку за холку. Он тоже слушатель ВЛК, живет тут постоянно, и собаку завел неспроста. Порода элитная, щенки стоят бешеных денег, проблема только в том, чтобы найти достойного кобеля. Треть помета критик отдавал хозяину оплодотворителя, остальные две трети реализовывал на Птичьем рынке и по нынешним временам, можно сказать, благоденствовал.

Улучив момент, выскальзываю из комнаты и спускаюсь на третий этаж. По дороге я наблюдаю то же пьяное сообщество, шатающееся из комнаты в комнату, курящее на лестнице и о чем-то спорящее. Тут, как я помнил, всегда спорили: о смерти романа, об исчерпанности силлабо-тонического стиха, о Бродском, о боге (Боге?), о роли водки в жизни русского литератора, а также о ее роли в смерти литератора. На этаже, где живет Лера, некто бородатый спорит с безбородым, возможно, о роли волосяного покрова на лице русского литератора. Огибаю спорящих, стучу в дверь, но в ответ тишина. Жду, стучу еще раз, потом заглядываю на кухню — Леры нет. И я возвращаюсь обратно.

У Каткевича еще один гость — прозаик Либерман, чьи национальные особенности обсуждают Горлов и Балабин.

— Ты пойми, — доказывает Горлов, — евреи — это основа русской поэзии двадцатого века! Пастернак, Мандельштам, Бродский... Это же позвоночник! Поэтому их нельзя выпускать из страны!

— Да ну их! — отмахивается Балабин, — Пусть линяют, если желание есть! Ветер в попу, как говорится!

— Ага, а потом мы будем слушать, как ты рифмуешь «ломать» — «твою мать»!

— А что? Клёвая рифма!

— Вообще-то, если вы о Либермане, — говорит Каткевич, — то он прозу пишет.

— Да? — озадачивается Горлов, — Тогда что ж... Тогда, наверное...

Каткевич разливает, потом обращается ко мне:

— А ты, никак, Валерию ищешь? Трудное дело, она теперь не каждый день здесь бывает. Она вообще слегка того... Сторониться стала нашего брата. Может, тоже лыжи смазывает? А, либер ты мой Ман, дорогой, так сказать, человечище, не берешь ли ты с собой в Израиловку драгоценную нашу Лерочку?

— Не беру... — морщится прозаик, — И вообще: чего вы этот базар затеяли? Имею право — и здесь торчать, и на землю предков ехать, если захочу. Могу даже двойное гражданство получить!

— Имеешь, имеешь... И я имею. И он, — критик указывает на меня, — имеет. Хочет — водку с нами пьет, а хочет — корриду в Испании смотрит. А, старик? Любишь корриду?

Каткевич хитро подмигивает, я же автоматически бросаю взгляд на тумбочку, где оставил синенькую папочку — ее там нет. Папочка появляется с извинениями, мол, точно такая же у меня для диплома куплена, я и заглянул! А там испанские, понимаешь, словеса, какая-то чернявая дама, ну, я и подумал: ты тоже линяешь за бугор — к фиктивной жене. А к Лерке приехал, чтобы попрощаться, мол, извини, родная, бежит, шумит Гвадалквивир, и я хочу жить на его брегах!

— Тебе тоже надо прозу писать, как Либерману, — говорю, пряча документы, — Целую новеллу сочинил!

— За прозу нынче платят хреново. И за критику — хреново, так что остается кто? Машенька родная, которой уже пора на прогулку. Не в службу, а в дружбу — прогуляй животное, а? Я что-то совсем тяжелый стал...

Мы обходим сталинскую «солонку». Беременная Машка переваливается с боку на бок, не торопясь, задирает ногу, я же озираю окна: первое, втрое, десятое... Леркино окно темное и непроглядное, как моя жизнь. Где ты, поклонница Заболоцкого и Кибирова, любительница сухого вина и огромных украшений, истеричка и самая ласковая женщина из тех, кого я знал? Может, ты вернулась к своему увечному мужу-художнику? Тогда ты живешь в таком же «страшном» промышленном центре, как мой, на седьмом этаже девятиэтажного дома, и твое утро начинается с перекатывания большого неуклюжего тела с кровати на коляску. Затем ты подкатываешь коляску к столу, кормишь супруга завтраком, а дальше весь день на побегушках: кисти помой, чаю принеси, на прогулку вывези. Когда ты выбегаешь в магазин, художник подъезжает к окну и ревниво наблюдает с седьмого этажа — не заговаривает ли

кто с тобой на улице? Не обнимает ли? Если же ты уходишь к маме или к подруге, он места себе не находит от ревности и потом долго выспрашивает о подробностях визита. Он — талант и требует, чтобы служили только ему; а твой Заболоцкий для него — звук пустой. И ты тоскуешь, раздражаешься, чахнешь под гнетом этого деспота и однажды говоришь, что должна пойти на поэтический вечер. На какой еще вечер?! На Кибирова, лепечешь ты, он к нам в ЛИТО приедет... Но тебе говорят, что скоро выставка, а значит, надо паковать отобранные картины. Ты говоришь, что упакуешь ночью, и тогда супруг вперяет в тебя подозрительный взгляд: к кому это ты так спешишь?! Хочу послушать поэта, говоришь ты, но тебе не верят, тянут за руку, когда же ты вырываешься, хватают за волосы и, намотав их на руку, пригибают лицо к полу. Вы сидите так полчаса, ты выслушиваешь все, что о тебе думают, а после с криком «Ненавижу!» вылетаешь вон из квартиры...

Впрочем, это дела минувших дней, а в одну воду Лера дважды входить не станет. Она могла уехать к тетке в Питер, поселиться у московской подруги, наконец, снять комнату. Я не желаю думать о появлении любовника (вариант: жениха), но подсознанию не прикажешь, и потому во время второго обхода вдруг кажется, что в ее окне ненадолго вспыхивает свет.

Что за чертовщина! Поднимаюсь с собакой на третий этаж, опять стучу в дверь, но в ответ тишина. И в душу, как говорится, закрадываются смутные подозрения. Я не имел права на подозрения, тем более на обиду, поскольку целых полгода не давал о себе знать. Наверное, сказался мужской эгоизм, нахальная уверенность в том, что нас должны ждать, как подводников из «автономки». А почему должны? В общем, до этого я честно держался, пригубливал лишь символически, но тут набулькал себе полный стакан и залпом опрокинул.

За время болезни я привык выпивать особым способом: вроде как сам с собой и в то же время — на двоих. Моим собутыльником был тот самый Меньер, которому я мысленно наливал, мы чокались (опять же мысленно), и водка благодатной струей обжигала внутренности. Головокружение не то, чтобы исчезало — оно как раз таки оставалось! — но не было унизительным, поскольку соответствовало выпитому. Как я выяснил опытным путем, нейтрализация Меньера обходилась грамм в двести — двести пятьдесят, здесь же я серьезно превысил дозу.

Потом были странные вспышки перед глазами, я что-то кричал о прорыве из «тоналя» на другую сторону бытия, а Каткевич хохотал — громко, как работающий рядом трактор. Неожиданно он превратился в Машку, которая вначале меня облизывала, а затем оказалась в телевизоре КВН и хорошо поставленным дикторским голосом пролаяла: «Обстрел дома правительства закончен! Жертв нет — за исключением одного приезжего, который пожаловал в столицу с целью лечения...» Не дожидаясь, когда наглая бультерьерша гавкнет моё имя, я пнул КВН ногой, последовала вспышка, а дальше — нахлынул блаженный мрак...

На следующий день министерство отдыхает — я в расслабоне. Когда к вечеру я спускаюсь на третий этаж, оказывается, что Леру только что видели. И на пятом этаже ее видели — не вижу только я, бегающий по комнатам, как угорелый и выспрашивающий о своей (своей ли?) пассии литературных студентов, которые а) штудируют учебники, б) готовят ужин, в) занимаются любовью, г) пьют водку, д) пьют водку, е) пьют водку... В одном месте мелькнуло знакомое лицо литератора из нашего «страшного города»; он усадил меня, налил водки, но я, маханув на ходу, ринулся дальше. Кажется, что Лера нарочно скрывается, и я, выскочив очередной раз к лифту, прислоняюсь к перилам, за которыми — металлическая сетка. Это специальная страховка от тех, кто бросается вниз головой, написав неудачную строфу или сдав на двойку старославянский: прыгай, если душа желает, только больше одного этажа не пролетишь.

Но я туда не брошусь, потому что помню: *Беспокойство неизбежно делает человека доступным, он непроизвольно раскрывается. Тревога заставляет его в отчаянии цепляться за что попало, а зацепившись, он уже обязан истощить либо себя, либо то, за что зацепился...*

— Ты меня искал? Ну, привет...

А я уже готов: перила то ли поворачиваются, то ли делаются ниже, и я с силой за них цепляюсь.

— Эй, что с тобой? Ты... пьяный, что ли?!

Нет, Лера, объяснения потом, не будем выяснять отношения на этом «юру». Подставь плечо, родная, и мы пойдем: по стеночке, по стеночке, а вот и триста семнадцатая...

Второй кровати нет, наверное, соседка нашла себе жилплощадь. Зато книг прибавилось, и все они какие-то яркие, бьют в глаза сочными цветами — или это опять маг и волшебник Проспер Меньер ради утешения расцвечивает серую картинку жизни? Меня усаживают на кровать, подтыкают подушку.

— Ну, так что случилось? — спрашивают вроде участливо, но в голосе пробивается раздражение.

— Выпил лишнего... — бормочу, не настроенный жаловаться, — С Каткевичем встретились, а этот барбос — сама знаешь...

Спустя полчаса раздражение не исчезает, даже наоборот. А что прикажете делать, если она фактически развелась со своим Ван Гогом?! После очередной дикой ссоры подала на развод, только тот и не подумал явиться в суд — этот «гений», видите ли, выше какого-то там судебного разбирательства! Жила у одной подруги, потом у другой, где однажды появился молодой человек — издатель из соседней области. К ним в город он приезжал по делам, реализовывал продукцию своего издательства и потому снимал квартиру. Та, правда, была нужна ему лишь два-три дня в месяц, и он с готовностью уступил ее Лере.

— Ах, вот как? И ты, конечно, пала в его объятья во время очередного приезда, не так ли?!

Реплика звучит шутливо, но спина Леры, курящей у форточки, вдруг застывает, и я вижу торчащие под свитером острые лопатки.

— Может, и пала, но это, извини, не твое дело! Ты же появляешься...

— Сам знаю — редко. И что дальше?

А дальше о съемной квартире узнает ее супруг, звонит и закатывает истерику, мол, и тебе, и ему — не жить! Преданных поклонников у местного Пикассо хватает, так что у издателя вскоре начинаются неприятности. Клеветнические статьи в местной газете, письма в прокуратуру, проверки, потом отказ в аренде склада. Издатель понимает, что вляпался в историю, просит ее съехать с квартиры, но Леру все равно продолжают преследовать, и она бежит в столицу.

Затяжка, после чего новый поток надрыва, обиды, причем я, чувствую, тоже один из обвиняемых. Мы все скоты, она в этом убедилась, и вообще тут кругом — скоты! Щелчок пальцами, и в форточку улетает красный огонек. Пауза, затем я выдавливаю:

— Слушай, хочу спросить... А где те серьги, ну, из этнографической коллекции?

Лера механически ощупывает мочку — в уши вдеты небольшие, но, видно, дорогие сережки с камнями.

— Лежат где-то... Ладно, ужинать будешь?

Она удаляется в кухню, я же укладываюсь на кровать, моля небесные силы: избавьте меня от головокружений хотя бы на сегодня! Протягиваю руку к полке и, не глядя, срываю что-то красное, будто книжку перед выходом в свет опустили в бачок с кровью. Название соответствующее — «Кровавая баня», но внутрь я не заглядываю, боясь, что голова будет идти кругом до утра.

Это, как поясняет Лера, подарки того самого издателя. Сам он такого дерьма не читает, чистоплюй, зато издает тоннами!

Она не просто раздражена — она агрессивна, чего раньше за ней не замечалось. Вообще появилось много непривычного: серьги, дорогая вырезка, не менее дорогая спаржа (раньше кормила сосисками), и стрижка новая: короткая, и пряди разных оттенков. Может, думаю, попросить почитать стихи? Во время чтения заостренное лицо Леры разглаживалось, лихорадка из глаз уходила, и в них появлялось мерцание, идущее откуда-то из глубины. Хорошие ли это были стихи? На мой вкус, хорошие (Каткевич порой критиковал, но он же и есть — критик!). А главное, после этого Лера шла на все, она делалась почти пластилиновая...

В этот момент, однако, врываются Горлов с Балабиным, запирают дверь и прикладывают пальцы к губам, мол, т-сс! Эй, в чем дело?! Тут вообще-то ужин при свечах, а вы...

— Спецназовцы шмон проводят! — шепчет Горлов, — Они теперь каждый вечер сюда ходят, ищут кого-то! Таджика с пятого этажа сейчас так отмудохали — скорую впору вызвать! А виноват он только в том, что разрез глаз не тот!

— «А виноват ты в том, что хочется мне кушать...», — бормочет Балабин и втягивает носом воздух, — мне, между прочим, хочется кушать! А тебе, Горлов?

— Аск! То есть, йес, натюрлих! А это, так сказать, от нашего стола — вашему столу!

Они выставляют водку, усаживаются и лезут в сковороду. В коридоре грохочут кованые ботинки, в дверь стучат, но поэты красноречивыми жестами призывают соблюдать тишину. Оба давятся от смеха и, когда топот стихает, начинают шепотом, со всхрюкиванием петь: «Вихри враждебные веют над нами». Мы же с Лерой, кажется, рады, что можно молча наблюдать за двумя придурками и не терзать себя дежурными словами...

— Ты где будешь спать? У меня есть лишний матрас, могу постелить на полу.

Слабая надежда (мол, постель все поправит) гаснет. Я пожимаю плечами, а Лера, доставая из шкафа матрас, говорит:

— Не обижайся, у меня... В общем, у меня месячные.

Я не обижаюсь, я привык. Я не хочу *истощить то, за что зацепился*, у меня в жизни это уже было, причем совсем недавно.

4

Когда небоскреб на Смоленской распахнул таки двери, я выстоял полтора часа, чтобы узнать: они не визируют документы без визы Министерства юстиции! Я уперся: не занимайтесь бюрократией, какая разница: кто первый?! Я же потом все равно в посольство бумаги понесу, там обязательно проверят: все ли визы на месте? Однако дама в сером пиджаке уже смотрела сквозь меня, они это умеют: выключают тебя из поля зрения, и ты превращаешься в нечто эфемерное, как душа покойника. Я вяло спросил про начальство, но чиновница уже занималась другим клиентом, который поглядывал в мою сторону с осуждением, мол, не отвлекай важного человека!

— Что вы на меня так смотрите? — спросил я, — У вас все в порядке? Вот и радуйтесь!

— Не грубите, молодой человек. — сказала дама в пиджаке, — К тому же вы, кажется, не совсем трезвы, и мне, возможно, придется вызвать охрану...

От волнения меня качнуло, я схватился за край стола, и клиент с чиновницей переглянулись: с этим все ясно! Я вышел наружу. Только на ступенях вспомнил, что забыл спросить адрес Минюста. Я озирал черные авто, выходящих из них людей, и смаковал сумасшедшую мысль: а слабо подойти вон к тому, в сером костюме с отливом, что так спешит к парадному подъезду? Вокруг него — четверо серьезных ребят, прикрывают со всех сторон, но я ведь не бомбист, я обычный проситель. Не скажете ли, господин хороший, как пройти к одному учреждению? Нет, это не МИД, помельче контора, но тоже пишет, и визы ставит, ага!

Понятно, что я не подошел. Я двинул на Арбат, мысленно загадав: спрашиваю пять человек подряд и, если никто не назовет адрес, двигаю к Сашке в Гидрометцентр. Первый и второй — не знают. Третий долго думает, потом качает головой, мол, увы! Четвертый оказывается приезжим и, в свою очередь, спрашивает, как пройти на Пушкинскую площадь. Пятого я уже долго выбирал, чтобы полный дебил оказался (ну, не хотелось мне ни в какой Минюст!).

— Адрес я знаю, — ответил мужик в странной, не по погоде меховой кепке, — Только зачем он тебе?

— Визу получить... — пробормотал я.

— А зачем тебе виза?

— Ну, в посольство потом пойти...

— Все ясно... — кепка понимающе усмехнулась, — Еврей, значит? В родные края собрался?

— С чего вы взяли, что я — еврей?

— Так видно же! Вашего брата за версту видно! И я тебе скажу: правильно, уезжай! Все уезжайте, только не забудьте прихватить с собой вашего е..го президента и его супружницу! Обязательно заберите их с собой!

Воровато оглядевшись (сам, наверное, испугался своей смелости), обладатель кепки быстро двинул в переулок. А я стоял, разинув рот и не успев высказаться. Козел, спору нет, но в чем-то и молодец: адрес-то он не назвал, а значит — на свободу с чистой совестью!!

Спустя полчаса я на «Краснопресненской», двигаю вперед и вверх — за Дом кино, в скромное зданьице, где заведуют погодой великие шаманы. Надежда миллионов, выходящих из дому в дождь и зной, в мороз и снегопад, повелители бурь и ливней, они угадывали (иногда) движенье атмосферы, чувствовали, как дышат стихиали, и тогда им мысленно возносили молитву благодарности. Но чаще бывало, что не угадывали, и вслед им сыпались проклятия замерзающих и мокнущих под дождем.

На проходной, однако, ждет облом — охранник заявляет, что Александра Выдрина нет на работе. Как это нет?! А вот так, тут люди должны были все выходные сидеть безвылазно, когда снаряды летали над головами! Имеют они после такого ужаса право на отдых?! Вахтер был важный, подкручивал ус, но и я решил не сдаваться.

— Это все иллюзии, — говорю, — Иллюзорные конфликты, и ужас — иллюзорный.

— Как это понимать?! — выкатывает глаза охранник.

— Как царство лжи, — отвечаю, — *Ложь лежит в основе всего, само описание этого мира есть ложь*, понимаете?

— Понимаю, понимаю... — прищуривается охранник, — Ты сам-то где был? Ну, когда каша заварилась?

— В Караганде, — отвечаю, что, в принципе, недалеко от истины. К счастью, в проходную вбегает Выдрин с пакетами в руках и утаскивает меня наверх.

Все было правдой: Сашка с коллегами дежурили здесь в выходные (обычное дежурство), когда началась ужасающая стрельба из танковых орудий. Они не сразу поверили в происходящее, но потом... Выдрин тянет к окну, мол, вон тот дом пятиэтажный видишь? А дырку в крыше? Ну, как же, вон она, чернеет, еще и не заделывали! Так это, между прочим, снаряд: обычный перелет, и вот, едва не угробили кучу людей! А вон на той крыше снайпер прятался, по людям лупил то ли из карабина, то ли из охотничьего ружья. Что ты — по этому переулку было просто не пройти! Верка Калязина, моя подчиненная, сунулась было к дверям, а с крыши: бабах! Потом еще — бабах! Так она, бедная, до сих пор на работе не появляется!

— Кстати, жрать хочешь? А то я тут прикупил кое-что, начальник попросил. Помнишь Михалыча? Сейчас придет, кофе пить будем!

Худого и лысого Бориса Михайловича я вспоминаю сразу — в прошлый раз, когда пили кое-что покрепче кофе, я приставал к нему с просьбой дать прогноз погоды в Крыму (мы собирались туда с Лерой, но не поехали — муж не пустил). Теперь я молчу, а Борис Михайлович включается в дуэт: пожар в Белом доме... Выстрелы бронебойными... Нет, ну почему сразу не сдаться?! Ведь сила солому... А принципы? Какие еще, на фиг, принципы?! Это же абсолютно беспринципные политиканы, только кучу людей положили!

Они явно не могут отойти от *события*, которое придает их жизни смысл и величие, вытаскивает их за воротник в те области, где поворотные моменты Истории запечатлеваются на скрижалях, и есть шанс где-нибудь в уголке выбить петитом свое скромное имя. Борис Михайлович, к примеру, выбил — как начальник, он двинулся разбираться в обстановке, но был остановлен оцеплением и препровожден в кутузку. Офицер звонил в ГМЦ, потом в Госкомитет по метеорологии и лишь спустя три часа (когда сотрудники уже едва не поминки устроили), усталый, но довольный Борис Михайлович вернулся в объятья подчиненных.

— Они ведь собирались... — начальник смущенно улыбается, — Как бы это сказать... Ну, чуть ли не расстрелять меня! Представляете? Расстрелять, потому что считали: я выбежал ОТТУДА и пытаюсь просочиться через оцепление!

И что говорить? Понятно же, что информация предназначена для меня, и должно как-то реагировать.

— *«Без осознания смерти,* — цитирую я, — *человек остается всего лишь обычным человеком. Когда ты в нетерпении — оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной чепухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, если краем глаза ты уловишь ее движение или просто почувствуешь, что твой попутчик — всегда рядом и все время внимательно за тобой наблюдает».*

Борис Михайлович бросает недоуменный взгляд на Выдрина. Тот тушуется:

— Ну да, конечно... Слушай, а как на родине-то дела? Как город?

— В отношении экологии, — говорю, — у нас явные улучшения. Трубы не дымят, в речку отходы не спускают — просто красота! Но событий не густо — мы не Москва. А вообще — приезжай, сам все увидишь.

Сашка проводит рукой по горлу, мол, работы — завал, и зависает пауза. Ей-богу, мне стыдно того, что *событие* столь мало меня занимает, но что поделаешь? Вот и начальник вынужден покинуть кабинет; потом, наверное, вызовет Сашку и отчитает: зачем, мол, в рабочее время всяких охламонов принимаешь? Премии лишиться хочешь?! Сашка крутит ручки на приборах, на одном я замечаю светящуюся карту полушарий и неожиданно для себя спрашиваю:

— Слушай, а ты можешь узнать: какая сейчас погода в Мексике?

— А зачем тебе — в Мексике?

— Одна знакомая туда поехала, поэтому интересуюсь: не жарко ли ей там?

— Ну, если знакомая, то узнать можно...

Включив прибор, Сашка сообщает, мол, в Мехико — тридцать пять, на побережье чуть прохладнее, осадков не ожидается. После чего опять молчим, хотя меня так и подмывает пожаловаться, мол, в голове сквозняк, а в жизни бардак: от одной женщины сбежал, а та, к которой приехал, ведет себя странно. При этом в сумке у меня документы еще одной женщины, явно сумасшедшей, рванувшей туда, где в октябре тридцать пять выше нуля, и население, защищаясь от солнца, ходит в сомбреро. «Ну, даешь... — приятель покрутил бы у виска, — думаю, ты сам не лучше этой сумасшедшей!» «Да? Тогда я не буду у тебя спрашивать адрес Министерства юстиции. Я просто туда не пойду; и в посольство тоже не пойду. Потому что *у воина нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях единственное, что связывает его с ближними — это контролируемая глупость...*

Я мог бы процитировать это Сашке, но вряд ли нашел бы понимание.

5

Москва гудит разговорами в транспорте, вспыхивает уличной полемикой и толпится у газетных стендов со свежими выпусками. Я тоже останавливаюсь, чтобы прочитать о БТРе, который обстрелял машину марки «Форд» — в итоге троих с тяжелыми ранениями доставили в Склифосовского. Что ж, еще повезло, во всяком случае, в сравнении с лейтенантом милиции, что стоял на

балконе гостиницы «Украина» и по заданию начальства снимал операцию захвата БД на видеокамеру. Нашелся какой-то снайпер, «снял» оператора с балкона, и у кого-то в доме — гроб. «Сколько будет гробов?» — задавался вопросом один из коллег-журналистов и сам же отвечал: об этом, вероятно, мы никогда не узнаем. Зато мы знаем, например, о слесаре Войтенко, который мирно ехал на велосипеде мимо здания Останкино, потому что у него была вторая смена, а жил он на улице Цандера. Ехал, остановился посмотреть на толпу у телецентра, вдруг — шальной «трассер», и опять гроб! То есть, «попутчик» здесь погулял от души, захватил с собой в далекий путь не один десяток зевак и исполняющих воинский долг.

Я озираю крыши окрестных домов, и по спине пробегает холодок. Может, там действительно кто-то до сих пор прячется по чердакам и хладнокровно прицеливается сейчас в прохожих? Я спускаюсь к реке, вижу на ступенях мэрии людей с автоматами и топаю мимо. Зато в начале моста через Москву-реку — вполне мирная толпа самодеятельных фотографов, щелкающих затворами. Речь разноязыкая, жесты оживленные, кто-то даже цокает языком, мол, the best! Гут, «карашо», отшень, знаете ли, замечательный будет фото!

Мощное белое здание с закругленным центральным корпусом напоминает огромного молочного поросенка, которого в некоторых местах подпалили паяльной лампой. Гигантская горелка здорово прошлась по фасаду, лизнула пламенем левый край, но, можно считать, пощадила этого закормленного порося... Что?! Нет, увольте, я «не карашо» себя чувствую, поэтому не смогу вас сфотографировать! Отказываю я пожилой улыбчивой паре, судя по выговору — немцам. Они же хлопают меня по плечу, дескать, не переживай, камрад, Рейхстаг в свое время выглядел хуже, затем обращаются к кому-то из толпы и, отойдя к перилам и обнявшись, дружно говорят «чи-из». Почему-то они меня раздражают. На мосту останавливается автобус, оттуда высыпает еще группа иностранцев, и опять слышится приглушенное: «Ва-ау!», а далее — треск фотоаппаратов.

— Айм сорри... — тихо говорят сзади, — Фуражка — йес? Эми фуражка, армейская! Тэн долларс, почти задаром!

Некто с глазами наркомана сует офицерскую фуражку, кося глазами по сторонам. Я молча берусь примерять, лихо сбиваю фуражку на бок, как это делали донские казаки, и наркоман выставляет большой палец вверх, мол, круто! А затем для доходчивости растопыривает все десять пальцев:

— Тэн!

Я, однако, возвращаю товар.

— Извини, родной, но я — пострадавший на армейской службе. Офицеров же в особенности не люблю!

Тот быстро прячет фуражку, шипя: вот мудила, зачем тогда мерить берешься?! Нет, *такая* глупость — уже не контролируемая,

и вообще надо отсюда сваливать. Я действительно (прав торговец!) мудила, который будет ходить по инстанциям, пока не рухнет на каких-нибудь ступенях, как жертва кровожадных ацтеков. Или кровожадных майя? Я не был знатоком далекой Мексики, точнее, мои знания имел вид пончо, сшитого из лоскутов, а местами просто дырявого.

Первое представление о Мексике имело вид улыбчивого человека с гитарой и в широкополой шляпе сомбреро — именно так выглядели на афишах мексиканцы, приезжавшие в наш «страшный город» с концертами не помню в каком советском году. И меня очень удивит, когда в одной из детских книжек я прочитаю об их жестоких предках, индейцах майя, что приносили человеческие жертвы своим жутким богам, а с пленных сдирали кожу и вырывали у них сердца, чтобы тоже принести в жертву. В моем сознании как-то плохо совмещались человек с гитарой — и человек с обсидиановым ножом, которым рассекают грудную клетку, чтобы извлечь пульсирующий кровавый сгусток и ритуально его сжечь. Соединились эти два образа позже, в книжке, которая называлась «Хуан Маркадо, мститель из Техаса». Во время освободительной войны этот парень мочил янки, почем зря, отправлял их на тот свет сотнями и в то же время был весельчак, опять же, носил сомбреро, и я, разумеется, был на стороне Хуана. Как ни странно, Эрнан Кортес, мочивший мрачных язычников, никакой симпатии не вызывал, напротив, я всей душой сочувствовал вождю ацтеков Монтесуме, которого конкистадоры пытали, укладывали на раскаленный лист железа, но он так и не сказал, где лежит золото предков. Далее была Олимпиада в Мехико, песня Пахмутовой, где упоминался загадочный парк «Чапультапек», а спустя какое-то время я прочитаю о том, как варварски, совсем в духе майя или ацтеков, в Мексике грохнули товарища Троцкого, причем сделал это некто Меркадер (Маркадо?).

Дополнил знания о Мексике Ник, правда, в его представлении это была не столько страна, сколько Место, где привычная реальность превращалась в нечто иное, где пространство сворачивалось, а время останавливалось или вообще текло вспять. Открыл этот мир один аспирант калифорнийского университета, когда отправился в обычную этнографическую экспедицию, а нашел целую Вселенную, которая существует на расстоянии вытянутой руки, но от нас, незрячих, далека, как туманность Андромеды. Значит, с пафосом говорил Ник, надо стать зрячим, надо попасть за пределы «пузыря»! И мы, под рюмку или под «косяк», прорывались в нашу «Мексику», выпрыгивая из омерзительных и тошнотворных будней.

Знакомство с Меньером еще больше укрепило веру в другие миры. Во время приступов стены падали на меня, под ногами разверзались пропасти, и, конечно же, вспоминались индейские гуру, утверждавшие: привычный мир — всего лишь одно из его описаний. Иногда я материл подлого француза последними сло-

вами, порой же замирал, пораженный и даже благодарный за то, что с жизни соскребли шелуху, сняли камуфляж, и она предстала во всем своем необычном и чудовищном естестве...

Я перехожу опустевшую проезжую часть, и в этот момент на мост въезжает машина. Кажется, что она черная, но вблизи оказывается красной, главное же, она едет прямо на меня! И быстро едет! Мы вроде как попадаем в два разных временных потока, я в замедленный, машина — в убыстренный, а тогда: здравствуй, крематорий! Самое же удивительное, что сцена происходит почти в полной тишине (опять заложило уши), хотя тачка, похоже, во всю мочь сигналит!

Некто из другого временного потока дергает за локоть, вырывая меня из-под колес, визжат тормоза, и сквозь вату пробивается: урод... пидор... из-за таких в тюрьму... В ответ возражают, мол, растерялся человек, поймите его! Его?! Да пошел он! Я сижу на поребрике, унимая дрожь в руках и поглядывая на моего спасителя. Он огромный, в спортивной куртке, а на лице — смешные пшеничные усы, как у певца Мулявина. Разъяренный водитель, напротив, сухощавый, черненький, небольшого роста, прямо Меркадер какой-то. Плюнув на прощанье, Меркадер залезает в машину, дает по газам, а спаситель, потрепав за плечо, говорит: осторожнее надо, братишка! Как самочувствие? Ничего? Ну, тогда я пошел!

Судьба (а это судьба!) имеет широкую спину, которую пересекает белая надпись Nike. Надо же, всего полчаса назад я призывал вступать в диалог с попутчиком по имени «смерть» и вот — вступил! Так вступил, что до сих пор поджилки трясутся...

6

Год назад я уже вступал в такой диалог — и тоже безуспешно.

Это произошло в Октябрьском районе нашего «страшного» города, где расположена дамба, а за ней простирается огромный живописный овраг, на дне которого среди густой листвы сереют и краснеют крыши многочисленных частных домов. Рядом с некоторыми крышами в воздух поднимаются струйки, столбики и столбы дыма — это, никого не стесняясь, гонят самогон. Раньше, лет семь-восемь назад, тоже гнали, но тогда преобладали струйки; теперь же, в годы стагнации, небо подпирали по преимуществу дымные столбы, то есть, гнали в основном на продажу. Не занимался самогоноварением, пожалуй, лишь Саня Белкин, поскольку когда-то ушел в буддизм и, сидя в своем частном владении под яблоней (за неимением смоковницы) с утра до вечера пребывал в медитации. Он говорил: «Спиртное само по себе провоцирует желания, а значит, и страдания. А его производство — это просто безумие, это вечное кружение в колесе сансары!» Однако к женщинам, которые тоже, если вдуматься, «провоцируют желания», Белкин относился не столь сурово и вскоре после моей свадьбы же-

нился. Правда, с умыслом — памятуя о вероисповедании подопечных Кирсана Илюмжинова, взял в жены калмычку Катю. «Долго невесту искал?» — спросил его Ник, — В Элисту, наверное, специально ездил?». Однако Катя жила у нас, в Заводском районе, работала в ресторане поварихой и, между нами говоря, к буддизму относилась «положительно», то есть, клала на него с прибором. Но, имея маленькую дочку на руках, она по-женски хитрила и что-то плела Белкину про буддийские монастыри на ее исторической родине, куда они обязательно поедут все вместе. Она была смешливая, живая, житейски неприхотливая, классно готовила русские борщи и солянки и, честно говоря, после очередной атаки стран «Варшавского блока» я даже завидовал Белкину: повезло же человеку со спутницей жизни!

Катю вместе с дочкой Светочкой нашли на краю оврага, где начинается сосновая роща, переходящая в настоящий лес. Убийц тоже вскоре нашли — это были отец и сын, одни из самых отъявленных самогонщиков в районе, которым после многократного апробирования своей продукции не понравилась соседка-азиатка и ее маленькая дочурка, а тут под рукой оказались топоры, ну и...

Убийство всколыхнуло «страшный город», который загудел, забурлил, дружно призывая кары небесные на головы убийц. Кажется, мы тогда единственный раз за последние годы были единодушны с Горынычем, и тот без разговоров разрешил опубликовать сумбурный (меня буквально корежило, когда писал), но пафосный очерк о состоянии криминальных дел в нашем проклятом промышленном центре. Находились, конечно, и те, кто злобно бурчал о «понаехавших черных», мол, так им и надо, но таких было меньшинство. И только Белкин оставался спокойным, каким-то отрешенным, во всяком случае. Этому спокойствию поразился даже Ник, который вообще-то уважал безукоризненное следование выбранной жизненной стратегии.

— Не понимаю, что с ним? — удивлялся Ник, — Ступор, что ли?

Когда же мы спросили об этом Белкина, тот сморщился и тихо проговорил:

— Смерти — нет, неужели вы этого не понимаете? А если есть, то она, возможно, не зло, как принято считать, а как раз наоборот...

— Ну да, ну да... — пробормотал Ник, — Ты вообще-то молодец, я думал, тебе на уколах придется держаться...

Странно, но тогда вдруг захотелось точно также преодолеть банальный ужас перед безносой, стать выше слезного хлюпанья и зубовного скрежета, и я, помнится, во время похорон старался как-то соответствовать невозмутимому Белкину. А тот, как я заметил, с вниманием присматривался к двум черноволосым парням — Катиным братьям, которые прикатили из Элисты на похороны (их родители умерли). Поначалу те тоже были непроницаемы, почти ничего не говорили, но на кладбище, перед опусканием

гробов в землю, вдруг разрыдались, заголосили, по бабьи размазывая слезы... Толпа людей (а там была действительно толпа) тоже завыла-заголосила, и меня прошиб вначале тоскливый ужас, а потом и слеза пробила: эх, Катя, Катя... Но перед тем, как глаза подернулись пеленой, я успел заметить, что Саня поморщился, дескать, хреновые буддисты, не довели роль до конца.

И на девятинах, и на сороковинах Белкин был такой же непрошибаемый, за него слезы лила мамаша, которая в калмыцкой невестке души не чаяла, да и в приемной внучке — тоже. Интерес в Белкине проснулся, только когда начался суд. Процесс был открытый, народ ходил туда, как на зрелище, культивируя в душе тот самый праведный гнев. Белкин же со странной улыбочкой разглядывал подсудимых — седого коротко стриженого папашу и долговязого, с длинными сальными патлами и с бегающими глазами сыночка. Дело было ясным и безоблачным, как небо над Испанией, но защита начала вдруг проталкивать тезис о том, что Катя, дескать, имела связь с патлатым сыночком, сама его и соблазнила, а в день убийства закатила сцену, требуя, чтобы тот на ней женился. Ежу было понятно, что ребятам требовались смягчающие обстоятельства, и их высосали из пальца.

На процесс высасывания и обсасывания Белкин глядел с той же улыбочкой, чем-то напоминая бесстрастного Будду. Когда объявили неожиданно мягкий приговор, и папаша с сыночком, переглянувшись, не сдержали радостных оскалов (сработала защита!), а зал недовольно загудел, улыбочка оставалась на лице, как приклеенная. Но на улице Будда исчез, словно его и не было никогда: на грязном асфальте валялся и выл совсем другой человек, хрипя: «Ненавижу!! Ненавижу здесь все!! Здесь никогда ничего хорошего не будет, это проклятая жизнь!» Белкина отпаивали валерьянкой, но тогда будто прорвало плотину, которая три месяца сдерживала поток злобы и ярости и, наконец, рухнула.

Белкин попал на неделю в больницу, а по выходу начал лихорадочно собирать документы на отъезд. Разыскал какую-то еврейскую родню, обменял паспорт, а поскольку Германия начала в массовом порядке принимать иудейский народ на ПМЖ, то спустя полгода оказался в Ганновере. С нами он почти не общался, если раскрывал рот, то произносил одно и то же: ненавижу, это проклятая жизнь, здесь ничего хорошего не будет! Когда же уехал, то и вовсе замолчал, даже матери почти не звонил.

Вот почему, лежа на продавленном диване Каткевича, я думаю: «Может, зря я суечусь? Здесь действительно ни хрена хорошего, едва гражданская война не грянула, а тогда пусть лучше мать-одиночка Ирина Мищук останется в Мексике!» Мысли провоцирует не столько гуманизм, сколько лень — я ведь так и не узнал адрес Минюста. Обещавший помочь Каткевич застрял в институте, я же охраняю Машку, которая вот-вот разродится. «Везет тебе, животина, — думаю, глядя в слезящиеся глаза собаки, — Твои отпрыски попадут в богатые семейства, будут жрать из се-

ребряных (как минимум, из пластиковых) мисок и, в сущности, горя не знать. А человеческие детеныши? Взять, к примеру, мальчика Гену, которого мамаша увезла в Мексику. Там, конечно, не долбят бронебойными снарядами парламенты, зато случаются землетрясения, царит антисанитария, летает муха це-це. А мой сын? Варшавские и так его строят, как первогодка в армии, а теперь еще про отца мерзости начнут сочинять! И пусть отец я хреновый, но пацан-то меня любит! А маленькая девочка, у которой были раскосые глаза? Эти глаза не понравились двум накачанным самогоном выродкам, и они...» Машка тяжело поднимается, ковыляет к миске (обычной, металлической), я же, чтобы не раскисать, в очередной раз спускаюсь вниз, к телефону.

— Але! Але! Где она?! Не знаете?!

Отвечает голос с акцентом — Лера оставила телефон какой-то иностранки, вроде бы подданной Швеции, и та поначалу с нордическим спокойствием предлагала позвонить позже. Однако с третьего раза в голосе начали прорываться раздраженные ноты, дескать, это не есть прилично — звонить через каждые половина часа! Один раз показалось, что трубку прикрыли рукой, задали кому-то вопрос, а потом опять — не знаю, где есть Валера!

Не исключено, что она тоже смазывает лыжи, чтобы укатить в Швецию, выскочить замуж и переквалифицироваться из поэтессы в добропорядочную «фру». Лера говорила, что ее новая подруга работает в «Русско-шведском форуме» — именно такие конторы, как мне представляется, занимаются вывозом русских невест.

— Ты вот что... Не светись особо, ладно? А то нас по два раза в день шмонают...

Это комендант, он опять торчит на вахте, взирая на меня калмыцкими (поскольку фэйс опух) глазами. Я понимаю намек, достаю купюру, и та исчезает в широких штанинах. Этот комендант с ВЛК, говорят, три года назад неплохо отхватил за вышедший большим тиражом роман, но инфляция и порочный образ жизни, как видно, давно уничтожили гонорар...

— И все-таки не светись, по дружбе говорю. Эти ребята, кажется, всю жизнь готовились к таким денькам, сейчас — их время. Меня ведь тут каждая собака знает, а тоже вчера чуть не огреб от патруля! Они заходят, а мы, значит, винцом балуемся. Как, восклицает майор, во время комендантского часа — пьянствуем?! Не поло-ожено! В это время разрешается пить только абсент! Берет две бутылки вина, выливает в чайник с водой, а значит, продукт испорчен!

— Зато, — говорю, — радует повышение образовательного уровня наших патрулей. Они уже и про абсент знают, глядишь — скоро будете беседовать про Ренуара.

— Да уж, повышение... Этот майор, между прочим, потом вышел, а двое его подручных в масках — нас мордой в пол!

На седьмом этаже, перед выходом из лифта лежит гигантское (так представляется на первый взгляд) тело: кажется, разлегся некий Гаргантюа, поглотив невероятное количество еды и, конечно же, выпивки. Осторожно перешагнув тело, разглядываю спящего гиганта. Ноги-руки вразлет, «борода лопатой» задрана вверх, и храп такой, что вздрагивает решетка лифта. Где-то я этого персонажа видел, но вертикальное положение и горизонтальное — две вещи несовместные, и я никак не могу вспомнить: где именно? И кто он такой?

Объяснения получаю от Либермана, который двигается через площадку с дымящейся сковородкой в руках. Это, мол, Коровин, заочник с пятого курса. Может, убрать его отсюда? Его?! Да этот гад у меня еще в прошлую сессию деньги занимал — до сих пор не вернул! Но ведь тут патрули шастают, измочалят мужика. И поделом! Храпящий заочник и мне не внушает симпатии, но что-то не дает уйти, и я, взявшись за ногу, спрашиваю: куда тащить?

— В семьсот пятую... — бурчит Либерман, — ладно, подожди, я только сковороду отнесу!

Поднять Гаргантюа-Коровина не получается, и мы тащим тело в комнату, благо, она недалеко. В комнате чудовищный кавардак, в ноздри бьет запах нестиранных носков вперемешку с перегаром, отчего я морщусь, а Либерман хмыкает:

— Ты бы еще почитал, что он пишет! Новый стиль, я его называю: «ивангордизм»!

— Неплохо сказано... Сам придумал?

— Вычитал. Но в полемике не употребляю — сам понимаешь, Либерман за такое может и огрести. Поэтому — дарю! Ты, кстати, жрать хочешь?

За ужином я опять завожу бодягу про Мексику, дескать, навязалась она на мою голову, лучше бы сразу отказался от этого дела! Либерман вдруг задумывается, потом выдает:

— «В Мексику можно только верить!»

Я удивленно на него гляжу, потом усмехаюсь.

— Сам придумал?

— Вычитал. Это, между прочим, Карлос Фуэнтес сказал.

— Плагиатор! — убежденно говорю, — Кстати: ты не знаешь, где находится Министерство юстиции?

— Знаю, конечно. Я даже знаю, где находится «Сохнут», но тебе, как я понимаю, туда не надо.

(*Окончание в сл. номере*)

Инга ПИДЕВИЧ

/ Шверин /

Январь в Померании[1]

Перекрестья червлёных ветвей —
Чёткой вязью в лазури небесной.
Кроны вязов, берёз, тополей
Чуть колышет дыхание веста.

Маргариток доверчивый взгляд.
Томность, лад и покой на лужайке.
Кот на травке понежиться рад.
Рядом бродят озёрные чайки.

Час прошёл, и стихия лютует,
Будто зверь, в перелесках рычит.
Ветер воет, шипит, негодует
И на юг угрожающе мчит.

А назавтра — снежок. Дня на два.
Он сошёл — зеленеет трава.

Июльская жара

Висит жара, и плавятся мозги.
Торчит трава белёсою щетиной.
Цветов уныло никнут лепестки.
День тянется неумолимо длинный.
Под краном кот устроился и ждёт,
Когда на шубку капля упадёт.

[1] Стихи взяты из книги «Мой окоём», готовящейся к печати в издательстве «Алетейя» (СПб)

* * *

Души заветная шкатулка
Хранит подарки детских дней:
Тепло родного переулка,
Манящий звук игры детей,

Булыжник мостовой тогдашней,
По талым водам быстрый бег
Отважной лодочки бумажной
В таинственность подземных рек,

Из мыльных пузырей армаду,
Летящую через забор,
Шаров их радужных отраду,
Призыв к полёту и задор...

Виденья давних детских лет
До старости нам дарят свет.

* * *

Ты пришёл в мой самый чёрный час,
Жизни свет тогда дрожал и гас.
Ты помог мне в бедах устоять,
Прочный мир любви для нас создать.
Рыцарь, заглянувший в жёсткий век,
Светлый, чуть наивный человек.

* * *

Путь рассеянья горек всегда.
Чужака отторгает среда.
Самобытность не вытравишь ты,
О надёжности выкинь мечты.
Да и вытравишь, вспомнят потом,
Что на почве чужой строил дом.
Исключенья хоть знает закон,
Тяжких жертв у него — легион...

* * *

Одиночество бьётся и стонет,
В сердце тяжесть свинцовой тоски.
Нет его. Жизнь копейки не стоит.
Все дороги ведут в тупики.

Позабыть, заменить невозможно,
Потому что не нужен другой.
Возвращение к жизни так сложно.
Это бой за себя и с собой.

Борис РУБЛОВ

/ Кёльн /

Поклонница Фрейда[1]

эротический рассказ

1

Квартира в центре Москвы, где проживал журналист Кавригин, находилась в одном из Арбатских переулков. В доме скрежетали дрели и пилы, стучали молотки, сияли белоснежные рамы окон. Среди строительного мусора во дворе громоздились картонные коробки и деревянные ящики с иностранными наклейками.

— Новые русские рубят вишнёвый сад, — сказал Кавригин.

Двухкомнатная запущенная квартира была заставлена добротной, но не новой мебелью из «Берёзки». Гардероб хозяина в шкафу был невелик. Парадно выглядели ванная и туалет. Там всё сверкало и благоухало. Зеркала отражали стены, покрытые новым кафелем, яркие пластмассовые флаконы с шампунями и дезодорантами. На крючках из кафеля висели разноцветные полотенца.

— Меня иногда посещают женщины, — скромно заметил Кавригин.

В глазах окружающих он был успешным журналистом, к тому же знатоком театра и телеведущим. При скромном гардеробе одевался с «иголочки»; вслепую завязывал галстук. Его дорогие, но не новые вещи, отутюженные умелыми женскими руками, выглядели элегантно как для выставки моделей.

Роль метра в глазах простого паренька с периферии тешила его сознание. Он любил очаровывать всех, не только женщин.

Миша, хоть и робкого десятка, был начитан, обладал хорошей памятью и вкусом, свободно читал по-английски без словаря; пробовал писать, но не обладал литературным опытом. Начинающему писателю, не знавшему жизни и берущему героев из прочитанных книг, советы Аскольда могли принести пользу.

[1] Рассказ взят из книги Б. Рублова «Меридиан на Обсерваторной», готовящейся к печати в издательстве «Алетейя» (СПб).

Покуривая за чашкой кофе, Кавригин обдумывал, с чего начать раскрутку способного паренька, приехавшего покорять Москву. На вопросы, читал ли он Бальзака и Мопассана, молодой человек, ухмыльнувшись, ответил утвердительно.

— Так с кого начнём? — с Растиньяка, или господина Дюруа? — с улыбкой спросил Аскольд. — Нечего ухмыляться. Науку страсти нежной надо познавать с юных лет — сексапильность автора — одна из основ успеха его книг.

Менторским тоном он начал издалека:

— Учти, что писательский путь — это сознание сплошной неуверенности в себе. Оценка написанного в наше время целиком зависит от количества распроданных книг, а читают их не грамотеи, а олухи, в большинстве не способные оценить стиль написанного, лишённые чувства юмора, глухие к языку, но любящие читать про ЭТО. Критики для новичков работают за деньги, которых у тебя кот наплакал. Поиск писательской харизмы следует начинать с охоты за партнёршами. *Сейчас* у читателей не популярна «бесполая» литература. Об этом следует подумать, прежде чем браться за перо.

— Не только сейчас, — равнодушно возразил Михаил. — Лев Николаевич Толстой и до вас говорил, что альковная тема всегда привлекательна для читателей.

— Я говорю не о теме, а о личности писателя. Он не выходит на подиум как топ-модель, но с помощью интеллектуального стриптиза возбуждает читателя. Взять, например, извращенку — Нобелевскую лауреатку, забыл её имя...

— А в каких литературных произведениях воплотилось ваше увлечение женщинами? — В эпистолярных — нашёлся Кавригин, — надеюсь, ты не заставишь меня показывать свои интимные письма? — Кавригин допил кофе и продолжил: — Не думай, пожалуйста, что я альфонс или развратник, скорее холодный мужчина, способный неделями обходиться без женщины. Их коллекционирование, донжуанский список для меня своего рода сафари — чем легче добыча, тем меньше ей цена. Мелкую дичь я использую для помощи по хозяйству, и только. Ни одна женщина не может меня упрекнуть, что я живу за её счёт. Кстати, за последние недели ты мог убедиться в моём целомудрии. Этому способствует твоя активность, связанная с уборкой квартиры. Отпадает необходимость приглашать моих подруг. Думаю, они за это тебе спасибо не скажут».

Наступила пауза, после которой Кавригин показал Михаилу приборчик с дисплеем, размером со спичечную коробку. Он поднёс к экрану тонкую палочку — «карандаш», и дисплей ожил.

— Хорошая игрушка — маленький компьютер: календарь, записная книжка с телефонными номерами, часы, будильник, калькулятор, музыкальная шкатулка. Я купил несколько таких в Англии по 5 фунтов за штуку и нашёл таймеру оригинальное применение. Не догадаешься, какое. Записываю время любовных слияний. Против каждого имени указана продолжительность в

минутах. Свой оригинальный прибор я назвал «любомером» и надеюсь его запатентовать.

— Вам привет от Миларада Павича, — равнодушно заметил Михаил. — Простите, но это похоже на плагиат.

— Донжуанский список тоже не оригинальное изобретение Пушкина.

— Нельзя ли оставить в покое классика?

— Тебя, будущего писателя, погубит примитивное пуританство. Для меня любовный калькулятор — средство познания женщин и самого себя. Кстати мой скромный рекорд 27 связан с самой малоинтересной женщиной. Может, помнишь обезьянку, которая застав тебя в квартире, с огорчением скрылась?

Михаил вспомнил вертлявую длинноногую девушку лет восемнадцати с улыбающимся личиком.

— Я убеждён, что более сексуален, чем Пушкин. Его эротизм, бешенство желаний и вакханалии связей могли в каждом отдельном случае давать только короткие разряды.

Миша был шокирован, и подумал, что у Кавригина честолюбие иногда заменяет ум. Однако можно позавидовать его самоуверенности, умению одеваться — тёмный пиджак с красным платком в нагрудном кармане, полосатые брюки, начищенные туфли с тонкими носками. Хищник, готовый к нападению на робкую лань.

Жаль, что пора сматываться — наставник готовился к очередному свиданию.

2

Когда в квартире раздался звонок, Кавригин прильнул к смотровому глазку. Осторожно отворил дверь, помог даме раздеться, а затем, высунув голову, осмотрел лестничную клетку — нет ли сопровождающих.

Он предложил гостье пачку сигарет и чашечку кофе. У него были узкие кисти рук с длинными тонкими пальцами. Неторопливые движения. Пристальный взгляд больших зеленовато-серых глаз, вызывающий робость. Но девушка, назвавшаяся Илоной, похоже не испытывала ни малейшего смущения.

Она пришла по объявлению, в котором приглашалась учительница с хорошим знанием английского языка и параметрами топ-модели.

Её зеленоватые русалочьи глаза смотрели с иронией, губы постоянно складывались в улыбку. Илона свободно заговорила по-английски и задала несколько вопросов, на которые Кавригин, покраснев, ответил невпопад. Помешивая кофе, девушка заметила, что вначале должна выяснить степень подготовки будущего ученика. От этого зависит стоимость уроков.

На ней было красивое тёмно-вишнёвое платье с глубоким вырезом спереди, бусы из малахита и вязанные чёрные колготки. Встав со стула, она продемонстрировала красивые узкие бёдра.

— На вашей полке почти нет английских книг. Учились ли вы на языковых курсах?

— Я стажировался в Кембридже.

— Какова же цель дальнейшего обучения? Я много лет жила в Голландии. Мой отец — англичанин, мать — русская, москвичка с Чистых прудов.

При правильном русском, у неё был иностранный акцент.

— Непонятны ваши требования. Что означают «параметры поп — модели»? У Наоми Кембелл они одни, у Шиффер или Водяновой — другие. По-видимому, речь идёт о вашем идеале?

Обойдя комнату, Илона подошла к сидящему за столом Кавригину и уселась напротив, давая ему возможность заглянуть за вырез её платья.

Потом по-английски стала расспрашивать об учёбе в Кембридже. Её превосходство в языке было несомненным.

Под конец растерянный Кавригин спросил о гонораре за вызов и пробное занятие. Илона назвала немалую сумму, но, видя огорчённое лицо «ученика», оставила деньги на столе.

— В пятницу я должна быть в вашем районе. Зайду в одиннадцать утра, и мы ещё побеседуем.

— Мерси, — обрадовался несостоявшийся новый русский, и поцеловал Илоне руку.

3

В пятницу с утра Кавригин постарался пораньше смыться из дому, а Миша пользуясь его отсутствием, занялся уборкой квартиры.

Раздался звонок. На пороге стояла привлекательная молодая женщина.

— А где же Кавригин? — с раздражением спросила она. — Мы же договорились, что в это время он будет дома. Один.

Они познакомились.

— Может, я уйду, — с готовностью предложил молодой человек, — а вы его дождётесь?

— Подожди, мой *ласковый* Миша, — приветливо возразила Илона. — Ты самый доверчивый из известных мне русских, *готовный доверять* чужой женщине квартиру. Вряд ли твой шеф придёт. Скорей всего он нас обоих подставил. Ты красивый, но грустный мальчик. Откуда ты взялся?

— Я здесь живу.

— Ты здесь служишь, убираешь? У тебя в руках щётка.

— Я составляю каталоги в Ленинке и сам немного пишу, — покраснев, сказал Миша.

— Наверно, ты хочешь писать про любовь, а он *давать* тебе советы? — улыбнулась Илона, и две ямочки появились на её щеках. Потом она развернула его ладони. — У тебя тяжёлая жизнь. Ты сирота. Тебя никто не любит?

Судорога исказила Мишино лицо. Он молча поставил для гостьи начатый торт и блины — остатки вчерашнего ужина, включил кофейник, а сам сел в спальне за компьютер.

Илона пригубила чашку кофе, налила себе полбокала вина и просмотрела книги на полке. Потом зашла в спальню.

— Извини, в прошлый раз я по ошибке оставила у вас свои деньги. Этой суммой нельзя *разбрасывать*. У меня больна мать.

Миша молча снял со стула свой пиджак и достал бумажник.

— Это твои, а не его деньги. Я не могу взять их *за так*. Давай, познакомимся ближе. Ты мне очень нравишься. Ты чист душой, не фанфарон. Не бойся, обними меня. Я тебя *приголюблю*. Кавригин не придёт. Он меня испугался.

В ней не чувствовалось ни малейшего смущения, только нежная настойчивость. Она ловко раздела молодого человека и с неожиданной силой положила на диван; как мать с младенца сняла с него плавки; выскользнув из одежды, оказалась рядом, и, ощутив животом его нетерпение, помогла войти в рай.

Он решил, что достиг наивысшей точки в любви, и в других женщинах станет искать очарованье её тела, а его душа никогда не достигнет покоя.

4

Илона не ошиблась, предположив, что Кавригин решил с ней не встречаться. Его шаблонная подготовка пошла прахом. Девушка оказалась умной, прагматичной, а главное — неразгаданной. Кроме того, жалко было платить за вызов.

Поэтому он решил не возвращаться в назначенное время, предполагая, что Михаил будет на работе, и огорчённой девушке придется удалиться.

Вернувшись к концу дня, он с удивлением обнаружил остатки вчерашнего ужина в гостиной. Дверь в спальню была полуоткрыта, а Миша, едва прикрытый простынёй, растянулся на диване. Глаза его были закрыты, а на лице блуждала ангельская улыбка.

Всё поняв, Кавригин поразился Мишиной предприимчивости. Если женщина при этом не взяла с него платы, то, получив удовольствие, парень мог произнести дьявольское заклятие: «Мгновенье, ты прекрасно. Остановись!» При этом Кавригину не придётся брать на себя роль Мефистофеля, а его бывшая возлюбленная Мартина потеряет на Мишу права.

Проснувшись, очарованный юноша погрузился в бездну отчаяния. Он впервые оказался одной из сторон любовного треугольника. Продолжая любить Мартину, он не сможет преодолеть влечения к Илоне.

Ледяной душ охладил его до костей, но не смог смыть грех совершённого предательства.

Куда бежать без копейки денег в кармане, не имея нигде пристанища?

Одевшись, он нашёл на антресолях чемодан и стал без разбора бросать в него вещи, понимая, что деваться ему некуда — от себя не убежишь.

5

Кавригин в этот вечер принял участие в очередной театральной тусовке.

Он был рецензентом — «лакировщиком», дающим положительные отзывы даже на плохие постановки, за что удостоился клички — «калоед». Его любили режиссеры — неудачники, телевизионщики, актёры, но особенно бальзаковского возраста актрисы, игравшие молодых возлюбленных.

Дважды в толпе мелькнуло знакомое лицо — Илона. Скрывшись за колонной, он не спускал с неё глаз — элегантна в том же темно-вишневом платье, но с меховой накидкой на плечах. Даже на расстоянии тело её казалось приятным на ощупь. Её рассматривали, и она реагировала на каждый мужской взгляд. Что-то вызывающее было в принимаемых ею позах, как у Кармен из балетной сюиты Родиона Щедрина.

— Всё-таки, она профессионалка,— подумал Кавригин, имея в виду древнейшую профессию.

Прозвучал звонок, и зрители стали медленно двигаться к входным дверям зала. Илона в сопровождении бородатого мужчины, поравнялась с Кавригином и приветливо улыбнулась:

— Знакомьтесь, это мой коллега по институту, профессор Гаркавер. Мы с ним говорим по-английски, поскольку он скоро собирается в командировку в Ирландию.

— Неужели я в ней ошибаюсь,— думал Кавригин. — Для сомнения нет причин — элегантность, умение вести себя, любое положение в обществе не мешает женщине быть представительницей древнейшей профессии.

Илона его заинтересовала, и он пожалел, что не продолжил с ней знакомства.

После спектакля они столкнулись на площади Маяковского, когда она «голосовала», пытаясь остановить такси.

— Не желаете ли прогуляться пешком?

— У меня больна мать. В одиннадцать надо её покормить, но пол часа можно и погулять. I am appreciating evenings walking. (Люблю вечерние прогулки.) Пойдём в сторону вашего дома, а возле Арбата я остановлю такси.

Она взяла его об руку, слегка прижалась, улыбнулась и заглянула в глаза. Между ними прошёл ток, и Кавригин подумал, что не ошибся. Страшно захотелось проверить своё предположение, но час был поздним, дома в квартире его ждал Миша, а в карманах — шаром покати.

Илона охотно рассказывала ему о себе. Отец — врач нарколог, развёлся с москвичкой — матерью и похитил семилетнюю

дочь, которая души в нём не чаяла. Поселились они в небольшом голландском городке Фенло на границе с Германией, где отец устроился на работу в больнице.

Илона окончила английскую школу и поступила в медицинский колледж. Смерть отца не дала ей получить высшее образование, но она дипломированная медицинская сестра с семилетним стажем.

— Чем же ты занимаешься в Москве? — спросил Кавригин, переходя на «ты».

— Работаю и ухаживаю за больной матерью. Российского гражданства пока не оформляю.

— Каков же род твоих занятий?

— Научный сотрудник и секретарь директора в Институте сексуальной психологии.

— Тебя приняли на такую работу без высшего образования?

— А почему бы нет? Медицинское образование, большой опыт переводов, в том числе синхронных во время симпозиумов. Меня ценят — дали научную тему по Фрейду.

— Тогда признайся, почему ты пришла ко мне по объявлению? Оно не показалось тебе странным?

— Хотела подработать. У вас в Москве научным сотрудникам мало платят, да ещё задерживают зарплату.

Кавригин опешил и на время прекратил вопросы, а Илона, улыбаясь, наслаждалась его растерянностью. В этот момент она была обворожительна.

— А как же наши занятия?

— Ты надеялся переспать со мной даром, потому что у тебя нет денег. Но меня очень заинтересовал Миша, и хотелось бы поговорить о нём.

— На какую тему?

— Мне было приятно его обольстить. Ладно, не буду зря тянуть время. Миша, как оказалось, знаток книг, пробует сам писать. Что можно к этому добавить?

— Он способный, разбирается в литературе и в искусстве, но ему пока не хватает писательского опыта.

— Это то, что нужно, — профессор Гаркавер дал мне тему о связи мужской сексуальности с творчеством. Миша хороший, он мне поможет — мы поработаем вдвоём.

Кавригин был потрясён. Эта привлекательная, не глупая, но, судя по всему, малообразованная женщина взялась за осуществление его собственной идеи.

Илона поспешила сказать, что не претендует на душу Михаила. Объектом её интереса окажется только часть его плоти. Она постарается своим умением внести сексапильность в его новые рассказы, не рассчитывая на соавторство. К своим девушкам или женщинам он будет от неё возвращаться окрепшим, возмужавшим и полным энергии, которая доставит радость любимым и предаст блеск его уму.

— Меня пугает твоя Голландия, где царит вседозволенность с наркотиками. Придётся следить, чтобы ты не испортила парня.

— Ты станешь участником эксперимента: вряд ли Миша захочет показывать мне, дилетантке, свои произведения, а ты для него «метр». Для меня тоже, хотя твой английский после Кембриджа стал rather badly (плоховатым). Не обижайся. Я сохранила русский только благодаря мачехе — филологу-переводчице. Отец с ней сошёлся в Москве, и она помогла вывезти меня за границу.

Они расстались на остановке такси.

6

Михаил давно собирался показать один из вариантов своего компьютерного каталога Пушкинскому Дому в Санкт-Петербурге. Кавригин одолжил ему деньги на командировку и помог заказать билет на вечерний поезд.

За десять минут до отхода, взмыленный от бега по длинному перрону, Михаил ворвался в четырёхместное купе, освещённое тусклой лампочкой. Поздоровавшись с сидящей на нижней полке женщиной, он стал запихивать в нижний ящик свой рюкзак. Снял плащ и повесил его на крючок возле окна. Отдышался и встретился взглядом с двумя сверкающими глазами:

— Илона! Какая неожиданность, какое счастье!

Она выскользнула из купе и пошепталась с проводницей. Дверь закрыли на задвижку. *«Блаженство — всё слилось у них / В одно безумное лобзанье»*. Музыка рельсов превратилась в вальс и польку, а размеренный звук колёс *«тук, тук, тук»* — вызвал у влюбленных глубокий сон.

Разбудили их удары кулака в дверь и пронзительный голос проводницы:

— Вы что, очумели? Мы давно в Питере, и поезд подаётся на запасной путь.

В лихорадочной спешке, полуодетые, растрёпанные с не застегнутыми чемоданами, они побрели к выходу из вокзала.

В такси Миша показал водителю листок с адресом. Улица Миллионная рядом с Эрмитажем. Там в недорогой гостинице для учёных обычно жил Кавригин во время приездов во вторую столицу.

Им достался «люкс» с ванной, а рядом в буфете — ароматное кофе со свежей сдобой. Позавтракав и купив бутерброды, они почти сутки провели на огромной сдвоенной постели. День длился дольше века, объятья не кончались, а когда истощились продукты, влюблённые, петляя по дворам, вышли на набережную Невы и поднялись по ступеням в роскошный ресторан недалеко от Эрмитажа — в прошлом особняк, принадлежащий великому князю Владимиру Александровичу.

На вторую ночь Илона стала делать большие паузы между ласками. Склонив, как Медея, на плечо Михаила растрёпанную голову со змеиными завитками волос, она перешла к расспросам:

— Мишель, мне хотелось бы побольше узнать о тебе. Кому ты был ближе в детстве отцу или матери? Я предполагаю, что ты был маменькиным сынком?

— Я воспитывался в детдоме и не знал родителей.

Такой ответ явно не устроил исследовательницу, но она решила не сдаваться.

— Надеюсь, когда *возмужаль, ты наводил про них справки.* Изменял ли твой отец матери?

— Постоянно, не пропускал ни одной юбки, — включился в игру Михаил.

— Почему юбки? — не поняла Илона. Это какая-то старомодность. Мужчины обычно предпочитают женщин, которые носят мини или даже бикини.

— Мои родители были людьми старомодными. Они принадлежали к старинному дворянскому роду. Меня нашла в гамаке, привязанном к дереву благородная пожилая матрона — смотрительница детдома Я был завёрнут в простыни голландского происхождения с загадочной монограммой. Поняв, что «дворянское» бельё может оказаться опасным для ребёнка в социалистической стране, моя будущая нянька продала его в киевской комиссионке и на вырученные деньги меня воспитала.

— В Голландии, действительно, хорошее белье, — согласилась Илона. А что было дальше?

— А дальше ты всё знаешь, — сказал Михаил, закрывая поцелуями ей рот.

Чтобы восстановить силы, он предложил Илоне пройтись пешком до Летнего сада.

— Но ведь сейчас осень, что же там делать?

— Гулять, любуясь замечательными скульптурами.

Боковые солнечные лучи подчёркивали ажурность «лучшей в мире ограды», и среди теней облетающих лип по тонкому ковру листьев влюбленные подошли к мёрзнущим статуям сада — пока обнажённым в ожидании стоящих рядом деревянных саркофагов.

Илону поразила грациозность Психеи, склонившейся над спящим Амуром, прелесть Авроры, изящество Минервы и Белонны. Тронутая красотой парка, она завела разговор о красоте женского тела. В древней Греции мужчины приветствовали женщин поцелуем в грудь, восторгаясь их способностью к материнству.

Потом, видимо, вспомнив свою роль научного сотрудника, она заявила, что форма и размер груди определяют характер женщины в большей степени, чем знаки зодиака. Стоит обращать внимание на партнёрш с лимонами — они дерзки и чувственны, но еще лучше на тех, чьи груди, как у неё, напоминают груши.

— Надо говорить не «груди», но «перси»,— с раздражением заметил утомлённый фруктовой классификацией Миша.

Замёрзнув на свежем невском ветру, они решили согреться в ближайшем кафе. Илона заказала свой любимый ликёр «Бейлис», а её партнёр на вопрос официанта хмуро потребовал водку, которую до этого не пил. Он был раздражён, что из-за отсутствия денег позволяет Илоне оплачивать их расходы.

Через два часа, закинув за плечо руку возлюбленного, она умело довела его до остановки такси. В отеле под душем он быстро отрезвел и был уложен в их общую постель.

Глубокой ночью, когда тяжкие сновидения прошли, непонятный внутренний импульс заставил Мишу проснуться и зажечь лампочку над кроватью. На расстоянии вытянутой руки он увидел бюст Минервы. Точнее часть его, поскольку узкая лампочка для чтения освещала только пространство возле постели. Перед ним были опущенные плечи, полоски сложенных рук, искорки сосков и лоно на узком блюде живота и бёдер. Голая суть женского естества вызывала трепет робости, он зажмурил глаза, и тихий смех девы после сладких судорог вновь привёл его в рай.

На следующий день его разбудила мелодия Моцарта из мобильного телефона Илоны.

— Зачем ты сюда звонишь?— злым шепотом спросила она. — Ну и что, что час дня. Миша отдыхает. Не надо нас тревожить.

По — видимому, звонил какой-то их общий знакомый, с которым Илона на «ты», но полусонный Миша тогда не придал этому значения.

7

После завтрака, обогнув Дворцовую площадь, они подошли к Эрмитажу, и по просьбе Илоны отправились осматривать картины голландских мастеров.

— Среди них есть нидерландцы, фламандцы, есть, так называемые, малые голландцы. С кого начнём? — спросил Михаил.

— Что за малые голландцы, карлики что ли?

— По улыбке друга Илона поняла, что сморозила глупость. Но тут же сообразила, что речь идёт о размере картин:

— Малые тоже могут быть великими. Например, Брейгели,— с торжеством сказала она. Миша не был уверен в точности её классификации, но Илона реабилитировала себя в его глазах.

Михаил не раз бродил по Эрмитажу и обстоятельно изучил его коллекции, но присутствие рядом возлюбленной, магнетизм её личности, обмен взглядами, случайные касания меняли восприятие увиденного. Сегодня его влекла лишь женская нагота, и он по-новому оценивал давно знакомые полотна.

Даная Рембрандта с вяло поднятой вверх рукой и обрюзгшим, потерявшим форму телом утратила в его глазах привлекательность. Слишком упитанными показались полнотелые фламандки на картинах Рубенса. У любимой им раньше Андромеды на этот раз была плохо развита грудь и отсутствовала талия. Попрежнему ему нравились стройные ноги богини с картины: «Союз Земли и Воды», но обольстительная Ева с картины Голциуса на

этот раз показалась слишком тонконогой и по-девичьи нескладной. Лишь у блондинки с гибкой талией и длинной косой в первом ряду картины, оставались открытыми щиколотки ног.

Чем дольше влюблённые ходили по музею, тем больше у Миши нарастала чувственная приподнятость. Изменилась даже освещённость хорошо знакомых залов. Привычный молочный свет, льющийся с потолка, по-новому озарял обнажённые фигуры. Их глаза лукаво наблюдали за ним, вызывая неведомое раньше томление души и плоти.

Потом, убыстряя шаг, они приблизились к отелю, не дожидаясь лифта, взбежали на третий этаж; у двери номера Миша начал раздевать Илону, и недосказанность художественных аллегорий искусства они дополнили своим пылким воображением.

Несколько ночей с Илоной сделали мир молодого человека другим, но эта женщина, не ограничившись телом, явно посягала и на его душу.

Утром следующего дня при тусклом петербургском рассвете Миша увидел, что Илона не спит, заглядывая в маленький блокнотик. На её лице он прочёл жалобу, и согласился отвечать на нелепые вопросы.

Он родился на Украине и происходит из славного рода Разумовских, породнившегося с царицей Елизаветой Петровной. Его родители не любили спать вместе. Мать, действительно, часто брала его в свою постель, и он подглядывал в щёлку, когда она одевалась. Ему не понятен мир бессознательного, но он не против встречи с Фрейдом, чтобы тот ему всё объяснил. В тёмном помещении Илона для него только чувственно постигается путём ощупывания, осязания и поцелуев, но если включить свет.....

— Не делай из меня дурочку, — возмутилась девушка.

— А кто тебе заказал этот глупый допрос? Почему именно меня ты выбрала объектом изучения?

Илона поняла, что придётся раскрывать карты, но не собиралась делать это до конца.

— Я медицинский работник, а сейчас изучаю Фрейда, Тебя я люблю и хочу тебе помочь.

Она, поджав ноги, уселась на кровать, обняла друга и стала рассказывать о своём опыте психофизиотерапии.

У неё в Фенло был друг, талантливый художник, которого звали Винсент. Он писал прекрасные картины, но не мог их продавать. Он любил женщин, которые его отвергали, считая безумным — он не умел раскрыть перед ними своей души.

— А потом твой друг поехал в Арль и там с горя отрезал себе ухо,— флегматично добавил Михаил.

— Мне надоели насмешки, — взбунтовалась Илона, и её глаза стали колючими. Я не хуже тебя знакома с биографией Ван Гога. Кстати имена Винсент и Тео — распространены в их роду. Между прочим, журналиста и писателя по имени Тео Ван Гог недавно убил исламский террорист.

Потом она со слезами поведала о своей любви. Её Винсент был пациентом психиатрической клиники.

Рассказы Илоны вызывал всё большее раздражение, но она этого не замечала, и, выпив натощак плоский бокальчик коньяка, продолжала: «Ты не можешь себе представить, как приятно перекатываться на дюнах обнажёнными, когда морской ветер сдувает с разгорячённых тел остатки песка. После томительной любви наши облегчённые тела принимала прохладная вода, и едва нащупывая дно, мы брели неведомо куда. Ты когда-нибудь видел, как скрещиваются угри в полосе прибоя?..»

— Прекрати, хватит,— возмутился Миша. Судорога исказила его лицо. — Меня больше не интересуют твои гадости. Никаких угрей я не знаю, и знать не хочу.

— Угри — это такие рыбы, похожие на змей. Хочешь, я куплю тебе пару в Елисеевском универсаме?

— Надеюсь, ты закончила допрос? Теперь объясни, почему я нуждаюсь в твоей медицинской помощи. Ты считаешь, что у меня не все дома, или не всё на месте? Отвечай честно. Для меня это важно.

Пытаясь обнять возлюбленного, Илона его утешила:

— У тебя всё на месте, но писательский талант пока не достиг достаточной мужской *харизмы*. Занятия любовью с опытной женщиной, могут тебе помочь. Разве тебе со мной плохо?

Они позавтракали в буфете гостиницы, и ушли — каждый по своим делам.

8

Михаил закончил работу в Пушкинском Доме в пятом часу, когда пасмурный день плавно переходил в сумерки. Обогнув Ростральные колонны, и Александровский столб, он медленно свернул на малолюдную Миллионную улицу, надеясь услышать позади стук каблучков Илоны или встретить такси, на котором она подъедет к входу в гостиницу.

Взяв ключи, он поднялся в номер. Пустота и потемки всегда страшили его, вызывая мрачные мысли — холодный двухкомнатный люкс, освещённый лишь настольной лампой с пыльным абажуром, показался казармой, в которой безумному Германну явился призрак Графини.

Миша подумал, что события пушкинской мелодрамы развивались совсем рядом — у Зимней Канавки.

После душа он стал рассматривать себя в зеркало. Тело, казавшееся ему тщедушным, с вялыми мышцами и женственной грудью, теперь приобретало спортивную форму. Он ощутил чувственную приподнятость, некий внутренний гальванизм, позволявший по-другому воспринимать окружающий мир. Теперь ему особенно хотелось любить и быть любимым.

Может, не так далеки от истины слова Илоны о целительном действии любви. Женщина с зеленоватыми глазами, растрёпанны-

ми или уложенными волосами, платьями с глубоким вырезом, красными замшевыми туфлями, напоминающими клоунские колпаки — влекла его с доселе неведомой силой.

Но отталкивала продуманность её действий: случайной ли была встреча в купе «Красной стрелы»? А звонки неизвестного соучастника, странные вопросы по Фрейду? Похоже на преследование, слежку, которые сродни предательству, а не любви.

Время шло. Вечер переходил в ночь, в душу глубже заползала тревога. Миша обошёл лабиринты плохо освещенного двора, постоял на Миллионной улице и вернулся в гостиницу.

У входа в номер в тёмном коридоре, прислонившись к стене, стояла Илона.

— Не смотри не меня, мне плохо.

Перед дверью в ванную она сбросила одежду. Миша почувствовал запах спиртного. Придя в себя, Илона вышла, прикрываясь полотенцем:

— Прости меня, родной, не могу больше врать, — плача сказала она.— Наплела тебе *с три коробки.* Была любовь, и был Винсент, но это я его погубила. Стала снижать дозы лекарства, а потом он умер от сильного приступа. Меня судили, уволили из больницы, и я приехала в Москву.

Она плакала беззвучно и беспомощно, и Мише долго не удавалось её успокоить.

Свернувшись в пружину, молодая женщина заснула, а Миша как у Пушкина в «Пиковой даме», ощутил *прелесть её горести* и ночью по ошибке даже назвал «Лизой».

9

Вернувшись после «командировки» в Москву, Миша продолжал мечтать о соединении с Илоной. Как случилось, что она не оставила ему номера телефона, адреса? В паспортном столе были сотни женщин с фамилией Ричардсон, но Илона была иностранкой и могла запросто драпануть в свою Голландию.

Появилось недоверие к Ковригину. Началось с частых звонков по телефону, но связь обрывалась, когда трубку снимал Миша. В следующий раз шеф подошёл к телефону, и обертоны низкого женского голоса в мембране показались Мише знакомыми.

Он обнаружил, что Кавригин рылся в его папках с бумагами и заглядывал в чемодан.

— Кстати, звонила Илона, с которой ты однажды неплохо провёл время на нашем диванчике; передавала тебе привет.

— Она не захотела со мной говорить. Если в следующий раз про меня вспомнит, скажи, что я умер.

По телевизору как раз крутили сериал под названием: « Бальзаковский возраст, или все мужчины сво...» Миша понял, что перед ним загадочный собеседник Илоны, звонивший им в Санкт-Петербург. Эта парочка сво... превратила широкую постель петербургской гостиницы в лабораторию по изучению Фрейда, а его —

в подопытного кролика. Но что они ищут в его бумагах? Скорей всего рассказы. Подтверждение влияния *этого* на писательскую потенцию. Не получат ни фига.

Отобрав нужные страницы, Миша скрутил их в трубку, поджог на газовой горелке и спустил в унитаз. Бульканье и запашок гари — вот и всё.

Выпил, не закусывая, бокал коньяка и растянулся на диване. Непричёсанные мысли мешали кайфу от выпивки:

«Забыть любовь, забыть мечты... в ночную пасмурную пору... Забыть так скоро... Они из своры, они из своры — пара гнавшихся за ним собак? Это не так: Кавригин ему не враг, Илона — плохая актриса. Но нельзя было с такой пронзительной болью лгать, оплакивая свою судьбу, так смотреть в его глаза в минуту объятий, когда сладостная боль переходила в бесконечную нежность. Засыпая, со слезами, он думал, что сердце его разбито, и корил себя за банальность этой затасканной фразы.

Когда он загадочно исчезнет после аварии, Илона с печалью скажет: *«Мы винованные перед ним, а я имела в нём самого доброго и чистого юношу на своём сердце»*.

10

Читая русские книги, усваивая язык, Илона невольно знакомилась со сленгами современной московской речи. Наоборот, английский постепенно выветривался из её памяти. В её переводах стали появляться грубые ошибки, за которые ей доставалось от профессора Гаркавера.

В ответ на упрёки она обвинила учителя, что он дал ей неудачную тему — выбранные им литераторы бесплатно с ней спали, но ничего не писали, требуя продолжения учёбы.

— Надо знать, с кем ложиться, — возмутился профессор. — Фрейд учил, что в человеке всё заложено с детства. Покажи мне *анамнес* твоих подопытных мужиков, анализ их литературного творчества. Хочешь, проверим, как твои уроки повлияют на меня. Моё прошлое, начиная с рождения — в твоём распоряжении, а темой сделаем стихи о любви. Если хочешь, съездим на месяц на Куршскую косу?

— Разве Фрейд ставил опыты на *старых козлах*? — возмутилась Илона. — Вам что не хватает пяти аспиранток?

После увольнения из Института сексуальной психологии, Илона стала давать *частные уроки* молодым юношам с ведома их родителей, богатых новых русских. Как раньше в Голландии, её приглашали в психиатрические клиники для утешения буйствующих мужчин. Она подтвердила свой статус медсестры и даже открыла небольшой кабинет в Москве, на Рублёвке.

Но после смерти матери из её жизни ушло тепло — занятость работой с утра до вечера, неплохие доходы не приносили внут-

реннего удовлетворения, но она жила на родине, наслаждалась звуками русской речи и не хотела даже помышлять о возвращении в унылую Голландию.

По объявлениям она теперь ходила редко, но не ради заработка, а из любопытства — её интересовали русские мужчины, их мысли в минуту близости, но секс сам по себе её давно не привлекал. В Москве посещение квартир становилось опасным. Однажды она наткнулась на объявление:

> «Встречусь с приятной молодой гейшей (не обязательно японкой) для философствования о любви. Оплата по соглашению».

Как русский «философ» давший объявление, представляет себе гейшу?

В назначенное время она поднялась на лифте, и на третьем этаже на неё набросился бородатый маньяк, начал душить и срывать одежду. От неожиданности она уронила сумку с газовым баллончиком, но использовать его в замкнутом пространстве лифта было бы равносильно самоубийству. Умело направленный удар ногой в область паха выбросил завывающего насильника на лестничную клетку.

Илона доехала до верхнего этажа, по мобильнику позвонила в милицию, подшила верхнюю пуговицу к разорванной блузке, привела себя в порядок и приняла решение никогда больше не ходить по объявлениям.

В России мужики из-за отсутствия бардаков и отдельной жилплощади вынуждены устраивать эротические встречи в парадных. Одни — для робких поцелуев, другие — для секса с изнасилованием, сопровождаемого воплями и топотом бегущих с топорами родственников и соседей.

Среди сборников русской поэзии ей попалось стихотворение, в котором воспевалась «сила, твёрдость и магнетизм символа мужественности». Увы, «восстание» этого «начальника» всегда было кратковременным и кончалось апоплексией.

Она жила в оставшейся от матери маленькой квартире. В узкой комнате вдоль стены размещались кровать, шкаф-секретер красного дерева, да ещё компьютер. Дотянуться до нужных предметов можно было, сидя на постели. В комнате царил беспорядок — сбивались вперемежку сумочка, маникюрный набор, блюдце с остатком пирожного, сигареты, роман Кафки на английском, сквозь который она так и не смогла пробиться.

На пустой стене висел портрет отца в тёмной рамке.

На этажерке недалеко от кровати стояли две подаренные фотографии. Пожилого лысоватого мужчины с подстриженной седой бородой и усами в широком костюме с жилетом и цепочкой

от часов. В отставленной правой руке он держал сигару. Этот портрет Фрейда был сделан его зятем Максом. На второй фотографии учёный был снят с любимой, похожей на медвежонка собакой, породы чау-чау. Поговаривали, что она помогает ему в лечении — единственная, кому всегда был открыт доступ в его приёмную.

После одного отрицательного опыта в Амстердаме она завязала с наркотиками, но изредка, не зажигая света, позволяла себе понежиться в объятиях увешенного цветами мака маленького древнегреческого бога Морфея с тяжёлыми, всегда смеженными веками. Её повышенная чистоплотность была вызвана стремлением очиститься от грязи бытия. Согнув ноги, она лежала на белоснежной простыне, и коварный летний сквозняк проникал к ней под рубашку. Ласки становились щекочущими, казалось, кто-то прикасается языком к её лону. Сквозь дрёму ей померещилась толстая лохматая собака с круглой мордой клоуна — короткими ушами, чёрной кнопкой носа, шариками глаз и полоской растянутого в улыбке рта.

— Прочь, прочь, поганый пёс, — отгоняла она собаку.

— Она хочет указать тебе путь освобождения от комплексов, — вкрадчиво произнес с фотографии Фрейд. — Ей известна главная тайна твоей жизни — твоё libido, стремление к похоти.

— Почему вы всегда так грубы. Ведь это можно сказать по-другому — эротика, любовь. Мир долго вас отвергал за неприятие красивых слов. Послушайте:

...И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь, И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь...

...И жар соблазна
вздымал, как ангел, два крыла
крестообразно...

— Я привык называть кошку кошкой. Поэзия — наносное, шелуха — сублимация художественного творчества. Вертер покончил с собой, осознав, что не сможет овладеть Шарлоттой. Влечение — основное. Как напряжение лука. Ещё не известно, куда полетит стрела и в чём выразится удовлетворение. Это не только физиология. Влечение отражается на всём существе человека, вплоть до вершин его духа.

— Это вы послали мерзкую собаку, которая обнюхивает меня так, словно ищет наркотики на таможне? Пошла вон, дрянь!

— Собака не виновата, — выпустив несколько колечек сигарного дыма, произнес профессор — она постоянно присутствует на моих приёмах и правильно определила твой *locus minoris resistance* (уязвимое место). Каждый человек, как айсберг. Видна лишь надводная часть. Ты должна иметь силу заглянуть в себя поглубже.

— Не хочу вас слушать, убирайтесь.

Со слезами она зажгла лампу и швырнула портрет Фрейда на пол. Зачем он раскрыл ей страшную тайну жизни? В чёрный для себя день она вступила с мачехой в соперничество за любовь отца, и покинутая им женщина спилась с горя.

11

Однажды Илона наткнулась на объявление, адрес которого показался ей знакомым: *«Обучение актрис эротическим танцам»*.

Кавригин её сразу узнал:

— Привет, поклонница Фрейда, решила пойти в актрисы?

— Нет. Навестить старого знакомого, страдающего без женщин.

— С чего ты взяла?

— Квартирка запущена — некому убрать; небось, подружки требуют валюту? Расчет натурой на диванчике современным барышням не подходит...

— Но вы с Мишей получали здесь скромные радости.

— Один лишь раз — но в Петербурге был класс!

Вспомнив про Мишу, оба взгрустнули и выпили. — Я ради него сюда пришла, — сказала Илона, наливая по второй. Пьянея, она стала говорить, что он нуждается в матери, что охота за женщинами сделает его импотентом. Потом, спохватилась, что выглядит дурой:

— Между прочим, Фрейд считал юмор средством получения удовлетворения.

— Признайся, за этим он приходил к тебе по ночам?

— Ладно, помогу тебе убраться в квартире, вынесем мусор, примем душ, а потом, как у Высоцкого, с лопатами и вилами и ещё кое с чем ускорим писание романа. Помнится ты начал его ещё при Мише? Четыре года! Долгострой.

Заглянув по-хозяйски в холодильник, Илона бросила на разогретую сковородку пару приперченных бифштексов; они выпили и закусили.

Потом с требовательной пылкостью молодая женщина сорвала с Аскольда одежды. Чайкой пролетели его плавки, раскачав люстру; охваченные влечением оба задрожали; тела соприкоснулись, и утраченная радость юности, перехватив дыхание, вызвала у неё слёзы.

Сон их был крепким. Под утро, проснувшись опустошённым, Аскольд с улыбкой вспомнил свои давние сомнения, принадлежала ли Илона к древней профессии... Впрочем, сейчас это уже не имело значения.

Прошло два года, и возле парадного молодая женщина с коляской повстречала мужа. Он был одет с иголочки, надушен и нёс подаренный студентками дипломат.

— Куда навострился? — сверкнув глазами, спросила русалка.

— Да вот, несу в издательство роман, — третий по счёту. За два года, — бодро отрапортовал муж.

— А кто выбьет за тебя ковёр — может Фрейд?

Александр АЙЗЕНБЕРГ

/ Одесса /

Иудейская война[1]

I

Ерушалайм.
Огромные желтые камни. Они повсюду.
Холмы соединяют землю с космосом.

Этот визг флейт и удары барабанов...
Этот визг флейт и удары барабанов...

Иосиф заткнул уши... Но он видел... видел эти легионы на марше... И они шли к Еруша... Они шли к Храму...

Веспасиан, император, взял кусок черного хлеба, луковицу... Он задумался... Затем стал есть. Его каменные челюсти мерно, неторопливо и неумолимо размалывали еду.

Текст, который написали, который зашифровали и отправляли каждый день — раз за разом — Титу...

«Должен быть разрушен».
разрушен...
разрушен...
Разрушен.
Веспасиан думал и думал...

И все же произнёс вслух. Это прорвалось сквозь его каменный рот наружу. Пробилось...

— Я полагаю... Должен быть разрушен.

---

[1] Рассказ взят из книги «Иудейская война», которая готовится к печати в издательстве «Алетейя» (СПб).

Тит и не спорил. И тем не менее, раз за разом он получал от отца послание и читал: «Должен быть разрушен».

Иосиф каждую ночь затыкал уши, сдавливал глаза...

Все равно он слышал: «Должен быть разрушен». И видел эти горящие слова. И он продолжал жить.

И Иосифу, и другим иудеям, находившимся в римском лагере, ежедневно и даже каждый раз говорили, что никто не собирается ничего разрушать. Как же можно разрушить Храм?.. Глупости! Никаких разрушений. Иосифу все время рассказывали историю о том, как некий легион разбил лагерь рядом с яблоней. И ни одно яблоко не было сорвано! Ни одним легионером!

— Конечно! — восклицал он.

— Конечно! — улыбался Иосиф.

— Римская дисциплина! — восторгался Иосиф и все другие иудеи, оказавшиеся в римском лагере.

Песок... песок...

Веспасиан встретился с великим понтификом. Жрец удивленно слушал императора. Он не понимал.

Вернее, он знал, что у Флавиев, у этой новой династии только одно: Великий Рим — и ночью, и днем блюсти, блюсти его добрые старые традиции. Эти деревенские выскочки: всю жизнь он мечтал попасть в Рим, а теперь все время будет излагать, как ему в Риме плохо.

Великий понтифик понимал и другое: Веспасиану нужна война. Патриотическая война. Естественно, победная. Только тогда он выйдет на группы сочетаний:

Сенат, народ римский и император;

Император, самодержец Рима, боги Рима, самые правильные боги... и правые... а также народность... Народ римский.

В общем, жреца все устраивало. «А какие другие боги?» Народность — она и есть народность. Народу хорошо — он безмолвствует. Император... А императоры уже определились. У них победил Веспасиан, как наиболее император.

Веспасиан прервал его раздумья: «Понтифик, тебя ничего не беспокоит?»

Мало ли что его беспокоило... Все-таки как называть Веспасиана?.. Он вчера тоже над этим думал. Веспасиан?.. Но это будет

неправильно даже для этого рогатого. Цезарь?.. Даже он сам, новый Цезарь, может решить, что это ирония, а такого не нужно. Август?.. Не совсем тянет, не совсем...

— Император, мы знаем исключительно о совершенстве богов...

— Римских богов, понтифик.

Он второй раз говорит «понтифик». Значит, это не случайно... Какие случайности могут застрять между этими челюстями... Тем не менее, pontifex maximus... В каком-то смысле, pater familias республики...

— Император, я — великий понтифик...

— Великий... да, понтифик. Да, так вот, римских богов, великий понтифик.

— Конечно, император.

— Да, так вот, великий... да, понтифик, это наши римские боги дали нам нашу римскую доблесть. И славу римскую... и...

Мне не нравится, понтифик, что в последнее время происходит умаление наших, я говорю: наших! богов, понтифик!.. Умаление есть. И какие-то иностранцы... в кого — то верят...

Понтифик, тебя не беспокоят иудеи и их какой-то не такой... другой?..

Великий понтифик убедился, что понял правильно, о чем идет речь. Да, Флавии хотят войны. Да, безусловно, Веспасиан считает, что ему нужна короткая победоносная война. И, конечно, он думает, что Иудея идеально подходит для этого. На самом же деле, все не совсем так. Иудея-это тоже Рим. Завоевывать свою собственную провинцию? Выгоды государству точно не будет. Это забавно: грабить самого себя. Тем не менее, решение принято. Это — очевидно. Но так уже было. Карфаген, конечно, не являлся тем местом, где любили римлян. При этом его уже, по сути, вовлекли в pax romana. Но. Захотели. И разрушили. И что?.. Я видел цифры... Огромные убытки. Опять... теперь — во славу Флавиев. И война не будет быстрой. А потери не будут маленькими. Да здравствует.

— Император, ничто не может нанести ущерб богам Рима. Вместе с тем, Восток приносит свои плоды не только в виде фруктов.

Веспасиан думал о своем: хитрый жрец явно не хочет брать на себя инициативу. Может быть, он даже не желает религиозной

войны. Религиозной?.. Веский довод... Которого пока нет. Война должна быть. В любом случае. И там. Мы их победим... Быстро! А как? А как иначе?.. Об убыточности я знаю. И добыча там... Какая может быть добыча в таком захолустье? Нет, для бедуинов — это сумасшедшие деньги, а для империи... Ну, допустим, слезы.

— Великий понтифик, это — война. Bellum justum. Во имя Рима, его богов и римского народа!

— Император, возможно, это и справедливая война. Возможно. Воля императора, его война — все это справедливо.

— Понтифик, есть какие-то процедуры...

— Великий император, я предполагаю, что подключать коллегию фециалов, пробовать добиться от pater patratus — проведения ритуала, обязательного для justum piumque duellum не имеет смысла...

— Почему?

— Потому что для подобных действий нет оснований, установленных, как обязательные. Мы не можем совершить такое преступление, император. Естественно, говорить о таком со старшим фециалом я не буду, если конечно, не последует прямого указания, император.

Он не хочет. Да. Но и я увлекся. Мне рано. Флавию рано. Возможно, и не надо. Так — не надо. И не все решает самый главный. Это просто нужно сделать иначе. А пока пусть примет, как свершившееся ...

— Pontifex maximus, ceterum censeo... Бейт-акодеш... esse delendam.

Ворон сел на бюст императора.

Я с ума сошел?.. Он с ума сошел?.. Ничего подобного. Все, как и предполагалось... Веспасиан цитирует Катона... Это его знаменитое: «Я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен. После каждого выступления. Только вместо слова «Carthaginem» — Бейт — акодеш...

Так иудеи называют свой Храм. Первый... второй... второй... второй... бродианский... Он хочет поднять всю мощь pagana Roma против Бейт-акодеш.

— Цезарь Веспасиан Август, император, коллегия понтификов уверена в поддержке богов Рима в этой войне.

Григорий МАРГОВСКИЙ

/ Бостон /

Садовник судеб[1]

роман

Разница в возрасте поначалу нас не смущала. Мне не терпелось забить баки Опане, козырявшему своим постельным кувырканием со сверстницей. Грация молодой матери, ее лучезарность, интеллектуальная рафинированность, давали фору чернявой девчушке, непрестанно цапавшейся с неврастеничным актеришкой. Трепет и вожделение, с коими Артур и иже с ним взирали на Риту, доказывали, что я вырвался наконец из страты отверженности. Правда, при этом я и сам невольно начал подражать вздорному нарциссизму хадеевского фаворита. «Правда же, я хорош собой?» — сверялся я, лежа в ее объятьях. «Правда, — чуть помедлив, соглашалась она. — Даже непонятно зачем, Гриша...»

Эльпер, зашедший погулять с двухлетней Машенькой, застал меня попивающим кофе в его тронном кресле. Обсуждать бракоразводные детали они удалились в прихожую. Заметив на столе сафьянный переплет, я раскрыл его на закладке. «...Категорический императив, не к ночи будь помянут! Слушал повторно «Страсти по Матфею». Дома — полный бардак...» — автор тщетно силился попасть буквами в клеточку. Заслышав шаги, я захлопнул дневник. Рита вошла бледная. «Что-нибудь стряслось?» — «Нет, все нормально. Просто у Жени, когда он вывозил на улицу санки, страшно дрожали руки...»

Через месяц он ушел служить. С женой его, постепенно превозмогшей затяжную депрессию, мы теперь повсюду появлялись вместе. Надя Крупп, вдова сорвавшегося в пропасть барда-альпиниста, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, как раз в этот период стала организовывать домашние концерты. Были и другие энтузиасты. Время от времени в нашу тихую гавань заглядывали то Булат Шалвович, то божественная Камбурова, то неразлучные Лорес с Мирзояном.

[1] Продолжение. Начало в №42.

Как-то раз сборную столичную солянку приняла окраинная аудитория, к которой, по-моему, также имела некое отношение Галочка Новосельцева. Народу набилось тьма тьмущая. В сонме фанатов КСП мелькнул срезанный подбородок начинающего борзописца Сережи Наумчика — сокурсника Радика, мажорно щеголявшего в черном бархатном костюме. («Их нет!» — пролепетала в трубку пугливая домработница, когда я однажды позвонил этому горкомовскому выкормышу.) Сопровождал его хлыщеватый зятек скульптора Аникейчика, изваявшего тот самый одиозный колосс на площади Я. Коласа. «Это настоящий триумф! Весь диссидентский Нимфск съехался сюда сегодня!» — не скрывал я щенячьего восторга. «Как же, диссидентский!» — перемигнулся журфаковец со своим конфидентом. Тогда он и не предполагал, что его ветром сдует в Канаду: подальше от лукашенковского местнического самодурства...

Потеряв из виду Риту, я столкнулся в фойе с архитекторшей Вайнштейн, с которой мы разбежались минувшей осенью. Теперь она мыкалась в проектном отделе, переписавшись Машкиной по матери-волжанке. «Гриша!» — окликнула она. «Ирка, и ты здесь?» — я чмокнул ее галантно. В тот вечер — застукав их у подъезда с Радиком — я проявил себя грубой скотиной: прокрался на цыпочках мимо комнаты глухого деда (родители млели где-то на курорте), растянулся на ее матраце и учинил ей поистине Варфоломеевскую ночь, обличая до утра и ни на минуту не давая прилечь. Простила ли она меня? Поначалу об этом и речи быть не могло. Но со временем мы помирились: абстрагируясь, однако, от когдатошней нашей близости. За исключением того единственного раза — когда она, в повойнике, хлюпнула в подушку: «Столько недель крепилась — и нá тебе, дала осечку!..»

Нам обоим в унисон захотелось немного поболтать, и мы условились, что я подожду Ирку у выхода. Но спустя всего лишь мгновение на лестнице, этажом выше, вырисовался силуэт Риты — с точно таким же душещипательным восклицанием: «Гриша!» Застигнутый врасплох прощелыга Труффальдино позорно заметался по стертым ступенькам...

Впоследствии всех «радужных» пернатых, рискнувших на концерте подсвистеть залетным московским кенарям, комсомольские боссы затаскали по худсоветам. Перлы из доноса какого-то доброхота невемо как сделались достоянием гласности. «*Этот красавчик*, — брюзжалось в цидулке по поводу выступления Окуджавы, — *выскочил на сцену в цветастой рубашонке...*» Невольно приходило на память, что впервые Наумчика я встретил на вечере Вознесенского в Технологическом институте: теребя фантомный подбородок, взволнованный интервьюер колдовал над своим подготовительным вопросником...

Помазание на царство Андропова нимфская интеллигенция, поджавшая хвост после покушения на Машерова, отмечала традиционной сушкой сухарей. Еще зимой, в дребезжащем трамвае,

мы с Ритой наткнулись на кутавшуюся в тулуп Юлю Лебедеву. «С новым Сталиным вас!» — иронично поздравила нас бывшая актриса Еврейского театра. Полдороги мы тряслись втроем: я и две моих пассии, каждая из которых была лет на пять старше дамского угодника. Юля жаловалась на мошенничество со стороны администрации ресторана, где она руководила кабаре. Ее по-прежнему тянуло в Москву, несмотря ни на какие местечковые страхи[1].

Почто я разорил чужое гнездо? Отдавал ли себе отчет в своем кобельем вандализме? Задумался ли хоть раз о будущем агусенькой Машуни — или попросту подшил ее всхлипы к брачному контракту Иры Машкиной, втуне полагавшейся на мою мужскую зрелость? Не за те ли самые прегрешения наслал на меня Садовник Машу Бабушкину — их общую соименницу, спустя год поступившую со мной немногим лучше?..

Увы! Одиссею Эльпера я описал как по лекалу. «Хорошо тебе!..» — завидовала Рита бесшабашности экс-ваганта в стеганой телогрейке. Впрочем, ледяной каток я заливал недолго. Слесаря-сантехника скоро вышвырнули из спорткомплекса за непомерную строптивость. Начальника отдела кадров я попросил подписать характеристику, из которой явствовало, что его подчиненному свойственна подозрительная нелюдимость (попытка закосить от армии). «Не ищи легких путей!» — назидательно рявкнул бывший служака и демонстративно порвал листок. Я обматерил его трехэтажным и был таков. После чего, забурившись в первый попавшийся обшарпанный подъезд, наклюкался пива и стал смачно икать. Мутноглазый жилец, проходивший мимо с пустым ведром, не долго думая принял меня за беглого зэка: «Землячок! — присел он сочувственно на корточки. — Погоди, вынесу ломтик ливерной...»

И в бассейне восстановительного центра, где работал мой отец и куда меня как правило пускали без абонемента, вышла та же петрушка. Новый зам, решивший, что я безбилетник, конфисковал у меня из шкафчика трехцветную шерстянку. В качестве ответной меры я харкнул ему в лицо и благополучно улизнул.

— Все! Он подает на тебя в суд! — горестно выдохнул дома папа.

— У Аркадия Юзефыча солидный авторитет, — осторожно распекал меня на аудиенции курчавый директор басейна Жевелев, — и поверьте, это далось ему значительно трудней, чем всем прочим...

[1] Со временем она осуществит свою мечту — вырвется обратно в столицу, но на свою беду: связь с Михасем, известным российским криминальным авторитетом, станет причиной ее ареста в Швейцарии; затем, выйдя на свободу, она вернется в столицу с триумфом и в скором времени погибнет в автомобильной катастрофе при весьма загадочных обстоятельствах.

Вскоре, пользуясь все той же семейной протекцией, я нанялся униформистом в цирк: видимо, фортели, которые я откалывал, отныне нуждались в массовом зрителе...

С Ритой мы пробыли вместе всю зиму и всю весну. Маме моей она импонировала. Но жить-то с ней пришлось бы мне: не поступи я вовремя в Литературный институт... «Ты для меня — эликсир вечной молодости!» — высокопарно признавалась распаленная страстью поэтесса. И ненасытно вампирила из меня энергию — равно сексуальную и творческую.

В мае мы направились с ней к месту бывшего гетто, где белорусские евреи обычно отмечали День Победы. Дружинники с алыми повязками и харями полицаев щерились на нас весьма многообещающе. Миновав оцепление, мы протиснулись к котловине, на мощеном дне которой темнела стела с надписью на идиш. Расправив полосатый талис, седой раввин перелистнул молитвенник. И вдруг — дико рявкнули репродукторы: народный артист Кобзон потчевал соплеменников завизированным свыше репертуаром.

— Вы бы еще танцы устроили! Здесь, между прочим, люди похоронены! — рванулся разъяренный ребе к тощему менту.

Тот от неожиданности скукожился. Но его сподручный зыркал гордым соколом. И как нарочно — все больше на меня. Впрочем, не случайно: ведь и я в этот момент разглядывал его в упор. Я еще толком не знал, на что решусь. Пока лишь пристально всматривался в игру желваков на сальной ряхе «мусора». Судя по всему, он родился и вырос в обычной «вёске»: такой же как Хатынь — заживо спаленная эсесовцами, а затем увековеченная в камне отцом Гали Левиной, моей знакомой с архитектурного. Левин-старший впоследствии возглавит еврейскую общину города. Догадывался ли он тогда, воздвигая монумент погибшим, что многие из них были не только его земляками, но и соплеменниками?.. Или эту информацию рассекретила для него только горбачевская перестройка?

— Позор! Подонки! — выкрикивали ветераны, гневно обступив расстрельную яму.

Один из них, почти совсем слепой, грудь в орденах, не выдержав надругательства, возопил:

— Евреи!

На этом выкрике вся масса загипнотизированно хлынула к нему.

— Братья, послушайте! — тембр старца стал принимать очертания Страшного Суда.

Но легавые с обеих сторон палачески изготовились — ощутив это, незрячий оратор внезапно стушевался и подкошенно зашамкал что-то про подвиг советского народа под руководством мудрой коммунистической партии...

— Окончательно затюкали мужика! — с досадой махнула рукой моя спутница.

Вокруг меня и Риты постепенно собиралась компания. Простояв полчаса, мы двинули в приозерный парк. В тот день я так ни на что и не отважился. Но совесть отнюдь не грызла, на душе было на редкость безоблачно. *Блеск садовых ножниц привиделся мне.* Я словно уже заранее знал, что 26 апреля 1986 года, день в день с приснопамятной чернобыльской катастрофой, меня выпишут из психиатрической больницы «Новинки», где я проведу последнее двухмесячье своего, как и положено, двухлетнего армейского срока!..

11

Асхаб — по-арабски «сторонник». Так величали сподвижников Мухаммада, его первых витязей, а впоследствии — и всех тех, кто хоть однажды лицезрел пророка вживе. Коранические имена охотно давали детям в брежневской Чечне: религиозное благочестие сочеталось в этом акте с неистребимой жаждой отмщения.

Асхаб Зухайраев, теневой премьер жодинской роты, куда меня под занавес перевели из Нимфска, без труда узнал корреспондента, с камерой подмышкой выезжавшего как-то на пленэр.

— А, журналист! — приветствовал он меня с характерным для всех чеченцев бирючьим подвыванием. — Что, турнули тебя из бригадной многотиражки?

Потроша вещмешок, я с опаской осваивался на новом месте.

— Тогда ты, кажется, неплохо о нас писал, — засчитал он мне очко по старой памяти.

Весной я тиснул в передовой стандартный панегирик абрекам, загоравшим на расплавленном рулоне рубероида. Теперь мне за это причитались дивиденды...

Капитан Бобров, двухметровый топотун, залучив штатного каллиграфа, с кондачка нахлобучил на мой бренный мозг ахинею внутриротных реестров и циркуляров. С майором Шморгуном, замполитом части, он ладил туговато: из меня, сноровистого в бюрократических загогулинах, решил соорудить себе надежный громоотвод.

Крючкотворствуя в заветной тишине, я ежился в ожидании не одного, так другого горлохвата. Василий Бобров, с морозца заваливавшийся из гаража, изрядно зависел от настроения. Задания его я выполнял споро, но по должности неизменно попадал ему под руку. Всласть наоравшись из-за очередной придирки, ротный ослаблял портупею и пускался в откровенность:

— Эх, Маргоўски, земеля ты мой непутевый! Когда-то ведь и Вася працовал в НИИ: Васю ўсе уважали, звали по отчеству... А теперя што? — Равнение нале-во! Шагом арш!..

Мы с ним как будто перестраивались из колонны в шеренгу: буквально только что я не смел и вздохнуть, тупо вперившись в затылок командиру, — но вот он уже запанибрата штурханул меня локтем, поводит носом, заваривает чаек...

Что до замполита — тот, наоборот, как правило вползал бесшумно:

— Так, товарищ писарь! Опять ваньку валяем? — и вытряхивал из кармана бесплатный довесок: жменю плакатных перьев.

Грунтовка показушных стендов курировалась им недреманно. Принимая во внимание психическую самобытность, я поддакивал всем перлам Шморгуна, как-то: «Киев есть крупнейший культурно-просветительский центр не только Украины, а и всей Западной Европы!» Но чихать он хотел на кротость подопечного — и, швыряясь в него угольниками, крошил рейсшины о подоконник.

Перед Асхабом все пресмыкались так же безропотно, как бригадные суслики в Нимфске — перед великаном Нестеренко. С той разницей, что новую казарму населяли одни «чучмеки»: неповоротливые, прицокивающие языком узбеки, карабахские армяне, азербайджанцы из Нахичевани...

Пахомов, празднуя фиаско недруга, заверял, что меня ждет в батальоне секир-башка. Тем не менее я с порога сдружился с Адалатом — беззаботным хохмачом с тонкими бакинскими усиками. Качаясь на брусьях, он делился со мной пикантными подробностями о дебелых хабалках с белазовского конвейера. Еще рассказывал, что поначалу служил в хохляцком взводе, и если б не подписка ребят из Грозного, ни одна из заводских барышень уже и не взглянула бы в его сторону.

Чеченцев в роте было трое: хотя наш султан прекрасно справлялся и без помощи визирей. И то сказать, под дудку их плясал весь батальон. Самозванцев двадцать, остервенело лая на построениях, обеспечивали дисциплину, уставным путем едва ли достижимую. Стаю эту спаяла безупречная круговая порука. Жесткая иерархичность обеспечивала ей полную победу.

Зухайраев был блондин, но на тюркских скулах пылало непререкаемое: «Прищеми метлу!» От него-то я впервые и услыхал о шашке из лучшей стали, белой бурке, белой папахе и коне той же масти с золотой упряжью, заготовленных для фюрера. В чаду зловещих предреканий загрохотали эшелоны с ссыльными: так и не дотерпев до киргиз-кайсацких бараков, беременные женщины мерли от разрыва мочевого пузыря...[1]

— Мы из волчьих ущелий, — ярился Асхаб, — и потому офигенно жирный кусок урывать привыкли!

Приблизительно через пять лет нашумевшая афера с фальшивыми авизо исчерпывающе оправдала его патетику.

— Марговский, — мой ночной джинн резко снижал децибелы, — хочешь в роте стать вторым после меня?

---

[1] Не могу не отметить еще одно совпадение: войска НКВД приступили к выполнению операции «Чечевица» в предпоследний год войны 23 февраля. Эта дата странным образом приходится на день моего рождения. Кто знает — быть может, вся эта чеченская эпопея в моей судьбе и есть результат магического наложения дат друг на друга?..

Готовясь к чему-то вроде ритуала братания, я почтительно немотствовал в ответ (сегодня, анализируя этот всплеск великодушия, прихожу к выводу, что мне завуалированно делали предложение)[1]. Казалось, в его душе зашевелилась преданность хазар — а то и забродила воинственность всадников Адиабены, принявших иудаизм намного раньше прочих геров. Ах, нет: скорее то заговор суфийского братства низал меня на шампур задуманной узурпации — обильно глазуруя при этом налетом мистики!

— Клянусь Аллахом! — беленился он, стоя в наряде. — Мы не спим — и штабное начальство тоже глаз не сомкнет: чует, небось, что мы о нем базарим! Нюх у этих шакалов — за версту!

Шморгуна и подполковника Беляева, сухопарого комбата, Асхаб ненавидел всеми фибрами. За одно уже то, что они выше его по рангу. Зеленое знамя пророка колыхалось на ветру коллективного бессознательного. Было это задолго до грызни горских тейпов, зверских терактов и ковровых бомбардировок. Потому, наверно, и не застали меня врасплох воспоследовавшие ужасающие события...

В одну из ночей, попыхивая анашой в каптерке, мы завели беседу о греческой философии. Его и лысоватого увальня Абу заинтриговала непостижимая личность Сократа. «Делай свое дело и познай самого себя!» — огласил я сверкающий афоризм учителя Платона, извлеченный мной когда-то из «Опытов» Монтеня.

— Вах! — воскликнули оба, выронив косяк.

Как известно, мудрецы Востока издревле черпали из кладезя эллинской учености. Недаром Аристотеля средневековой Европе возвернули толмачи Халифата. Но направленность их письма справа налево как бы воплощала в себе встречность интеллектуальной волны. На зримом, бытийном уровне интерференция цивилизаций выражалась в непрестанных сшибках креста и полумесяца. Но метафизический слой истории заметно усложнял и углублял конфликт. В девяностые годы в Москве, анаграммируя топоним «Сараево» — один из главных очагов межконфессиональной розни, я внезапно обнаружу в нем те же буквы, из которых составлено имя «Аверроэс»...

О Сократе я бы мог им порассказать порядком, но Асхаб вполне удовольствовался одной цитатой.

— А теперь, — шелестнул он глянцем невесть откуда взявшегося «Плейбоя», — давайте-ка полюбуемся на задницы этих сучек!

---

[1] Догадку мою, уже в Израиле, во время перекура подтвердит Камилла, восемнадцатилетняя сотрудница телефонной компании «Кавей Захав» («Золотые линии»), где мне доведется работать. Журналистка из Баку, еврейка по матери, по отцу азербайджанка, она через своего любовника — скрывавшегося в горах чеченского боевика — неплохо изучит ментальность горцев, а посему, когда я поведаю ей этот армейский эпизод, скорчит сочувственную гримаску (вероятно, опираясь на свой личный опыт): как если бы я и впрямь пошел на поводу у «расщедрившегося» султана.

Чересчур пряный разговор о плоти — это либо компенсация природной ущербности, либо же экспансия витальной мощи, лукаво отсрочивающей мысль о метемпсихозе. Переселение начинки наших тел, ее всеблагая продленность в предстоящем перерождении — вот в чем тайный смысл всякого человеческого соития, любого оргазма, доступного смертному воображению.

Тот же Сократ, по природе двуполый, помимо отпрысков биологических, чаял обзавестись и детьми духовными. Не довольствуясь прямой передачей генов, он, обливаемый помоями Ксантиппы и побуждаемый инстинктом бессмертия, неустанно прививал тайную мудрость своим последователям. Сын скульптора Софроникса и повивальной бабки Фенареты претендовал на сан простого смертного и нерукотворной статуи одновременно: недаром во время морского похода в Потидею он простоял, не шелохнувшись, целую ночь.

Наследуя отцу, он пробовал работать по камню: «...одетые Хариты на Акрополе, по мнению некоторых, принадлежат ему», — пишет Диоген Лаэртский. Но в итоге мудрец предпочел тесать идеи из лексических глыб средиземноморского койне и ваять последователей своего учения из податливого афинского юношества: сведя воедино профессии обоих родителей и замахнувшись на заманчивую роль демиурга[1].

О подражании богам свидетельствовал и его аскетизм: «Лучше всего ешь тогда, когда не думаешь о закуске, и лучше всего пьешь, когда не ждешь другого питья!» — гласил его афоризм, подразумевавший, что чем меньше человеку требуется земной пищи, тем ближе он к вершине Олимпа. Из сатир Аристофана следует, что философ ходил босой: так он уподоблялся множеству статуй, изображавших насельников греческого пантеона.

По утверждению Диогена Лаэртского, Сократу принадлежит следующее изречение: «Удивительно, что ваятели каменных статуй бьются над тем, чтобы камню придать подобие человека, и не думают о том, чтобы самим не быть подобием камня». Если бы он тогда же отважился прибавить: «но быть подобием богов», — то, возможно, расстался бы с жизнью значительно раньше.

Он и в жене своей видел подругу бессмертного олимпийца, иногда подменявшую супруга в исполнении сакральных функций — не зря ведь пошутил, когда она, в очередной раз выругав его, окатила водой: «Так я и говорил, у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь».

---

[1] Впрочем, сотворчество богам, которого он жаждал, сочеталось у Сократа с заурядным продлением рода: одного из троих сыновей он нарек Софрониксом — в память о деде, мастере резца. Благоговение же перед отцом осталось доминантой всей его жизни; Евтифрона, подавшего на своего родителя в суд за убийство гостя, он — с помощью рассуждений о благочестии — отвратил от недостойного замысла.

От афинского философа, этого каменного кумира, неизменно отскакивали и потуги освистывавших его комиков, и свирепая ругань сварливой супруги. Высмеивание им то ремесленников, то политиков, то риторов, то поэтов — косвенное доказательство его богочеловеческого самовосприятия: кто еще без разбора станет метать громы-молнии в простых смертных?.. Надо ли говорить, что софисты Анит и Мелет, а с ними и всесильный демагог Ликон, затаили на него обиду не столько за многочисленные ниспровержения каст и цехов, сколько под влиянием известного им суждения пифии, ответившей на вопрос Херефонта: «Сократ превыше всех своею мудростью!»

По одной из версий, он умер не от яда цикуты, а надышавшись серным чадом, исходившим из расщелины, где обитала дельфийская пророчица. Если это и не так, версия точна в метафорическом смысле: ведь именно зависть гонителей, подобная испарениям серы, спровоцировала гибель богоравного философа — удушив его своим ядом. Клятвенное их заверение перед судом звучало так: «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софроникса из Алопеи: Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то — смерть». Бесстрашное высказывание осужденного: «По заслугам моим я бы себе назначил вместо всякого наказания обед в Пританее!» — в тот момент, когда судьи совещались, определяя ему кару, — еще одно свидетельство убежденности в своей божественной природе.

Так или иначе, а вместо дивной амфоры с нектаром из горних трав, он через несколько дней выпил в тюрьме цикуту — настой из болотного горького веха.

Пей у Зевса в чертоге, Сократ! Ты назван от бога
Мудрым, а мудрость сама разве не истинный бог?

Этот гекзаметр Лаэрция как нельзя точней отражает суть тайных устремлений философа: вот кому родиться бы римским императором, дабы его идолы воздвигались для поклонения в завоеванных землях!

Впрочем, как известно, афиняне раскаялись очень скоро: в честь невинноубиенного воздвигли бронзовую статую работы Лисиппа — поместив ее в хранилище утвари для торжественных шествий. О большем Сократ и мечтать не мог: как жил, так и умер — самоизваянный предтеча еврейского богочеловека. Все четверо его тезоименитов — и аргосский историк, и перипатетик из Вифинии, и эпиграммист, и толкователь божественных имен, — на поверку оказались лишь недобросовестными копиями...

Нечто похожее я наблюдал и в Хадееве — хоть его причастность к мужеложству и сомнительна (по крайней мере, слухи о том никогда не муссировались в открытую). Но Кимова тяга к слюня-

вым лобызаниям при встрече, застольные беседы в парной за пивом, в белых тогах, — это ли не закладка фундамента эрзац-семьи, призванной унаследовать его коронные идеи?

Давним философским коньком его была двоичность — термин, отчасти восходящий к доктрине Мартина Бубера, отчасти же навеянный половинчатостью происхождения. В перерывах между очередной халтурой и мастер-классом он напруженно катил в гору сизифов валун одноименного трактата. Все его вихрастые недоучки — от долговязого Глеба и пермяка Ромки до фаворита Артурчика — в один голос подстегивали старика: ты гляди, не похерь своего magnum opus'а!.. Завершил ли он его в итоге? Б-г весть. Знаю только, что скончался от рака осенью 2002 года — добившись чуть ли не официального признания в связи с новыми поветриями, выступая по местному TV и скромно величая себя человеком-глыбой...

Геморрой доставлял ему массу страданий. Сутулясь в предвкушении предстоящего разгрома, я слушал, как он покряхтывает за дверью нужника. В унитазе отсутствовала крышка. Руки сполоснуть можно было лишь на кухне. Не год и не два бедствовал бобыль в каморке, принадлежавшей некогда его сестре. «А ведь всю свою жизнь был окружен женщинами!» — укоризненно качала головой мама Юли Лебедевой, знавшая его когда-то в молодости.

Махровый ассимилянт помышлял о создании ордена полукровок — нечто вроде штайнеровского Гетеанума, но только на генетической основе. «Еще один полтинник!» — потирал он руки, заарабанив к себе Фила Аксенцева, носатого текстовика белорусских рок-групп. Тому прискучила учеба в Радиотехе, он публично набуянил, нацепив футболку с надписью «Hell». Но вызов в местное ГБ разом остудил его пыл: там он распустил нюни, был прощен, и впредь обходил наши печки-лавочки за версту.

Я водил к Хадееву Ханку Зелькину, еще до ее брака со Строцевым. Захмелев от шампанского, Ким горланил, горланил и вдруг зарапортовался. Переглянувшись, мы тихо прыснули. Тогда он резко посуровел: «Вы, — прошептал истошно, — понятия не имете, *как* это больно!»

Ира Вайнштейн — тоже из «полтинников», — очутившись у него, сразу же заныла: «Мне здесь не нра-авится. Пошли отсюуда!» Что ж, немудрено: отец ее был человеком преуспевающим. Помню, 9 мая 1982 года, отдав дань памяти пяти тысячам жертв гетто, мы завернули к ней на чашечку кофе.

— Что это вас вдруг туда *понесло*?! — искренне поразился Вайнштейн-старший.

В Нимфске негласно считалось: если посещаешь Яму — значит ты поставил крест на своей карьере...

Впрочем, я далек от мысли, будто изменял Ире из-за недостатка в ней стоической твердости. Родней ее попрекал — из песни слов не выкинешь. Как-то, во время каникулярного вильнюсского

вояжа, даже до слез довел. Но при этом и доводил исправно до всплесков восторга: например, тогда, в ванне — когда ее кузина, пампушечка Женя, прошмыгнув мимо распахнутой двери, покраснела до корней волос...

Рано осиротев, эта ее родственница не утратила однако же природной жизнерадостности. Принимала гостей по гамбургскому счету. Свозила нас в Музей чертей, в музей Чюрлениса — где я, резонер, нагло фанфаронствовал на фоне космической гаммы оттенков: «Синтез искусств сродни сектантству! Собственно, я не против очередной религии — просто мне недостает убедительной философемы...» — после чего чуть поодаль презрительно фыркнула парочка литовских интеллектуалов. Узнав от Иры, что ее отец в свое время наложил лапу на имущество погибшей в автомобильной аварии сестры — обобрав тем самым прелестную Женечку, — я гнусно использовал этот козырь в нашей очередной ссоре. Спутница моя рыдала на вокзале, среди пестряди цыганских тюков. Примерив на себя мантию третейского судьи, я лишь ускорил свое собственное отпадение от родового ствола...

Все лето накануне отчисления я бузил напропалую. К Иветте подсел в миниатюрном зальчике кинотеатра «Беларусь» на просмотре «Зеркала». В ее алгебраически выверенную экзистенцию я вломился с таким напором, что она, опешив, поначалу приписала мне грузинский акцент. Парадоксы и трюизмы, инкрустировавшие мой пролог, прошли успешную апробацию в предыдущих ирокезских «налетах». Каскадом складных небылиц я искусно вызывал у дев состояние полуобморока.

Уболтанная в одночасье, Ветка позволила моей ладони жадно завладеть ее негроидной шевелюрой. Эпизод этот — проассоциировавшись в моей подкорке со скальпом перебежавшего мне дорожку Илюхи Горелика — сыграл, вероятно, не последнюю роль.

Поцелуи наши взасос, под пыльной листвой малознакомого парка, походили на пикник двух каннибалов. Помолвка ее с гнусавым Эдиком расстроилась в считанные секунды. Разыскав мехматовского очкарика-лаборанта, я лихо высыпал на стол стопку книг, сопроводив это просьбой впредь не беспокоиться (его московский коллега Дмитрий, похититель моей невесты Маши Левиной, со временем сумеет отстоять честь цеха).

Африканский темперамент, обитавший в хрупчайшем тельце моей новой возлюбленной, вырывался протуберанцами в самых людных местах. В ДК строителей (о, эти знамения свыше: вспомнить бы мне о стройфаке, о заваленном сопромате!), на чердачной приступке, открытой всем взорам, она принялась самозабвенно расстегивать верхние пуговицы моей сорочки. Настигнув ее в нарочанском профилактории, я тоже захотел доказать, что я вовсе не пустомеля. Спасаясь от ливня, мы арендовали веранду у бабки-шептуньи. Иветта стянула с себя чулки — без злых намерений, для просушки... И безумие, взвихренное ароматом томной мякоти, зажгло в мгновение ока мою отсыревшую душу.

— Не сейчас! Пусти! — извивалась она в тисках, покуда старатель нашаривал в лазоревом гроте рубиновую залежь — венец своего славного маршрута.

Обессиленная поединком, она заплакала:

— Ты ведешь себя подло!

И тут я сдался. Не сдрейфил, а просто почувствовал к ней сострадание. Как если бы именно этого она от меня и ждала...

К счастью, гнев ее быстро сменился на милость.

— Веточка, миленькая! — успел проронить я, осязая стетоскоп влажных губ, обследующий болящего в направлении эпицентра заражения...

Казалось бы — вот оно! Но, вернувшись в город, мы зашли в расцвеченное смальтой кафе. Заказав пломбир и бутылку «Игристого», я запоздало нащупал в кармане шиш с маслом.

— А давай смоемся? — предложил свой вариант подружке. — Жди меня под козырьком кинотеатра: оттуда рванем вместе.

Все бы ничего, да кургузая официантка оказалась куда прытче рептилии, которой сперва показалась. Лениво труся по направлению к вожделенному силуэту у касс, я учуял за собой погоню из вестерна.

— Держи паскуду! — припустила галопом халда в переднике.

Нашкодивший фраер метнулся в тупиковый двор. А там — высоко идейный абориген заломил ему руку с назидательным речением:

— Скажи спасибо, паря, что сегодня наши «козла» не забивают!

Впрочем, козлом отпущения я-таки стал в тот день. Пожав обильный урожай оплеух — за всех, безнаказанно улизнувших когда бы то ни было прежде, —расплатился за свою выходку по тройному тарифу. В противном случае заполнившие гадюшник подавальщицы грозили мне каталажкой.

— Дома дитё некормлено! — стыдила меня взъерошенная фельдъегерша (позже, в иммиграции, примкнув к шустрой клике тель-авивских гарсонов, я сполна удостоверюсь в ее моральной правоте).

Иветта заняла пятерку у знакомой, случайно наблюдавшей эту жанровую сценку.

— М-да, своеобразный же у тебя вкус! — прокомментировала та.

— Что ж, первый блин комом. Может быть, нам все-таки стоит заняться гангстеризмом? — пошутил я, едва выпутавшись из силков.

— Будь так добр, — вскинулась моя возлюбленная, — помоги мне поскорей забыть про эту буффонаду!

Ира больше месяца не отходила от кульмана. Ее поглощенность дипломом развязывала мне руки. Поскольку пересдача планировалась лишь в октябре, сопротивление материалов мало меня тревожило.

Честно говоря, никто особенно и не сопротивлялся. В ботаническом саду Катя Покровская подсела ко мне сама:

— Молодой человек, вы случайно не поэт?

— Попали в точку.

— О! Как любопытно!

Экзотика, впрочем, весьма спорна, и причин тому много. Во-первых, хроническим хворям неизбежно сопутствуют кривотолки. Во-вторых, погружение в себя чревато отрешенностью от насущного. Наконец, каждой строчкой, каждой своей очередной темой ты задаешь фазы собственного развития...

Так, крестовый поход детей надолго замкнул мое сознание на медиевистике. О нем я в свое время вычитал еще в оранжевой десятитомной энциклопедии. В 1212 году в парижском аббатстве Сен-Дени 12-летний Этьен перстом указал своим ровесникам на Гроб Господень. Возможно, троекратность апостольского числа в этой увертюре и послужила катализатором мистического взрыва, грянувшего в моей душе. Метафизическая история — вот пучина, в которой я духовно сгину без остатка. Паладинов же оприходуют старательные компрачикосы: обратив их, прозрачных как стеклышко, в карликовых арлекинов для монарших дворов...

Эксперимент с Покровской довольно быстро заглох. У меня в спальне она выспренне глаголала про живописца, мазохистская страсть к которому испепеляет ее нутро. Жуиром подбоченясь, я стремительно сбил ее стрелку с азимута.

— Боже, что ты натворил! — ужаснулась она. — Я ведь теперь люблю не его, а тебя!

Пересол с экзальтацией настораживал. Интуиция меня не подвела: выйдя замуж, Катя вскоре лишилась своего избранника — от полной безысходности сиганувшего из окна...

Аутентичное еврейство Иветты было мне ближе ассимилянтского конформизма Ирины. В доме Лившицей я впервые услыхал укоризненный баритон Галича: от неповоротливой бобины исходил притягательный дух запрета. Но лента Мебиуса, теорема Лапласа, бином Ньютона — все это показалось мне и чуждым, и скучным. В шутку набрасывался брачный контракт, обязывавший меня свить уютное гнездышко.

— Любовь, — апеллировал к авторитету Стендаля ее университетски высокий IQ, — единственная область, где чем больше отдаешь, тем больше и получаешь.

— А как же искусство? — робко заикнулся я.

— Увы! Одно из самых неблагодарных поприщ.

Все корни были извлечены, уравнения решены, пропорции выверены. Но криптограммы бытия это нимало не проясняло.

Повздорили мы из-за свежего номера «Немана», где публиковалась новая вещь Воннегута. Иветта тащила меня к киоску, но купить журнал я наотрез отказался: гремучая смесь упрямства с постыдной скаредностью! На следующий день в направлении Заславля я отбыл в гордом одиночестве...

Вдоволь намахавшись веслами и набив мозоли, я сунул обратно за пазуху паспорт, в залог остававшийся у сиплого лодочника. Уже в электричке спохватился: не мой, с бодуна перепутал старый болван! Мурло рыбаря, удившего на мармыжку, оказалось прописано по улице Гамарника.

В Нимфске этих «хрущоб» — что карпов в пруду, но чужой паспорт привел меня именно к ее пятиэтажке. Мало того: рыбак жил прямо над ней! Понятно, что я узрел в этом особое предзнаменование. Но Иветту это совпадение лишь слегка позабавило: теория вероятности — и ни на йоту чародейства.

— Я решила, что не буду больше с тобой *ходить*. Или как там это у вас называется?..

Убедившись в том, что приговор обжалованию не подлежит, я в отчаянии ринулся к Ирине. Та стоически жарила блинчики на сковородке.

— Здесь тебе, Гриша, не тихая пристань! — блеснула окулярами неумолимая выпускница архфака.

Вот тут-то я, ротозей, и вспомнил об Ане Певзнер, сыгравшей в моих похождениях роль сарафанного радио. Что поделаешь — мир тесен! Все тайное неизбежно становится явным. Нас с мехматовской красоткой она замела после одного из пригородных променадов. В обаянии Аня заметно уступала утонченной Ветке, а в постельной раскрепощенности — своей сокурснице Вайнштейн. Но ведь это еще не повод, чтобы свежевать меня прямо на вертеле!

Впрочем, поделом: эра полигамных библейских патриархов безвозвратно миновала. Смущало другое. Одолев мою поэму, Анечка как-то мимоходом поинтересовалась: не попадалась ли мне на глаза повесть Курта Воннегута «Бойня №5, или Крестовый поход детей»?..

— Если б я был султан, я б имел трех жен! — пока в моем гипоталамусе стрекотала донжуанская кинохроника, Зухайраев, хищно мусоля «Плейбой», напевал шлягер из «Кавказской пленницы».

Абу, его правая рука, застыл немигающей саламандрой: он явно сожалел об окончании лекции по античной философии. Казарменная жизнь угнетала тошнотворным однообразием.

Лишь изредка в нашем болотце раздавалось побулькиванье. Например — когда Алимов отбил левое яичко луноликому уйгурскому принцу. Новичка прооперировали. Его супостату в чирьях стали мерещиться дисбатовские нары. Проштрафившегося ержанта тут же разжаловали. Прежде бука, он теперь лизал руки мне, ротному писарю: не составишь ли, мол, ходатайство о помиловании?

Привилегированность моя иных раздражала: гаражная каста грозно скрежетала карбюраторами. Кишлачные тянитолкаи с фрикативным вождем Жутько во главе искали случая меня окоротить. Один феллах занес было кулак над моей головой — но я не задумываясь вмазал по ишачьей челюсти.

— Улумбек такой дубина! — радостно сверкнул золотой фиксой мой усатый приятель Адалат.

Но коварный ефрейтор Жутько, обидевшийся за своего подчиненного-среднеазиата, улучил хвилину и расшатал стул в ротной канцелярии: капитан Бобров, заскочивший с мороза погреться, шмякнулся седалищем о желтый линолеум...

Вольтерьянства командир не спустил — велел немедля созвать комсомольский актив. Надежда была только на Асхаба. Накануне я ему слово в слово доложил о возгласе, вырвавшемся у Жутько: «Ох, уж этот мне чечено-ингушатник!» — «Я ему покажу чечено-ингушатник!» — сжал пудовые кулаки последователь Шамиля.

Капитан, верно, чуял, что писаря кто-то подставил, но на собрании рычал вурдалаком: тебе, дескать, доверили святая святых — как посмел ты притупить бдительность?!

— Вопрос к обвиняемому! — вставил один узкоглазый пигмей. — За что тебя убрали из управления бригады?

— Оставь, это личное!.. — отчего-то зашикали на него прочие члены ареопага.

Отсутствие логики у толпы неисповедимо.

Перехватывая инициативу, я обрушился на ефрейтора: провокация шита белами нитками!

— Кажи, кажи! — оживился западенец — и неожиданно раздухарился: — Та я у себя в селе таких, как ты, вешал!

— Кишка тонка, гнида гайдамацкая!

— Цыц! — взревел Зухайраев. — Пусть лучше ответит: чо он недавно залепил про Чечено-Ингушатию?!

Жутько от страха слипся. Наступила пауза. Растерявшийся было капитан, вновь беря в свои руки бразды, решил проявить межнациональную гибкость:

— Короче, что запишем в резолюции, Асхаб?

— Обоим устный выговор и расходимся, если Гриша уже кончил психовать.

Завклуба прапорщик Лазарев, с которым мы общались на шершавом языке плаката, был со мной на первых порах весьма обходителен.

— О, мой юный друг! — похлопал он меня покровительственно по ключице, когда я вкрадчиво поинтересовался: неужто его способностям не нашлось применения на гражданке.

Но со временем его толерантность куда-то улетучилась. Судя по внешности, он представлял собой нередкий в здешних широтах славяно-семитский гибрид, — что, однако, не помешало ему гастроли в нашем клубе конферансье Синайского из Нимфской филармонии прокомментировать таким образом:

— Сходил бы, полюбовался на ужимки своего родственничка!

Помнится, тогда я ему ничего не ответил. Я еще мало знал об извращенной природе еврейской самоненависти, моей реакцией на этот выплеск было лишь изумление.

Расстановка сил оказалась классической: черная клеточка — белая, и так в шахматном порядке. Комбат Беляев к Лазареву отечески благоволил. Майор же Шморгун, напротив, питал нескрываемую идиосинкразию. Между нами уже стали возникать трения: мне, загруженному по горло, завклуба норовил сбагрить свои заказы.

Дождавшись штиля в бурной акватории поллитра-ботника, я посетовал ему на антисемитскую подковырку Лазарева. Вылупившись на меня, как баран на новые ворота, тот долго, с угрожающим видом, напрягал извилины — пока наконец, против воли, не выдавил из себя:

— Вот подонок! — Noblesse oblige...

Эх, лучше бы мне не ступать на эту минную чересполосицу! Эхо конфликта мгновенно докатилось до комбата: лязгнув клыками, он сделал зарубку в моем личном деле.

Вдобавок ко всему, в Кремле уже заваривалась каша XXVII съезда: бывший выпускник Литинститута писатель Титаренко вусмерть спивался в воронежской глуши — и, не постеснявшись упрятать родного брата в психушку, гарная искусствоведиха Раиса Максимовна в воспитательных целях решила перекрыть своим подданным извечный источник вдохновения... Русь-тройка, взгромоздясь на кривые рельсы Перестройки, гулко тарахтела из Москвы в Петушки: в мутном сознании дураков, уже не разбиравших ухабистой дороги, «сухой закон» залихватски выдергивал стоп-кран!

Воин-путеец в заболоченном Жодино жался комком к насыпному гравию. Но эпоха такая выпала: велено либеральничать. С помпою к нам прибыл генерал из киевского корпуса. Между тем, после бессонной ночи, подостлав газеты, я сладко похрапывал на занозистых полу. Гонец растормошил меня: златопогонный ревизор требует к себе сочинителя железнодорожного гимна!

На скаку надраивая бляху, я предстал пред ясны очи на скрипучей сцене. Однополчане, затаив дыхание, глазели на нас из партера.

— А и я ведь когда-то стишками грешил! — расплылся воевода, не чуждый некоторого декадентства. — Молодчина! Поощрить его десятидневным отпуском!

— Так точно! — прищелкнуло каблуками батальонное начальство.

Видно, то Сервачинский пожелал меня премировать: да одного его влияния в бригаде недоставало...

Этот мой триумф не замедлил вскоре сказаться плачевно.

— Особо приближенный к императору? — рявкнул на меня комбат, прянув из служебного кресла. — Почему прапорщику честь не отдаете? Об отпуске и не мечтайте, ваше святейшество! Хотите — можете телеграфировать в президиум съезда. Но имейте в виду: *мы вас посадим раньше, чем вы нас!*

Полноте, товарищ Угрюм-Бурчеев... Нешто я способен кому честь отдать? Да и куда, скажите, опосля без нее деваться? А про

ваши шахеры-махеры с казенным бензином — знать ничего не знаю, не имею чести. Горючее налево — пущай себе течет рекой! Это Карамзин сетовал, что все вокруг воруют: меня не колышет, моя хата с краю. Я-то ведь и сам, что называется, не без греха. «Письма русского путешественника» — когда-то в «Букинисте» свистнул. Не верю ушам своим и глазам. И вашим не верю, пардон за откровенность. Я ведь оккультист-самоучка, не какой-нибудь там окулист занюханный! Нетитулованный приспешник Мейстера Экхарта, Якоба Бёме и Эммануила Сведенборга. Как вы изволили выразиться, ваше солдафоние? На зоне еще под мой гимн не маршировали? Дело поправимое! К самому трибуналу и подгадаю — присочиню пяток-другой куплетов. Я ведь для этого одеревенел достаточно: дубина стоеросовая, орясина непутевая! И Машка Левина врет: никакой я не Стриж, я — страус. Не тот Леви-Стросс, что в дельте Амазонки за туземцами гонялся, а натуральный — попсовый, джинсовый Леви-Страусс! Половинки были такими аппетитными, сочными, манящими: так бы и кусанул тропический плод!..

Великое оледенение ждало меня в роте. Мамлюкского правителя словно подменили. Тем же завораживающим шепотом, каким он недавно сулил мне сан паши, Асхаб ныне грозился вышвырнуть меня за забор. «Как драную кошку!» — шипел он в ухо намеченной жертве. Спасибо Абу — вмешался, встал между нами, подобно миротворческим силам ООН.

Я и раньше замечал за ним эти перепады. Как-то к нам перевелся киевлянин Дидковский. Хлопец видный, витиеватый, в гражданской жизни — диск-жокей. В Зухайраеве вдруг проснулся меломан. Часами он выпытывал у своей новой цацки: про солнцезащитные очки Джонна Леннона, про белую майку Фрэдди Меркури... И вдруг — извержение. Шлея под хвост. Затрещина сбивает с ног опального ди-джея. «Асхаб! — возмущается тот. — Что за *манэры*?» — «Какие, на хрен, *манэры*, мудак?!» — рычит бывший меценат и бьет повторно...

Прапорщик Бабий заведовал у нас санчастью. Я пришел сдаваться с повинной — хоть в чудном имени его и проскваживал Бабий Яр. Однажды он уже возил нас к дантисту — меня и флегматичного лысеющего чеченца, про которого Зухайраев говаривал: самый, мол, надежный мой кореш из наших. И вот, посреди автобусной тряски, жалуясь на десенный зуд, я вдруг обнаружил, что горец... мне искренне соболезнует! В зрачках его зажглось сострадание, я даже осекся от неожиданности. Такая вот петрушка — вдруг, ни с того, ни с сего. А был он, помнится, чуток постарше других своих земляков...

Возможно, все дело как раз таки в возрасте: и существуют нации-подростки, склонные к самоутверждению посредством раздачи тумаков окружающим. Они попросту еще не дозрели до адекватного восприятия геополитической реальности — в соответствии

с которой, миром правит разделенная океаном чета ядерных чемоданчиков. Нелегко ведь смириться с таким обидным фактом — то и дело тянет перейти на блатной жаргон вокзальных ворюг...

Сегодня, вспоминая Асхаба, я готов держать пари: впоследствии он принял деятельнейшее участие в «чеченском бунте». Возможно, теперь лечится от ран где-нибудь в Надтеречном районе. Или занимается переправкой оружия из Турции. Если, конечно, его кости не упокоились под грозненскими руинами... Ведь снежные барсы, как известно, неприручаемы. Предикаты и силлогизмы не властны над их родовым мышлением.

— Тебя что, бесит мое происхождение? — ломал я голову, взывая к его совести на последнем издыхании.

— Марговский, ты чо, рехнулся? Я и сам похлеще любого еврея буду! — гоготал он в ответ.

И добавлял:

— Хотя знаю: среди вашего брата полным-полно вредных людишек!

А как насчет вашего брата, Асхаб — сладострастно отрубающего пальцы несовершеннолетним?.. Как насчет того израильского мальчика — по имени Ади Шарон — которого в Москве похитят горские бандиты и будут держать в яме, морить голодом, да при том еще и калечить с поистине восточным сладострастием?.. Даже московский милицейский чин, выступая по телику, не скроет своего огорчения, предупреждая о новой угрозе для лиц еврейской национальности[1].

Оба народа, равно обреченно, с временным разрывом в два тысячелетия, отчаянно противостояли иноземному вторжению. Чеченских кампаний было две — как нарочно по числу войн Иудейских. Скрижаль старца Филофея: «Москва — Третий Рим» лишь теперь просияла в своем истинном историческом значении.

Воины Шариата скошены российскими ракетами, как зелоты Галилеи — короткими мечами легионеров. Но разве кто-нибудь в свое время вступился за мятежников Бар-Кохбы? Кто-то приударил в набат масс-медиа? Электронно-лучевую трубку с опозданием изобрел еврей Розинг — петербургский кудесник, в поощрение за это сосланный при Сталине на Север.

---

[1] Это случится через пару месяцев после того, как наш менеджер, израильтянка Шарон (еще одно знаковое совпадение!), девица крайне левых взглядов, безжалостно вышвырнет меня из телефонной компании — из-за провокации, которую подстроит мне мстящая за своего моджахеда Камилла. Однажды утром она займет мой компьютер, а я — вполне вежливо попрошу освободить закрепленное за мной рабочее место. Камилла, одна внешность которой будет внушать мне мистический ужас (на Пурим она выкрасит волосы в алый цвет — протестуя против геноцида чеченцев), наябедничает, будто я ее грязно оскорбил. Тогда я ей брошу в присутствии начальницы: «Ты заявляешь, что ТАНАХ — книга, изобилующая инцестами. Неужто твой Коран научил тебя так безбожно лгать?» Шарон сделает страшные глаза: что ты, что ты, как можно! И на полгода оставит меня с женой и новорожденным младенцем на голодном пайке.

Да, мы лезли из кожи вон, стараясь приглянуться языческому миру: Новый Завет для идолопоклонников и банковское дело для рыцарей-грабителей, творческая эволюция и теория относительности, интуитивная память и синхрофазатрон, голливудские грезы и новейшие компьютерные технологии. Однако мир попрежнему больше сочувствует прожорливым дикарям. О каждой их жертве сегодня трезвонят либеральные радиостанции — а насто изничтожали под покровом хладного безмолвия, лишь изредка нарушаемого ликованием александрийских греков!

Кто, спрашивается, протянул руку помощи несчастным трупоедам, зарывшимся в плутоновы катакомбы Святой земли? По Египту прокатилась волна погромов. Пелопоннесские философы лениво лакомились Диогеновыми фигами. Один лишь дакийский вождь Децебал подхватил знамя восстания — дабы вскоре предпочесть колодкам самоубийство...

Отчего же значительная часть израильского еврейства все-таки приняла сторону Ичкерии? Что, помимо трусости и извечной сервильности, могло послужить причиной этому? Быть может — самоотверженность русских воинов, взятием рейхстага отвративших от нас дамоклов меч поголовного истребления? Или медовые речи чеченских старейшин, призывавших встречать Гитлера хлебом-солью?

При этом сочувствия с той, с другой стороны, нам ни за что не дождаться: душой чеченский народ всегда был и остается с палестинскими убийцами. Российские иудеи — те хотя бы не славословили штыки и пушки генерала Ермолова. После сталинской высылки грозненский раввин запретил общине занимать опустевшие дома: «И нам в свое время выпала юдоль рассеяния, — молвил он во время субботней молитвы, — посему да оставим жилища изгнанников в неприкосновенности!»

Италийским кремнем о кресало Палестины высечена искра Христовой любви. Но что человечеству несет ваххабизм? Правду однобокую, родовую узость! Захват заложников, резня и взрывы — за все это сегодня взыскано по векселям. Неумолимым кредитором — страной Набокова и Вернадского, Владимира Соловьева и Петра Чайковского, химика Менделеева и поэта Мандельштама. И я бы, честно говоря, поставил на этом точку.

Если бы не глаза лысоватого горца, смотревшие мне тогда, в нимфском автобусе...

— Ладно, — поскреб затылок прапорщик Бабий, — но учтите: свободы как таковой вы там будете лишены.

— Не беда, к этому я давно привык! — заверил я.

И, впрягшись в алюминиевые салазки с укутанным в шерстяное кашне чадом, он захрустел впереди меня, осторожно ступая по шершавой шкуре буренки, усеянной мартовскими проталинами.

Махонькие ботиночки, подрагивая в такт его грузным шагам, ассоциировались в моей памяти с лакированной обувкой Машуни — дочурки композитора Эльпера, выгуливаемой ее отцом накануне мобилизации.

Рита сознавала, что мой отъезд в Москву навсегда обрывает ту предосудительную нить, которую мы вдвоем так самозабвенно пряли на зависть злопыхателям. Спасенный веретенщицей Ариадной беглец оставлял свою благодетельницу один на один с косматым чудищем.

На исходе первого литинститутского семестра я выловил ее, приехавшую сдавать зимнюю сессию, в коридорах Гнесинки. На руку и сердце нимфской прелестницы об эту пору уже вовсю претендовал Боря Серегин, приобретший букетик маргариток прямо на перроне. Покалякав с ними из вежливости около часа, я покинул будущих молодоженов на одной из скамеек бульварного кольца. На смену дипломированной композиторской манишке пришли кофейные штроксики влюбчивого трубадура...

Риту, кстати говоря, весьма вдохновлял тот факт, что я некогда путался с кокеткой Иветтой (о чем не преминула сообщить ей Юля Крысько, вольготно плескавшаяся в чане университетских сплетен). Юля же вонзила и стилет виндетты в мою узкую грудь — когда, розовощекий, в январские вокабулы я осчастливил «Радугу» своим появлением.

На очередном заседании клуба тщательно обгладывались чьи-то косточки. Как водится, все высказывали свое «фэ» по кругу. Дошла очередь и до грозных филиппик Крысько. Высокомерный тон внучки письменника меня развеселил. На столе я заметил запыленную хлебницу — и, не долго думая, приторочил узорчатую медь к затылку филологини: золотой нимб обрамил непререкаемость ее суждений.

В мгновение ока клацнула пощечина. Помрачнев, я выскочил на крыльцо покурить.

— Сам подставился! — злорадствовала Юля. — Давно хотела это сделать, да все повода не находила. Он отлично знает, за что!

Сама отмщенная в ту пятницу как нарочно отсутствовала. Зато на посиделки я пригласил Анюту Певзнер — явно озадаченную сицилийской выходкой толстухи. Несостоявшаяся балерина с прозрачными запястьями сочла варварской жестокостью хлестать поэта по бледным ланитам. Даже если он и впрямь отъявленный мерзавец. Сама она, между прочим, использовала методы куда как утонченней...

Расскажу поподробней. Иветта все же выскочила замуж за мехматовского лаборанта — того самого гунявого Эдика, которому я в свое время вернул книжки по ее просьбе. После свадьбы я неожиданно был зван на коктейль-парти.

— Знакомьтесь, это Гриша, гений стихосложения, — вздумалось поглумиться новобрачной.

— Кто же в наше время в рифму не пишет? — усомнился в ее рекламе какой-то особенно занудный технарь.

— Пишут многие, а гений — он один!

Ощущающий себя на седьмом небе жених при этом филистерски лыбился: салютуя то ли ее издевке, то ли собственному реваншу. После этого я долго еще колготился — трезвонил ей, выкраивая тайное свиданье. Однажды почудилось: она отвечает в трубку сквозь слезы.

— Угадал, — мрачно подтвердила Иветта. — Не до праздника мне в последнее время.

— А какие проблемы?

— Да так. Со свету потихоньку сживают.

— Кто это смеет? — кукарекнул я задиристо.

— Кто-кто! Супруг мой законный, кто же еще...

Что до Иры Вайнштейн-Машкиной, у той вроде бы все складывалось тип-топ. Она благополучно расписалась с Мишей Иоффе — рано облысевшим могилевчанином, явно не желавшим после распределения вносить лепту в архитектурный облик своего унылого захолустья. Он, Горелик и я, помнится, пытались кучковаться на заре учебы. Триумвират наш рассыпался, как ветхий складень, хотя Мишку, в отличие от эгоиста Ильи, стремившегося только лидировать и никогда — дружить, я все еще продолжал числить добрым малым. Однажды летом, когда в общаге затеяли капитальный ремонт, я на пару ночей приютил бездомного провинциала — прожужжав ему все уши своими амурными похождениями.

— Так значит вы и с Ханкой тоже целовались?.. — укоризненно поморщился переборчивый приятель.

Безответной его страстью была Зиночка Перельман — белокурая вертихвостка *из хорошей еврейской семьи*, снобизмом и блажью совершенно обескровившая свою несчастную жертву. Иоффе хватался за сердце, принимал пилюли. Но заарканить дочь видного архитектурного чина ему оказалось не по зубам.

Что бы такое предпринять? Не вертаться же в губернию! — И он, перегорев, скооперировался с рассудительной Ириной. Семейная ладья, надежно просмоленная дабл-разочарованностью, устойчиво понеслась по житейским волнам. Крошка дочь, трехкомнатная хрущеба и место рекламного оформителя — это ли предел мечтам? Прибавьте охоту к перемене мест, водительские права и the Queen's English[1]: и весь выводок — фюить в Город Желтого Дьявола! А там — за Саргассовым — чем, спрашивается, не житье?

Проведав о моем поступлении в Литинститут, Ира встрепенулась. Явилась ко мне в уморительных кудельках. В ответ на ее

[1] Иру с Мишей я неожиданно встречу в Америке. Они приобретут шикарный дом в районе Лонг-Айленда; старшая их подрастет и упорхнет из гнезда — тогда на смену ей явится кроха-сестра. Увидев меня, Ира так и ахнет: «Ну ничего себе!» — подразумевая мою способность с годами не стареть. Это при том, что ее Иоффе окончательно лишится волосяного покрова и превратится в тучного, нелюдимого домоседа.

предложение я заюлил. Избегая скользкой темы, зло пропесочил ее нелепую прическу. Она, чуть не плача, пыталась апеллировать к моей сестре. Из женской солидарности та ей подсудила: на голове у гостьи полный ажур! Где ж ты была, иволга, когда меня выперли из Политеха? Когда я нюхал с хиппарями дурманящий растворитель, по очереди заворачиваясь в шарф за забором диспансера? Улизнув из Бехтеревки в Дом Архитектора, на фестиваль любительского кино, я цеплялся за тебя абордажными крючьями. «Жестокая ты девочка!» — пел Лазаря отчисленный двоечник. «Жестокая я девочка!» — неумолимо хмурилась осанистая отличница...

Доставив курносую почемучку к крыльцу сарайчатых яслей, фельдшер Бабий вслед за тем эскортировал мнимого больного в областной бедлам. 24-ое отделение, куда я был помещен, специально предназначалось для презренных армейских симулянтов. Клика военврачей неустанно шпионила там за единственным штатским коллегой. Семену Михайлычу Трестеру, чьи лацканы не украшала блюющая в штоф подколодная змеюка, оставалось лишь безвольно потакать горделивым петлицам тупых профанов. От этого они смягчались порой: идя на уступки в пропорции один к трем.

Окончательный диагноз требовал консенсуса. Дуболомы разработали фирменную методику — запираясь в кабинете, на чем свет поносили обследуемого солдата:

— Сукин ты сын! Дезертир! Под трибунал пойдешь, едрить твою кочерыжку!

И когда тот, наконец рассвирепев, швырялся в них стулом — втюхивали с облегчением заветную шизофрению...

Комиссоваться с тяжелым диагнозом мне вовсе не улыбалось: я ведь отпахал без малого два года. Это только глава ордена куртуазных маньеристов свалил из караула через две недели — напуганный обещанной ему «темной» (потому проездом и заруливал ко мне в часть с чекушкой: снедаемый чувством вины за когдатошнее малодушие). Беспардонный приказчик Музы Успеха — теперь он брешет свою похабень с эстрады, окруженный поклонниками в кожаных штанцах. Меня ж — перетирали в цветочную муку шершавые жернова скифского Молоха. Перетирали, да не перетерли! Нанимался я, что ли, туляков оборонять? У них, поди, и у самих ружья не заржавели!

Впрочем, открою один секрет: Степанцов — квасной патриот не более чем на ¾. Но зато у него с паспортной графой и ряхой — все о'кей. В троллейбусе, помню, он как-то покатил бочку на «этих жидов» (не прощал сын полукровке отцу разрыва с душевнобольной матерью).

— Фильтруй базар! — оборвал его на полуслове криворожский верлибрист Артур Доля, — Не ты ли и сам на жидовских дрожжах взошел?

— Полагаю, нашелся бы и славянский эквивалент, — ничтоже сумняшеся парировал обличитель.

Вечерами в общаге он баял нам про то, как проезжий участковый накрыл его тепленького в стогу, в обнимку с автоматом Калашникова. Беглеца тогда тоже сунули в психушку — правда, он отделался только легким испугом. Вырванные годы достались мне, а не ему: ретиво воспользовавшись перестроечным бумом, он соорудил себе памятник при жизни в сортире парнасского Музея Славы. Ну да не суть. Рано или поздно мы сочтемся регалиями!..

Палата, где я очутился, пестрела личностями своеобычными. На соседней койке лениво потягивался актер Валера, уроженец белорусского городка с женственным названием Лида, звезда нимфской театралки. Этот ломал комедь ва-банк — с участием воспаленного либидо: на допросах упрямо твердил, что вожделеет к родной мамаше. Психоанализ, купированный марксистской наукой, как хвост кобылы Буденного, проказливо казал кукиш дурошлепам в белых халатах.

Имелись и другие живые достопримечательности. Поигрывавший покатыми бедрами курсант, с позором изгнанный из местного политучилища, затягивал на ночь глядя «Санта-Лючию». Соседей убаюкивал его шелковый баритон. Рассказывали, что он погорел на приставаниях к особо идейному сокурснику.

Мурзатый самаркандец открыто презирал исполнителя сладостных арий: отсеянный с карантина, он мечтал поскорей вернуться в строй. Памирский антипод его — тот, напротив, в сортире пытался вздернуться: от одной только мысли, что придется дослуживать... Беззаботнее же всех выглядел ставропольский наркоман, резво посвистывавший в окошко и потому кем-то метко окрещенный Коноплянкой.

Лева Каплун, мрачный, погруженный в себя параноик, легкомыслие свистуна порицал с оттенком благодушия. Пару недель назад, забаррикадировавшись в своей квартире, он чуть было не зарубил топором благоверную — заподозрив ее в неспособности зачать.

— Почему у нас детей нет? — сидя на корточках, возмущался он в курилке. — В заключении экспертизы ясно ведь сказано: сперма у меня нормальная. Стало быть, не моя вина!

— Ну, уж и не моя! — старался я перевести все в шутку.

Трестер, на утреннем обходе, окинув подопечного «мишугинэ» деловитым взглядом, ехидного смешка не сдержал: дитя Сиона, а несет околесицу похлеще любого жлоба! Увы, Чезаре Ломброзо с начала века не переиздавали: иначе бы доктор помнил, сколь высок процент помешанных среди его соплеменников.

Литовец Якунас, чей глаз перманентно дергался от нервного тика, и вовсе лежал тут с мамашиной подачи. По профессии психиатр, она ежегодно протежировала сына в «Новинки» для профилактики, поставляя коллегам благодатный с ее точки зрения материал. Он трудился конюхом на нимфском ипподроме — будучи спроважен за аморалку из Гнессинского музучилища.

Я верил, что вырвусь из этого ада в нормальную жизнь, что примет меня обратно барочный особняк на Тверском. Поэзия непременно вступится за паломника, принесшего ей на алтарь кусок искромсанной души!

Якунас подкрадывался, садился у меня в изножии — бритый наголо, с крупным носом и масляными глазками:

— Мне снилось, что мы с тобой махнулись, — заводил он аллегорию в мефистофелевском духе, — и я еду учиться в Москву златоглавую, а ты остаешься в Ратомке скрести лошадиное мыло...

С фауной у меня сызмальства не сложилось. В детском садике, помню, мы ненароком кокнули аквариум — я и Павловский. Перламутровые губаны конвульсировали прямо на паркете, каменея и превращаясь в естественные драгоценности. Анна Александровна уткнула обоих живодеров носами в угол. Эта экзекуция далась ей нелегко: Сашку и меня она числила «красавчиками», тетешкала отдельно от всех прочих, относя к разряду привилегированных. Как-то, в тихий час, повела нас к себе домой, на Пулихова: пирогами с капустой угостить, на печи дать понежиться[1]. А тут вдруг — насупилась, бойкот объявила. Я тогда и не догадывался, что это знак времени: близилась к развязке Эпоха Рыб!..

В цирке по отношению к братьям нашим меньшим — все то же сплошное головотяпство. На одном из представлений я ассистировал спесивому хачику, много лет дрессировавшему морского льва. Оба прилизанные, как пара близнецов. Униформисты застращали меня язвами по всему телу — я шугался белых клыков, не поддаваясь обаянию их юркого владельца.

Впрочем, хочешь — не хочешь, а работу выполнять надо. К бортику я должен был приставить металлическую стойку: почесав бок плавником, ластоногий нырял в пламенеющее кольцо. Но, с опаской от него улепетывая, я плюхнул реквизит на манеж не вдоль, а поперек. Зверюга прикинул — и прыгать раздумал.

В зале сидел импозантный импресарио из Белграда: номер вычеркнули из гастролей по Адриатике. Армянин орал на меня благим матом. Да и я, признаться, в долгу не остался.

— Куда-куда ты послал заслуженного артиста?! — переспросил меня побледневший начальник отдела кадров...

Впрочем, прежде чем меня уволили, я успел завершить «Поэму третьего крыла». В отличие от недавней крестоносной сюиты, лоскутной по сюжету и метрической архитектонике, новая вещь выглядела цельной: я решил, что хватит эпигонствовать, эпическая манера Вознесенского перестала меня удовлетворять. Корифею журнала «Юность» я одно время подражал — за неимением

[1] Воспитательница жила в деревянной избе со взрослым сыном. Не хочется возводить напраслину, но, кажется, нас тогда с Павловским слегка подпоили — то ли сливовой, то ли еще какой наливкой. А, может быть, мне это сегодня лишь чудится? Далекое прошлое видится словно в тумане...

под рукой томика Пастернака. Но вскоре стало ясно, что тот, кого я избрал образцом, от природы лишен нарративного грифеля. Потуги его напоминали высиживание ожерелий из фальшивого янтаря, варившихся затем с успехом в рок-оперном компоте. Чего нельзя сказать о его учителе — авторе колоссального «Спекторского», чью мученическую тень Андрей Андреич то и дело запанибрата похлопывал по плечу.

Так вот, на сей раз я поклялся не сбиваться с пятистопного ямба: а то ведь любой дурак может снизать разномастные фрагменты, покрыв их полудой вычурного стиля! Вечерами, измочаленный тягомотиной бравурных представлений, я с философической флегмой брел по мосту через Свислочь — усталая походка обычно задает дыханию марафонский ритм. Скрипичным ключом поэмы, как всегда, зазвучала метафора. Переминаясь в закулисье и мысленно примериваясь к амфитеатру, я уподобил зрительский хохот переливчатой треске, вылавливаемой тралом и тут же, не отходя от кассы, поджариваемой на шипящей красной сковородке. Сальто моего воображения одобрил знакомый клоун. Накануне мы успели подружиться и даже сфотографировались на память. Кепи с озорным помпоном, дружески мне подмигнув, ежиком кувыркнулось по лиловому паласу. Позже я узнал, что у него рак в последней стадии: мужество, достойное героев Куприна!

Но отнюдь не все вокруг были в восторге от моих опусов. Старшой униформы Вася Уманец, ледащая гетера в синтетическом трико, нерасторопного новичка то шпынял, то пичкал сентенциями: из цирка, так и знай, теперь одна дорога — в тюрягу! Арену подметать он заставлял нас елочкой: чтобы меньше стружек оставалось.

— Ты думаешь, я кто — дурак бульбашский?! — петушился он. — Меня на мякине не проведешь: я со-овсем друго-ой национальности!

«Тупой хохляра!» — брезгливо заключал о нашем боссе Коля, валдайский раздолбай с воловьей выей и перебитым носом. Купеческий правнук, он семо и овамо зудел о происках сатанинского племени в революционную эпоху: эко ловко лапсердаки нас, фофанов, облапошили! Кончилось это для него плохо — увольнением по статье. Кубинской циркачке, смазливой креолке, уминавшей в буфете бутерброд с семгой, он как-то раз галантно преподнес пузырящийся бокал с шампанским. Чирикнув легкое «gratia», сеньорита поспешила увильнуть от навязанной дегустации. Коля озверел и плеснул амброзию басурманке прямо в фэйс...

Мишка Ангерт, ко мне расположенный, в сердцах сокрушался:

— Мда. Не для тебя контингент. Потонешь в дерьме. Эх, потонешь!

— А ежели поступлю в Литинститут, что тогда?

— Ну тады — лафа! — соглашался добродушный усач.

В настольный теннис он мог дуться часами — с русым жонглером из заезжей труппы Кио.

— Тебе, поцу, все хоть бы хны! — бросал ему раздраженный партнер, начиная проигрывать.

Ангерт в ответ только ухмылялся. Зато старшому отплатил сторицей — за все придирки и унижения. Назначенный комсоргом, Мишка вздрючил Уманца перед ячейкой — за неуплату членских взносов (тот же безотказный еврейский рецепт, по которому и мой отец поквитался с юдофобом Троицким).

Рассказывали, что прежний инспектор манежа, покойный Зяма, приняв Уманца на работу подростком, жучил его и в хвост, и в гриву. Вася отвязывался теперь на несчастной билетерше — изводя заикающуюся вдову матерщиной на идиш: «киш мир ен тухес!» Про Зяму же снисходительно говаривал:

— Оставьте старика в покое, пусть спит спокойно! — после чего его зубоскалы-телохранители разом притихали.

Преданные псы, два кряжистых стажера, плотно подпирали его субтильную фигуру с обоих боков. Властью своей на арене старшой упивался: раз, пикируясь с дирижером Дайнекой, науськал униформистов на джазовый оркестрик, репетировавший наверху (мне тоже пришлось улюлюкать вместе со всей оравой). Впрочем, радетелей у него было больше, нежели врагов. И главный среди них — бравый кабардинский наездник, который, ходили сплетни, однажды стреножил Уманца в душевой после умопомрачительных аллюров...

Артистическое гноище хищно тянуло ко мне свои склизкие щупальца. Голенастая пудреная львица, выходя к трапеции, призывно вихляла нашей команде, ждавшей на подхвате. На «ура» у акробатов шли липучие лилипутки: марионеточно подпрыгивая, они верещали страстным сопрано (мне довелось это наблюдать во время игры в теннис: дверь в гримерную оказалась распахнута настежь). Какая-то весьма развязная чернавка-дрессировщица, на досуге спознавшаяся со своим грустным пони, недвусмысленно стреляла у меня трешник. Один из Васиных телохранителей, видавший виды циркач, цыкнул на попрошайку: отвали от парня, шалава!

Валдаец Коля однажды при мне обмолвился: дескать, Кио — тоже ведь «из пархатых». Я принял это к сведению. Улучив момент, обратился к звезде манежа:

— Игорь Эмильевич, я недавно сочинил поэму о цирке. Вы не будете против, если я посвящу ее вам?..

— Что ж, почитаем, — скрутив машинопись трубкой, он сунул ее за пазуху; казалось, вот-вот фокусник извлечет ее наружу — но уже в облике розовоухого кролика.

Назавтра, столкнувшись со мной в коридоре, факир прагматично промычал:

— Ну, и где мы это планируем напечатать?

— Понятия не имею. Главное было написать.

— Что ж, пока непонятно... — пожал плечами бывший муж Галины Брежневой.

Третье крыло, увы, выросло далеко не у всех!

Зато, надо признать, функции в этом гадюшнике распределялись по-армейски четко. На моем попечительстве была клетка с голубями. Громыхая тележкой по мраморному полу фойе, я сворачивал в проход. Заслонка отворялась по условному взмаху мага, пронзенного лучами софитов. Белоснежные почтари, взмывая под самый купол, кружили — и обильно припорашивали плечи и голову прославленного маэстро. Гомон восхищения доставался только ему. Ассистенту же его — одна лишь благодать безвестности...

Существа, населявшие желтый дом, разрушали стройность таблицы Ламарка. Виртуозно хрюкая, грузный Михась самозабвенно катался по ковровой дорожке: шантажируя медсестру, вымогая «колеса». Однажды влез на подоконник — чтобы приоткрыть фрамугу: пухлый мизинец замешкался в проеме. Туша визжала, покуда ее не сняли с крючка двое санитаров — будто копченый окорок, достигший кондиции...

Инвалид Афгана, прапор на костылях, с перекошенным лицом, на свидании с женой, проходившем как водится в людном помещении, вдруг скинул портки долой — и айда миловаться. Очнувшись в смирительной упаковке, он все орал, болезный, требуя почему-то немедленной инъекции спермы...

Некто Икс неустанно шифровал радиограммы марсианам; самодельная антенна потешно колыхалась у него за ухом. Игрек бухтел в столовой очередную неотвязную скороговорку, щелкая при этом прилежных вольнослушателей по носу. Зет, свесивши ноги в кальсонах, шелестел потертым компендиумом, в котором царапал однотипные схемы из кружков и палочек:

— Сравните, пожалуйста, — увещал он меня, — вот так размножаются кролики, а так — мысли у евреев. Ну разве не одно и то же?!

Из моих соплеменников здесь заметно выделялся Борис Рабовский (прежде, в отпуска, они вместе шабашили с Трестманом, строя свинофермы; я без труда узнал его: он как-то навещал простуженного эпика, в тот день еще Гриша полушутя посетовал на фамилию участковой врачихи — Веревка...). Сам Борис периодически попадал в лечебницу по настоянию любящей супруги.

— Детство мое прошло в очаровательном городке под названием Бобруйск, среди кружевных яблоневых куп, цветших на фоне шинного завода... — так начинал он свое повествование, беря под локоток шелковласого юношу и прогуливаясь с ним по коридору. Вскоре младший перипатетик дерзко бежал из-под конвоя — будучи настигнут своими преследователями аккурат на бобруйском майдане: таково уж воздействие суггестивного искусства!

Борис, ударившийся в христианство, оказался прирожденным миссионером. Врач Семен Михайлыч зазывал его к себе в кабинет и с пеной у рта обличал вредоносный «опиум для народа». Пациент молчал в ответ, великомученически скрестив руки на груди.

— Лиличка, таблетку элениума! — стонал Трестер, не выдерживая первым. — А вы, дорогой мой, ступайте в палату...

Я лихорадочно соображал, как избежать статьи в военном билете: она бы могла некстати запятнать мою боевую биографию. Ведь не стали же ее шить отчисленному за неуспеваемость допризывнику в бехтеревском диспансере: не смея перечить гнусной нацистской ведьме! Дисбатовскому конвою я предпочел уже знакомые повадки санитаров, гаденьким зенкам доцента Алявдина — харизматичные спичи умалишенных. Решетка, впрочем, везде одна и та же — и только голуби воркуют в ожидании свежего замысла...

В очередном заточении я приступил к поэме «Игорь Свешников» — скрупулезно подновляя старый добрый пушкинский четырехстопник дактилическими завитками. Двойник, рассмотренный мной сквозь запотевшее стекло «Черного аиста» — кафешки на Большой Бронной, виртуальным присутствием помогал выкарабкиваться из острога. Оба мы в равной степени жаждали глобальных перемен: духовная мощь нарождавшейся «мировой деревни» предвещала агонию дряблой имперской плоти. Стены всякого узилища рано или поздно рухнут, падут ниц — будь то мрачный равелин или бренная оболочка, препятствующая нашей реинкарнации!

12

Лед тронулся с восшествием на престол Юрия Андропова. Как-то сама собой канула в тартарары процентная норма (тогда еще мало кто знал, что мать нового генсека из татов, горских евреев). Работу приемной комиссии в Литинституте тоже возглавила «метиска» Мария Зоркая, с кафедры зарубежки.

В тот шлюзовый год на дневное отделение нас просочилось аж семеро: к бодрячку Льву Ошанину — ныне покойная Катя Яровая, чьи песни так популярны в русской Америке, в маканинский семинар прозы — остряк и записной циник Петя Юрковецкий, мы с Эвелиной — к пузану Винокуров, да в группу переводчиков с коми-зырянского — инфантильно сюсюкающая внучка Жирмунского Сашенька плюс две Маши, розовощекая Черток и холеная Бабушкина (позже к ним присоединилась еще и третья — лупоглазая Жданова, племянница самой Зоркой).

Умолчим о полукровках и квартеронах — таких как Степанцов и Кошкина, чье латентное еврейство гусей не дразнило. Из той же породы: полноватая рижская кокетка Инга Розентале, Ира Шабранская — строгий критик в роговой оправе, Богдан Мовчан — сын украинского письменника и тезка провозглашенного борцом за независимость кровавого вурдалака, Сережа Радиченко — насмешливый андерграундный человек с кучей талантливых приятелей, светоч армянского национализма Сусанна Саркисян — выскочившая в итоге за пуэрториканца, европейски образованный вятич Пестов (этот оказался принципиальнее прочих: на чем

свет честил юдофобов, хотя лично никогда их нападкам не подвергался) и даже никарагуанский герой-сандинист Сантьяго Молино Ротчу (Сантьяго-Марьина-Роща — как тут же перекрестили его девицы), усатый женский угодник с глазами ангела, волочивший ногу после тяжелого ранения.

Еще на абитуре русопят Мисюк, рабфаковская тужурка из Тольятти, цыкнул на меня прилюдно:

— Да как вы не поймете, Григорий: будут набирать либо *нас*, либо *вас*, третьего не дано! — эдакий инь и ян жигулевского разлива...

В общежитии мне выпал жребий предстательствовать сразу за всех евреев курса: ведь, к несчастью, я не был приучен держать язык за зубами. Москвичам хорошо: те могли на светских раутах сколько влезет гоношиться родной Солянкой, фрондерски напевая «оц-тоц-первердоц» — в интеллигентской среде это было достаточно безопасно. Я же — терся бок о бок с дремучим челдонским предубеждением, по ночам точившим зубы о стенку соседа.

Столь обескураживающий натиск потомков Авраама, после долгих лет фильтрации, создавал иллюзию спланированной экспансии. Впрочем, объяснялся он вполне утилитарно: легкостью учебы, престижем профессии, а также пресловутым еврейским непотизмом — родовой метой южных народов. Существовал, впрочем, и дополнительный стимул, на уровне подсознания: в России литература — эрзац власти, а дискриминируемому меньшинству свойственно тянуться к идеологическим рычагам...

Максималист Мисюк заблуждался: приняли всех гуртом, до лучших времен отказавшись от селективного подхода. Победило чувство меры: ни *те*, ни *другие* не жаждали приключений на свою задницу. Когда в России гебня у власти, враждующим лагерям срочно требуется перемирие.

Итак, все хорошо, что хорошо кончается. Экзамены схлынули, забурлила богемная жизнь. Впрочем, кое-кому повезло меньше: я имею в виду поэтессу Хайруллину — памятный листик в моем эротическом гербарии. Свету отсеяли прямо с абитуры — и не за слабые знания, отнюдь: просто она осмелилась вызвать ментов, когда трое кавказцев пытались ее оприходовать по пьяной лавочке. Глупышка ухватилась за соломинку — и тем самым «бросила тень на наш творческий ВУЗ», как высокопарно сформулировали работавшие в учебной части прожженые бляди.

Лидия Константиновна, моя двоюродная тетка, укатила в Анапу по путевке ВТО: вот почему я предложил новой пассии кутнуть в уютно обставленной квартирке на Удальцова. Мы выпили мятного ликеру, развязавшего нам язык. На коврике, в гостиной, казанская мессалина вдруг разнюнилась: она стала жаловаться, что партнеры по сексу ей до сих пор попадались все какие-то неважнецкие.

— Не хочешь попробовать еще раз? Попытка — не пытка!.. — улещал ее я.

Она обреченно кивнула.

Когда же соблазнитель, сорвав халяву, отвалился покемарить как сытый клоп — не тут-то было: чертовка оказалась не лыком шита:

— Самец не должен вести себя эгоистично! — журила она невежду, приобщая его к восточной науке о сладострастии.

Пойдя ей навстречу, я был вознагражден:

— Хорошо! — зажмурила раскосые веки просветительница, и смущенно добавила: — Ты прости, мне ведь тоже хочется сорвать немного кайфа. Хоть бы ты, что ли, поступил, раз уж мне не суждено!..

Щуплая татарочка, она же незваная гостья, водила меня за руку по мреющей Москве. В пешей этой экскурсии чудилась передача эстафетной палочки: еврей наследовал латифундию у дщери Орды — пусть иго ее предков и продержалось чуть дольше...

Интересная деталь: в Казани она общалась с неким Марком Зарецким, «тоже шикарным парнем» (так звучала ее скрытая похвала), литстудию которого одно время посещала.

— Когда у нас резали семитов, — сообщала Хайруллина, — Марка ночью окружила толпа с ножами. Но он не растерялся: вырвал перо у одного из погромщиков и стал крутиться на месте, точно дервиш, угрожающе выставив лезвие вперед. Нападающие отступили и убрались восвояси.

На скамейке, напротив общаги, она жадно впивалась в меня губами. Я отлынивал от поцелуев, о чем сегодня жалею: бедняжка в мире ином — она умерла, так и не дождавшись выхода первой книги.

Через пару дней Света вернулась в родной город: чтобы устроиться методистом в тамошний кремль да слать мне изредка письма с новыми стихами.

На картошке, в деревне Чисмена, сдудиозусов расселили в местном пансионате. Сама атмосфера располагала: мы все, мягко говоря, передружились.

Верка Цветкова, суфражистка из Таллина, взяла надо мной эротическое шефство.

— Малыш, — подбодрила она меня, — не тушуйся. Видишь во-он ту симпатичную девочку? Она твоя: пользуйся на здоровье!

Маша Бабушкина, намедни перекрасившаяся в блондинку, и впрямь выказывала мне знаки внимания. Я перекочевал в женские апартаменты, которые она делила с Цветковой и шестнадцатилетней красавицей-армянкой Соночкой. По ночам прибалтийская сводня притворялась спящей как можно натуральней. Бабушкина весьма топорно имитировала девство: хотя все давно знали — от нее же, что меня на данном поприще опередил сын Окуджавы, бойко игравший на дуде. А что же Соночка? — спросите вы. Отвечу: маковый цвет араратской долины — она строго блюла себя, но отнюдь не свои барабанные перепонки...

Нашим «хождением в народ» пьяно дирижировал рыжеусый старшекурсник Коля Шмитько — выморочный драмодел и внештатник по призванию.

— С комсоргом советую ладить! — гундосил наш надзиратель на вечерней поверке (впоследствии я узнал, в чем состояли его основные вэлкэсэмовские обязанности: он носил за артритным ректором Пименовым кусок поролона и всякий раз подкладывал ему под задницу в президиуме).

Коля принадлежал к малороссийской мафии, свившей осиное гнездышко еще при Брежневе. Тетка его, Светлана Викторовна, заведовала учебной частью. Весь клан возглавлял соцреалист Власенко — на ученых советах остервенело лупивший кулачищем по трибуне, обличая то новый роман Аксенова, то статью Залыгина (при Сталине он отсидел и теперь, до смерти перепуганный, готовился в случае очередной волны репрессий очутиться в стане обвинителей).

В институте шла незримая борьба за лакомый кусок. Особую роль в ней, как обычно, играли полукровки. Глава приемной комиссии Зоркая — продвинутое чадо еврейки-киноведа и генштабовского хохла — стараясь оправдать свою фамилию, отвечала за рекогносцировку. С пеленок ластившаяся к впавшему в маразм ректору (пляжи в Пицунде, презентации в ЦДЛ, внутрикастовые сабантуи), она сумела усыпить бдительность своих супостатов: пригодилось умение сидеть на двух стульях. Вот отчего оттепель между каденциями двух генсеков в шароварах дала столь непривычно обильный урожай «неприкасаемых».

— Маланский набор! — плевался Коля Шмитько, явно недолюбливавший наш курс; он и не подозревал о кошерной половинке своего главного шефа Андропова: аберрация зрения неизбежна, когда тебя зациклило на локальных коллизиях.

— Маша и Гриша, марш в эркер! — горланил комсорг, после чего, нехотя разжимая объятья, мы стряхивали с себя приставучие колючки чертополоха.

Случалось, что на собраниях Шмитько перебарщивал с командным тоном: тогда предостерегавшая меня Бабушкина незаметно стискивала мои пальцы. Сделаться аутсайдером вдругорядь мне мало не улыбалось. Хотя, право же, я приложил к тому немало усилий...

В Чисмене нашими соседями оказались первокурсницы из Московского института культуры. На литературном вечере, устроенном специально для них, я умудрился заткнуть всех за пояс. Мне аплодировали, голова шла кругом. Даже Степанцов, при всей его тетеревиной самовлюбленности, публично объявил меня «сладкогласнейшим». Прямо со сцены мы ринулись праздновать день рождения его новой зазнобы Лены, очень нервничавшей, когда я в шутку величал ее Дочь Сиона.

Хворостов и рыжий Попов — товарищи по Тамбову, добродушный свистун Доля, ростовчанин Моисеев и я, откупорив шампанское, шкодливо расселись в затаившей дыхание женской па-

лате. Внезапно — тук-тук-тук: нагрянул дозор. Именинница мигом упрятала стеклянную батарею под скатерть. Пииты закуксились, изображая из себя приготовишек. Вошел дядька-воспитатель, втянул ноздри: запах учуял, но, с поличным не поймал. Тогда он решил наехать на бедную Лену: как ты, мол, посмела так поздно водить к себе гостей?!

Вышибленные наружу, мы озабоченно перешептывались: чем можно помочь виновнице торжества? Нас, лицеистов с Тверского, все же не держали в ежовых рукавицах, и муштра юных библиотекарш казалась нам возмутительным анахронизмом. Вскоре к нам выбежала зареванная жертва режима: полуночное застолье поставило ее на грань отчисления.

Тут я возьми да и шагни вперед с поднятым забралом:

— Что, отрастили себе усы под отца народов? Портите нам праздник из-за какой-то пары бутылок!

— Бутылок, говоришь? — понятливо хмыкнул дядька; метнувшись к загашнику, он тут же нашарил недостающие улики.

Ребята испепеляли взглядом проболтавшегося правдолюба. Сорванные накануне лавры, видимо, усугубили мою врожденную неотмирасегойность... Отлился мне и намек на портретное сходство с диктатором. Дядька оказался кандидатом педагогических наук и, задетый до глубины души, очинил перо. Донос адресовался сталинскому чабану — престарелому ректору Литинститута, на собраниях подпиравшему клюкой подбородок.

Шувайников, писака из Симферополя, староста нашего курса, разумеется, тотчас же навострил когти. Стучать приходилось еще на зоне: его и приняли-то авансом: с учетом будущих заслуг... Но сородичи дружно за меня вступились. Юрковецкий с пеной у рта доказывал: ну не жалует парень шестипалого, оставь его в покое! — а когда, скажи, пишущего человека красило стадное чувство? Остальные вторили Петру, всячески меня выгораживая. Стервятник спасовал. К счастью, избежала сурового наказания и Дочь Сиона.

Большей части курса я пришелся по нраву. Весь контингент постепенно разделился на три основных лежбища. В почвеннических попойках Мисюка с Сержантом я систематического участия не принимал. Но в прочих двух тусовках был задействован весьма плотно. Доля и Моисеев надо мной дружески трунили. Артур в свое время наблатыкался истопником где-то на Севере. Игорь же недавно отпахал армейку. Шурша по лесному мху, они канали под особистов:

— Что, будем брать диверсанта, товарищ майор?

Допрашиваемого пробивал сладкий озноб: подобно Юкио Мисиме, я ведь тоже с младых ногтей боготворил св.Себастьяна. Помню, еще учась в первом классе, всякий раз перед сном воображал желанную экзекуцию: белобрысый пацан по фамилии Евдокимчик прикручивает меня бечевкой к дереву и лупцует прутом по обнаженным частям тела...

Рыжий, предложивший нам назваться рыцарями Круглого стола, вряд ли ожидал, что Вадик Степанцов когда-нибудь уведет у него эту идейку: орден куртуазных маньеристов был зачат еще в чисменском колхозе. Попов не случайно приплел сюда праздную свиту короля Артура: амбивалентное обаяние поэта Доли подмывало его к сервильности, бередя холопскую душу тамбовского графомана.

Расхлябанный наш мальчишник вливался в междусобойчик чуть позрелее. Слабый пол там концентрировался вокруг Юрковецкого (новоиспеченный муж — всего неделя как из ЗАГСа — к уборке картофеля привлек свою новобрачную). В девичестве Бахметьева, родом из пензенской глуши, Инна с подвенечной этикой не больно-то чикалась. При муже позволяла себя тискать Моисееву.

— Караул! Грабят! — полушутя-полувсерьез вопил изображавший из себя ревнивца Петр.

Споря с чичисбеем, он однажды в запале преступил табу:

— Эх, жаль мне вас, славян: пьете как лошади, насилие у вас в семьях на этой почве, суициды...

— Сподобились мы жалости! — с выгодцей для себя раззвонил потом в кругу единомышленников зубоскал-оппонент.

Генеалогию свою Моисеев излагал так:

— Прадед мой — активный член Союза Михаила Архангела, дед — юдофоб строго конституционный, отец — приверженец абстрактного антисемитизма, а я — так и вовсе образчик политкорректности.

Тем не менее о Мануке Жажояне он как-то сморозил следующее:

— Ростовский армянин — тьфу, что за гадость! Я тоже из тех краев: поверьте, нет ничего омерзительней!

Видимо, и на Петину суженую он посягал в чисто назидательных целях: лишний раз подчеркнуть, кто в доме хозяин...

Юрковецкий пил, жеманился с бабьем. Любил побалагурить про фекалии, гениталии. «Сюси-пуси» — пустил в народ слюнявую поговорку. Эта форма самозащиты его не спасет. На маканинском семинаре белую ворону заклюют самым безжалостным образом. Инну, народившую ему троих сыновей, он, отчаявшись, выпихнет на панель путаной. Затем семья переберется в Гамбург. Петя откроет сеть публичных домов и станет издавать пикантный журнальчик. Вскоре жена его окажется в сумасшедшем доме, а сам он — за решеткой[1].

[1] Эвелина мне рассказывала, что Петра в свое время порывался совратить Андрей Черкизов, бывший личный секретарь Юлиана Семенова, ныне известный скандальный журналист. Племянника Черкизова, Вадима Чурсина, я затем повстречал в армии, служа в минской роте управления, и тот засвидетельствовал мне содомитские наклонности дяди, назвав их основной причиной разрыва своих с ним отношений.

Петина шумная компания — скептичная Маша Черток, Эвелина со смущенным смешком «пс-с!» и дородная Лена Семашко — с первых дней была настроена ко мне по-родственному. Толстушка примкнула к кагалу из столичной солидарности: все эти хиханьки-хаханьки были ей внятны и ментально близки. Кроме того, нахлебавшись мужнего деспотизма, Лена находилась в состоянии вечного поиска. Пчелиной маткой хлюпая по слякоти, она подшофе распевала вместе со всеми:

— Вот кто-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идёот!..

Евреи радостно коверкали русскую грамматику:

— На *ём* защитна гимнасте-орка...

Мы с Бабушкиной упоенно ворковали на фоне всеобщего веселья. Ради меня она самоотверженно худела — за час до подъема совершая упорные пробежки. Впрочем, я к ее комплекции претензий не имел. Другое дело Семашко: такую только подпусти! Но Лена не комплексовала: однажды под сурдинку меня заграбастала, запустила пухлую пясть и после шепнула заговорщицки:

— Теперь ты!

— Ну не здесь же, — слабо отбояривался я.

— Где, скажи? Когда? — страстно напирала моя ухажерша... Ее теперь тоже нет с нами: скончалась от сердечного приступа. И что за напасть такая, кто бы растолковал?..

Бабушкина — с библейским профилем — экзотично смотрелась в пестром павлопосадском платке. Она мило тренькала на семиструнке, самопальные шансонетки перемежая шедеврами Галича. Иные песенки посвящались мне. Муж, детишки, уютно потрескивающий камин — тема благоустройства вилась у нее красной нитью. За глаза же, по словам Верки Цветковой, писательская внучка надменно фыркала:

— Чтобы я — да за Марговского?! Ведь он же иногородний!

Маша частенько кичилась своими мнимыми галльскими корнями (она уверует в свою легенду настолько истово, что с ветром перестройки перепорхнет во Францию). Моя тетка Лида, прослышав об этой ее причуде, как-то съязвила:

— Знаем-знаем! Бердичевская аристократка.

Так или иначе, а с чисменской сцены я блистал как никто другой. Физрук Иван Кирилыч, предваряя мое выступление (почему-то именно ему поручалось вести творческие вечера: сбывалась ленинская мечта о кухарке, управляющей государством), поинтересовался — из каких, мол, мест будешь? — и, услышав ответ, осклабился:

— Стало быть, белорус!

Юрковецкий потом еще долго подшучивал на эту тему...

Помню, как спустя пару дней Кирилыч, шепчась с Колей Шмитько, кивнул в мою сторону и одобрительно хмыкнул:

— Перспективный!

Сдается мне, Бабушкина тогда крепко призадумалась. По крайней мере прямо с картошки повезла к себе домой.

— Это со мной, — сквозь зубы процедила она дряхлой консьержке.

Заскрипели тросы, доставлявшие лифт на тринадцатый этаж: число для иудея вроде бы благоприятное — но я-то готовил себя к роли парижского шевалье!

Литфондовский дом опьянял атмосферой элитарности. Особливо прельщал бардовый коврик вокруг биде. Я всегда тяготел к соитию в ванной: но на сей раз вышло постней, чем когда-то с Ирой. Бабушкина оказалась гимнасткой не ахти, хоть это отчасти и восполнялось импортными ароматами.

Пупсик из папье-маше — петрушка с бубенцом на шее — откликался на фрондерское прозвище Владимир Ильич. Друзья детства — сплошь совписовских кровей — вели себя до муторности инфантильно. Жившая этажом ниже чернокосая внучка Светлова время от времени шипела на меня: альфонс! — втайне негодуя на свою природную косолапость. Пигалица Бармина, гнилозубая журналисточка, напросившись на обед, с алчностью выслеживала куриную котлетку, а после клянчила еще и пятачок на метро. Антоша Носик, паркетно вышколенный, но вечно себе на уме, почему-то настораживал Машину маму. Зато я, судя по всему, глянулся разведенной инженерше с заплаканной наружностью.

— Ух ты! — подкузьмила она меня разок, когда я, раздухарясь, выплеснул при ней порцию мировой скорби.

Гражданским браком она жила с инженером Борей — молчаливым бородачом, периодически корчившимся от гастрита. Боря носил кожаный плащ, водил «Жигуль» и гордился знакомством со Смоктуновским. На меня он посматривал сочувственно: кто-кто, а уж он-то знал, где раки зимуют!

Гостей принимали на кухне. Записной деликатес — супчик из тертой свеклы — заправлялся сметанкой в обмен на непременный букетик фиалок.

— Ты забыл цветочки! — дулась на меня Машуня.

Ястребом слетав к метро, я заглаживал вину. И мы снова чавкали по-семейному, орудуя в восемь рук и стараясь избегать вербального контакта... Но вот в дверях вырастал силуэт опереточной барыни. Поперхнувшись, желудочник нервически вскакивал и размеренно бил челом. Балованная внучка, повизгивая, слизывала сыпавшуюся со старушенции пудру. Машина мать предавалась дочерним обязанностям, из полновластной хозяйки превращаясь в покорную жилицу.

Член Союза Писателей Мирра Ефимовна Михелевич владела поистине царской недвижимостью: две квартиры, две дачи, плюс муж, передвигавшийся с трудом, но всегда с угодливой улыбкой. В «Худлите» она монополизировала переводы с болгарского — одни только романы Павла Вежинова принесли ей целое состояние. Кооператив для дочери она тоже оформила на себя: мало ли что...

Меня она невзлюбила сразу — за отсутствие должного трепета: растиньяк из Нимфска вызывал у нее скрежет зубовный.

— Вы уже получше себя чувствуете? — отважился слюбезничать я, повстречав ее после длительной простуды.

— А ты надеялся, касатик, что я окочурюсь?!

— Ба, я тебя прошу! — пацифистски вмешалась Маша.

— О чем речь, не пойму? Ведь я его еще не укусила.

— Зато уже изготовилась, — елейно подыграла внучка: как говорится, яблоко от яблони...

Оттаяв с мороза, старая мегера подсаживалась к нам вполне миролюбиво:

— Хотите добавки, Гриша?

— Нет, — выдавливал из себя я.

Маша поправляла:

— Не «нет», а «нет, спасибо».

Но бабаня не сдавалась:

— Интересно, чем вы там питаетесь у себя в общежитии?

— У нас имеется буфет с на редкость аппетитной буфетчицей.

Ответ мой пропущен мимо ушей.

— А спите на чем? Кровати хотя бы удобные?

— Эх, было бы с кем спать, а уж на чем — всегда найдется!

Пауза. Разговор о высоком призван замять возникшую неловкость.

— Стихи-то как, пишутся в последнее время? — опытная литераторша прибегла к обходному маневру.

— Да не очень, знаете ли... — я тешил себя иллюзией, что остаюсь начеку.

— Хотите повидла? — резко выдвигалась вперед Мирра Ефимовна.

— Да, конечно, — растрянно мямлил я.

— Не «да, конечно», а «да, спасибо», — радостно добивала меня ее благовоспитанная внучка.

Беседа не клеилась. Бабушка прощалась. Оставалась Бабушкина. Мы шли в ее покои, где я исполнял долг — зажимая, как оглобли, подмышками тучные ляжки.

— Бедненький мой, ты так исстрадался! — жалостливо шептала лакомка. — О, если б я только могла впитать все твои боли в себя!..

И всякий раз честно пыталась это сделать. Не ее вина, что у нее редко получалось.

Она подарила мне белую кофту крупной вязки и томик Мандельштама — прихваченный мной в двухлетний бравый поход (и затем, по моем возвращении, неукоснительно затребованный ею обратно). Впрочем, кофту (прозванную «жидовской»: так отреагировала на мое появление в новом одеянии в доме у Кима одна нимфская актерствующая шмокодявка) вскоре пришлось вернуть: это я сделал по собственной инициативе — угадав в Машиных глазах немой укор.

Вечерами я плелся восвояси, ощущая себя выжатым, как лимон. Мстя за ее двоедушие, закатывал ей грубые сцены. Невинная жертва, провожая своего палача, бывало, ползла на коленях до самого лифта.

Сокурсники завидовали:

— Ишь, хапнул москвичку!

Криворожский сердцеед Доля угрюмо морщил лоб, сокрушаясь о провороненной им еще на родине зажиточной генеральской пышке. Серия новых ухаживаний не принесла желаемых результатов. Он поселился в одной комнате с урловатым детиной Федоровым — почвенником из Набережных Челнов, у которого явно были не все дома; сосед нежно называл его Артурчиком, но иногда между ними случались и отчаянные драки.

Другой ушлый провинциал, Моисеев, долго и тщетно охотился за Ксюшей Драгунской, чей папа был автором знаменитых «Денискиных рассказов». Игорь вешал нам лапшу про званые обеды в литфондовских домах, таскал нас на просмотры во ВГИК, где его рыженькая знакомая подвизалась на сценарном факультете... В итоге он расторгнул намечавшуюся сделку с совестью и, вспомнив о давней зазнобе, очертя голову выписал ее из Ростова-на-Дону.

Бабушкина, желая щегольнуть вельможным филантропизмом, предложила ему сыграть свадьбу у нее дома. Жених взял напрокат кримпленовый костюм и заявился под руку со своей припудренной норушкой. Мечта завзятого сноба сбылась в неожиданном ракурсе: теперь он и впрямь был допущен в самый бомонд — правда, в той же роли, какую основатель Санкт-Петербурга отвел когда-то своему помпезно брачующемуся шуту...

На свадьбе было людно. Золотая молодежь заискивающе льнула к будущим знаменитостям из пропахшей клопами общаги. В центре всей бутафории красовался я — любимая игрушка хозяйки.

— Счастье привалило! — осматривая Машины апартаменты, присвистнул Доля: ему вздумалось процитировать Шолом-Алейхема. — Наверное, теперь ты окончательно завяжешь с лирикой?..

Молодые чокнулись со старообрядческой чинностью. Грянуло зычное «горько», и Гименей, поеживаясь на антресолях, принял под свой бархатный балдахин счастливую пару без московской прописки.

Вволю попировав, мы организовали дансинг. Вереница здравиц неуклонно вела нас к той стадии раскрепощенности, когда у одной половины гостей ненавязчиво съезжает лифчик, а у другой — как бы невзначай разъезжается ширинка.

— Ой, а ты, оказывается, длинненький! — простодушно заигрывала со мной на кухне глазастая невеста.

Бедный Игорек! Как страстно желал он публиковаться в центральных журналах, обличая в своей юношеской повести хрипуна генерала и куря фимиам прошедшему огонь, воду и медные трубы герою-самородку, списанному с самого себя! Увы, мечтам его не

суждено сбыться: еврейское крыло отторгнет вызывающего подозрения чужака, а крыло черносотенное так и не пригреет его по-настоящему. Лет через пяток ростовчаночка с чутким лисьим носиком, сообразив, что к чему, ушмыгнет от неудачника в более комфортабельную планировку. Отираясь в издательстве «Столица», пропахшем смазными сапогами ксенофобии, он будет еще недовольно бурчать некоторое время, покуда не поймет, что излишняя образованность стала досадной помехой его профессиональному патриотизму, не говоря уж о том, что отсутствие толерантности навеки захлопнуло перед его носом двери приличных домов.

Впрочем, мои собственные «блеск и нищета» выглядели не многим лучше. Я отлично знал, что моя Прекрасная Дама не пропишет меня в столице ни за какие коврижки. Но предпочитал длить эту идиллическую агонию — назло завистникам, шептавшимся у нас за спиной на лекциях.

И вот, в описываемый зимний вечер, изрядно приняв на грудь, я решил исполнить свой коронный акробатический трюк в честь новобрачных. Выйдя на балкон покурить, минут пять постоял, разминая кисти рук, — затем перемахнул через перила и завис по ту сторону безудержного матримониального веселья...

Мир подо мной вращался многообещающе, подобно тарахтящему лотерейному барабану. Жизнь района «Аэропорт», как всегда, протекала ослепительно: расхристанно визжали писательские дочери в беличьих шубках; писательские сынки, на морозце поигрывая в снежки, копировали орденоносных папаш, забрасывающих друг дружку доносами в «Литературку». Сколько я потом ни колесил по свету, на душе не переставали скрести кошки: и угораздило же меня родиться у черта на куличках!

Служивому нашему семейству ни Астарта, ни Зевс не даровали от щедрот своих ни бабок, ни блата. Потомок мелких негоциантов в тридесятом колене, я от природы тяготел к макрокосму мировой культуры. Окутывавший меня с пелен несносный диалект вызывал мучительную слуховую изжогу. Но язык подгнившей империи, в его сердцевинном элитном изводе, оставался недосягаем все годы моего беспросветного житья на периферии.

О зачем, скажи, Садовник, ты сделал меня жертвой мичуринского учения? Вегетативное скрещивание не пошло на пользу моей подопытной ментальности. Прививая завязь орхидеи к стеблю одуванчика — полагал ли Ты, что она примется в каверне буерака?! Или тут сработала незапрограммированная мутация — в память об Антоне Павловиче ее можно было бы назвать «таганрогским эффектом»: тот, кому Ты заранее уготовил скромную участь прораба, возомнил о себе невесть что и самонадеянно подался во властители дум?..

В тот момент, как мне кажется, я подсознательно подражал Долохову — забулдыге гусару из толстовской эпопеи. Не исключен и рецидив полупрофессионального циркачества: при щекочущем нервы отсутствии страховочной лонжи. Так или иначе, а провисел

я недолго: не стремясь составить конкуренцию новогодним гирляндам. Глотнув адреналину, лихо кувыркнулся обратно, в домашнее тепло. Бабушкину заботливо обмахивали со всех сторон: платя сценой за сцену, она хлопнулась в обморок.

...Возвращаясь в затхлое логово, я одиноко свертывался калачиком. Соседа моего, Хворостова, обычно где-то носило. Тамбовский бормотун бросал якорь в одной из наших злачных гаваней. Постучавшись к кому-нибудь, он сосредоточенно скреб свою раннюю плешь, затем тюфяком плюхался на скрипучие пружины — чтобы так же резко с них вскочить уже глубоко за полночь. Мне он все уши прожужжал про свою землячку Марину Кудимову — раешную кликушу из евтушенковской опричнины. Андрюха поверял ей когда-то свои первые непроваренные опусы.

— До чего ж они с Зоркой похожи: обе страхолюдины! — восхищенно причмокивал языком взъерошенный недотыкомка.

Мария Зоркая читала нам курс по средневековью. «Беовульф», «Кудруна», Вольфрам фон Эшенбах — она сыпала именами как из рукава. От нее я впервые услыхал об Иоганне Рейхлине, немецком юдофиле, изучавшем каббалу и составившем грамматику иврита еще в эпоху Колумба.

Преподавательская ее манера зиждилась на двух китах: повергая аудиторию в трепет своей гейдельбергской ученостью, она в то же время отказывала нам в праве блеснуть ответной эрудицией; например, когда Света Орлова, родом из какой-то глуши (через пару лет она выйдет замуж за мексиканца и укатит к пирамидам майя), попыталась ей процитировать немецкую балладу на языке оригинала, германистка брезгливо поморщилась:

— Не может быть, чтобы Вы помнили это наизусть!

Другое дело Володя Мисюк: тольяттинский поклонник Рубцова в открытую саботировал лекции «Маши» — как называл он Зоркую за глаза, будучи ее ровесником. Каламбуря напропалую (дальше «клитора» и «менстры», извлеченных из имени Клитемнестры, обычно дело у него не шло), он не столько заигрывал с ней, сколько старался задеть. Но и для этого остряка-самоучки у гордой феминистки нашлась пара ласковых:

— Мисюк, — изрекла она однажды, — напрасно вы пыжитесь, голубчик. Да будет вам известно, я уже и без того вошла в историю литературы: сам Арсений Тарковский посвятил мне стихотворение!

Ко мне она поначалу относилась покровительственно. Еще во время вступительных экзаменов, когда я в полном неведении ежился на лавке под липой, возложила мне руку на плечо:

— Прошу любить и жаловать: Гриша Марговский, талантливый поэт и мой новый протеже!

Двойник Хемингуэя, к которому она при этом обращалась, седобородый фавн у нее на побегушках, стыдливо пряча за спиной пивную емкость, уважительно икнул в ответ (после я встречал его в ЦДЛ: лишившись работы, он окончательно спился и примкнул к лейб-гвардейским горлохватам). Вызывающая ее откровен-

ность, помню, меня слегка покоробила: в провинции любые проявления национальной солидарности на тот момент еще весьма тщательно маскировались...

Предельно экономившая на интимной жизни бравая атаманша сумела в тот достопамятный год подчинить себе чуть ли не полинститута: по натиску она не уступала целой конной дивизии! Впрочем, когда я робко спросил ее совета, что целесообразней указать в графе «национальность», она не задумываясь отчеканила:

— В анкете для приемной комиссии лучше напишите «русский», во всех же прочих нет никаких причин скрывать правду.

Как-то я и Бабушкина, смывшись с диалектического материализма — единственно верного философского учения, озвученного хорошо поставленным баритоном Юрия Палыча Иванова[1], воодушевленно топали от метро по направлению к ее дому на Усиевича. Оживленно переговариваясь, мы уже предвкушали куда более приятное времяпрепровождение, нежели участие в занудных дебатах о Сосо Джугашвили и его казненных сподвижниках, как вдруг, откуда ни возьмись, оправдывая свою фамилию, нам ехидно преградила путь Мария Зоркая — в норковой шубенке, базедовы глаза навыкате:

— Атас, братцы-кролики! Кажется, вы вляпались по самые уши! Ладно уж, не пугайтесь, я не растреплю: могила! Но вы, Гриша, смотрите, не подкачайте: я ведь приняла вас на дневное по сугубо индивидуальному проекту!

Обе Маши понимающе хихикнули и разбежались. В короткой беседе незримо присутствовала тень пушкинской пиковой дамы: пожилая переводчица с болгарского слыла баснословно богатой.

— Как Крез! — подтверждая циркулировавшие слухи, алчно раздувала ноздри Машуня Жданова, племянница Зоркой, бледнее спирохеты.

Надо сказать, я и к этой Маше пытался подбивать клинья: просто так, для коллекции, повинуясь магнетизму имени... Ждановы обитали в районе «Университетской». Бесприданницей единственную дочь никак не назовешь: шикарный кооператив, престижное авто, дачка. Глава семьи, родной брат Зоркой, сумел выбиться в знатные архитекторы. Мать водилась с богемой, но и не только: ближайший ее дружбан, по виду стопроцентный семит, из осмотрительности представлявшийся шведом (он и впрямь чем-то смахивал на Карлсона, живущего на крыше), читал на ее кухне нараспев стихи Мандельштама, сокрушенно сетуя на свой неудавшийся брак.

---

[1] Артистизм этого начетчика исчерпывающе объяснялся его сексуальной ориентацией; жизнь он окончит трагически: его найдут мертвым в ограбленной квартире, после того как кто-то из случайных партнеров решит прикарманить собранные им в течение жизни театральные реликвии.

Мать Ждановой внешне выглядела как минимум полукровкой. Она отреагировала на мое появление вполне позитивно: через одного своего шустрого знакомого организовала нам два билетика на вечер Александра Иванова, проходивший в здании Московского автодорожного института. Помню, как сам пародист, торопившийся на сцену, мимоходом облизнулся на квелое личико моей кокетливой спутницы. Меня оно тоже отчасти привлекало — но только когда бескровные уста хоть что-нибудь произносили: таким образом, я оставался в курсе всех цэдээловских сплетен.

Дома у них я бывал раза два или три. Не то чтобы собирался посвататься, исключительно из любопытства. В последнее свое посещение отколол кунштюк в духе Остапа Бендера: стибрил из обложенного кафелем клозета небольшой латунный молоточек. Зачем? Для чего? Видимо, тоже для коллекции... Но клептомания безопасна только в сочетании с умелой конспирацией. Почтив меня ответным визитом, Жданова сходу опознала свою вещицу на полке:

— Откуда это у тебя? — пытливо сощурилась она.

— Не помню толком. Кажется, Хворостов где-то раздобыл.

— О, да твой сосед хозяйственный мужик: он обладает редкой способностью приобретать полезные вещицы!

Она продолжала насмешливо пялиться на меня со стула. Рассчитывая сгладить неловкость, я попытался за руки привлечь ее к себе, но острый каблук гостьи красноречиво уперся в остов кровати. А за окошком туманился одноразовый шприц Останкинской телебашни — за этот незаурядный проект отец ее был в свое время удостоен государственной премии...[1]

Идиотская эта история продолжала терзать мою нечистую совесть. На лекции по древнерусскому фольклору, воспользовавшись болезнью Бабушкиной, я сел рядом со Ждановой. Расчесанный на православный пробор Константин Кедров витийствовал взахлеб, шарлатански препарируя алфавиты разных племен и народов. Согласно его сомнительным выкладкам, славянский «аз» являлся ни чем иным как вочеловеченным ивритским «алефом». Библейская буква идеографически привязывалась им к образу парнокопытного. Нам предлагался сусальный миф об эволюции быка в человека. При этом общепризнанная историческая промежуточность греческой «альфы» деликатно замалчивалась (равно как исконная фамилия самого лектора — по рождению Бердичевского).

Эврика! Ничтоже сумняшеся, я решил запечатлеть его дерзкую гипотезу в проказливом экспромте. Последняя строфа звучала примерно так:

---

[1] Стоило автору написать эти строки (в Израиле, весной 2000 г.), как по российскому телевидению передали сногсшибательную новость: упомянутая телебашня вдруг запылала по неведомой причине; пока ее тушили пожарные расчеты, в груди моей не переставало тлеть странное чувство сопричастности.

Мычит ветхозаветная скотина —
Как следует колом ее огрей!
Творение Кирилла-Константина,
Твой автор был не эллин, а...

Жданова просияла: моя язвительность ей явно импонировала. Некоторое время мы сидели молча. Повторяю, я к ней не то чтобы особенно вожделел. Просто мне не давал покоя бездарно позаимствованный мной латунный молоточек. И в какой-то момент, мечтая провалиться сквозь землю, я бессильно уронил голову ниц... Прощение снизошло незамедлительно: тайком ото всех она ободряюще сжала мою руку под партой.

Что было, то было, но вопрос в другом. Готов ли я сам выдать индульгенцию тому отпетому мошеннику, тому вороватому проходимцу, которым являлся в безоблачные времена своей юности? И разве мое тогдашнее авантюристское «эго» мне сегодняшнему не подпортило карму настолько, что какое бы то ни было реальное исправление, каббалистический «тиккун», представляется уже маловероятным?..

«Падший ангел» — недаром этим сакраментальным словосочетанием ласково увенчала меня Верка Цветкова. Участливая опекунша регулярно грозилась полушутя, подставляя щечку для дружеского поцелуя:

— Вот погоди, малость забуреешь — и курсе эдак на третьем я лично тобой займусь!

Пока же, суд да дело, она выступала в роли неутомимой сводни. Троих двадцатилетних бонвиванов — меня, слегка шепелявого армянского декадента Манука Жажояна и высокомерно гнусавящего немца из Архангельска Мишу Шульмана, младшего брата строгой критикессы (показателен тот факт, что все трое после летней сессии будут поставлены под ружье как по команде), Цветкова потащила на именины к своей подруге, гримерше с киностудии им. Горького. Волоокая евреечка вела себя гостеприимно, поила и кормила нас до отвала, расспрашивая о том, о сем, но при этом глаза коренной москвички выдавали глубокую разочарованность в сильном поле.

Куда большим задором отличалась простоволосая, с лазурными русалочьими зрачками, Наталья Силантьева, родом из Ульяновска (однажды, как ни странно, я повстречаю ее в Земле Обетованной — под фамилией Войтулевич-Манор, на сцене израильского театра «Гешер», в роли Настасьи Филипповны). На тот момент моя новая знакомая еще не перевелась на актерский в ГИТИС и продолжала корпеть над учебными сценариями. Возможно, по этой причине ей тогда и была интересна литературная публика. Впоследствии мы подружились, она участвовала в шумных посиделках у меня в общаге. А еще я ей читал свою раннюю поэму «Надежда Нежданова» — во время нашей неспешной прогулки по тихому кладбищу неподалеку от ВГИКа. Выслушав внимательно, она отметила у меня глубокое поэтическое дыхание, а затем, окинув взором покосившиеся надгробья, вдруг пронзительно спросила: не боюсь ли я смерти...

В театрально-киношной среде Верка чувствовала себя как рыба в воде. В тот вечер в ней самой проснулись режиссерские амбиции. Вот почему за столом я оказался локоток к локотку со стриженой под каре крашеной блондинкой, костюмершей из Детского музыкального театра. Звали ее Таня Левкина. После двух рюмашек мы уже нежничали с ней на мягкой софе, не обращая внимания на собутыльников, выкомаривавших рок-н-ролл на скользком паркете.

— Только на прописку не рассчитывай! — упредила она заранее все мои корыстные поползновения. Видимо, влюбчивого пиита ей аттестовали как неисправимого романтика.

Левкина выглядела лет на двадцать пять. В чертах ее мелькало что-то определенно семитское, но и эта тоже упорно настаивала на своем скандинавском происхождении (любопытно, существует ли в психиатрии специфический термин для обозначения подобного рода мимикрии?) В самый разгар пирушки она ненавязчиво сообщила мне о своей затянувшейся девственности.

— Все никак не подвернется достойный кандидат, — лаконично объяснила она отсрочку в столь деликатном деле.

Азарт гарпунера обуял меня. Поймав таксомотор, я умыкнул ее на целую ночь. Кто-то когда-то внушал мне, будто лишение невинности сопряжено с пожизненным влечением дефлорируемой к своему первопроходцу. Судя по Ире Вайнштейн, это отнюдь не басни: архитекторша была готова следовать за мной хоть на край света (правда, в купейном вагоне, а не в калмыцкой кибитке). Что же касается Бабушкиной — как было уже отмечено, я не верил ни единому ее фальшивому взвизгу!

Так или иначе, а де-факто это происходило со мной в третий раз, (хотя де-юре — лишь во второй).

Таня умоляя шептала:

— Сделай это нежно!..

— Как под общим наркозом! — клятвенно заверил я.

Но не успело обещание слететь с уст, как халиф на час вцепился в железную спинку кровати и принялся рьяно отжиматься со звериной гримасой.

— Гришенька, остановись, пожалуйста, у нас ничего не получится!!! — металась фрекен Левкина по пыточному ложу (ох уж эти мне шведские семьи: все в них не по-людски!)

Впрочем, я обозлился не столько на ее псевдоарийское хамелеонство, сколько на реплику насчет прописки. Не люблю, когда наступают на любимый мозоль. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что Верка подсунула мне перед сном подслащенное мумие в чайной ложечке. Мой первый, нимфский еще, эксперимент в этом роде, помнится, растянулся дня на три, на четыре; здесь же, разнообразия ради, я взял своим девизом пословицу «veni, vidi, vici!»

Покончив с грязной физиологией, я решил вспомнить о душе. Перевернувшись на спину, закурил и, сыто мурлыча о чем-то эфирном, умозрительном, меньше всего рассчитывал на зритель-

скую апатию. Но Татьяне сентиментальные абстракции явно претили. В ответ она лишь презрительно фыркала — вперемежку с остаточными всхлипами.

— До чего же ты черствая! — упрекнул пациентку хирург, страдая от похмелья.

Наскоро одевшись, гостья на прощанье заглянула к удружившей ей сводице. Верка и Манук завтракали в неглиже, выковыривая хилые шпротины из мятой жестяной банки.

— Ну? — с надеждой в голосе прянула ей навстречу дуэнья.

— Мрак! — учащенно дыша, Левкина отчалила без лишних объяснений; о ее пожизненной привязанности ко мне, разумеется, и речи быть не могло.

Превратно истолковавший эти слова Жажоян счел своим гуманитарным долгом меня поддержать.

— Ну, фто, фраернулся, Грифа? — снисходительно осклабился он. — Ладно уф, не туфуйся: всяко бывает!

Небрежным жестом я откинул байковое одеяло. Увидев обагренную простынь, утешитель опешил:

— О! Да ты, оказывается, молоток...

Милый, бедный Манук! Да будет тебе земля пухом! Вечно изумленный, тонконогий, как джейранчик, даже корчить из себя утонченного сноба — и то умудрявшийся с оттенком наивности. Эдакий пройдоха-нескладеха. Кто бы мог предположить, что с ним такое однажды стрясется? Вроде был достаточно осмотрителен, дорогу переходил аккуратно... Жаль, только не шибко пристально следил за развитием политических событий: в стране, где прежде по традиции казнили гениальных поэтов, в конце 90-х прошлого века на Голгофу взошли бесстрашные журналисты.

Версификатор он был грамотный, не более, зато поэт — редчайшей силы искренности, безоглядный, из породы Рембо! От рождения билингв, Жажоян все же предпочитал писать по-русски: сознавая, что имперский язык по определению выразительней, ибо открывает несравненно больше возможностей. К окружающей природе он был абсолютно индифферентен. Еще на картошке, когда мы, два байбака, посмеивались над пахарями на борозде из-за кустов ежевики, он провозгласил себя убежденным урбанистом. Но именно Город — одичалый Сатурн, которому он так самозабвенно поклонялся, пожрет свое доверчивое дитя. Что за чудовищная прихоть жребия: щеголеватый парижанин, к мнению которого уже начали прислушиваться маститые редакторы, насмерть сбит остервенело мчащимся по Невскому проспекту автомобилем![1]

[1] Летом 1997 г. литературный обозреватель «Русской мысли» прибудет в Санкт-Петербург, чтобы представиться родителям своей невесты, работавшей корректором в той же издании. К Ане Пустынцевой в Париж он уже никогда не вернется: его поместят на больничную койку, где он скончается к утру — по вине злостного непрофессионализма врачей. По чьей же конкретно вине он угодит на операционный стол — так и оста-

Что до меня, то я иначе как живым Манука воображать отказываюсь. Счастливый дар коммуникабельности распахивал перед ним любые двери. В развеселом бивуаке Мисюка в нем души не чаяли. Чуть не каждый вечер там разыгрывался один и тот же претенциозный спектакль. Ижевский самородок Игорь Крестьянинов, по прозвищу Блок (судя по внешности — потомок эвакуированных в Удмуртию евреев), надрывно хрипел под гитару рубцовский стих про крещенские морозы. Сержант Корчевный из Ессентуков оголтело лупил в тамтам, заливаясь истерическим хохотом белобрысого масая. Вятич Андрей Пестов, причудливая помесь Чаадаева с тибетским монахом, невозмутимо жевал мундштук, рассуждая об очевидных преимуществах верлибра.

При этом вся компания безоговорочно признавала лишь одного гения — самого Мисюка, чей солидный возраст, закоренелый алкоголизм и незатейливые вирши в стиле а-ля рюсс внушали благоговение даже общежитским мышам, копошившимся в груде его черновиков. Тольяттинский лирик, со сверкающей лысиной и сардонической ухмылкой, хрустя рабфаковской тужуркой, произносил свой широковещательный монолог о судьбах русской поэзии. С его точки зрения, в самоубийстве Маяковского была повинна исключительно Лиля Брик, в смерти Есенина — чекист Блюмкин, а в трагической кончине Рубцова — казуисты-редакторы с их крючковатыми носами.

Как-то, с началом этой бодяги, я выманил Жажояна в коридор и там раскололся: моя внешность порой требует комментариев для непосвященных. Услышав такое признание, бывший студент ереванского филфака непроизвольно прыснул: к чему эта нелепая конспирация? В Армении евреев кот наплакал, оттого и антисемитизм всегда носил сугубо маргинальный характер. Впрочем, припоминал он, в Ростове-на-Дону один «шлимазл» плакался ему в жилетку: на экзаменах, мол, срезали — теперь придется два года в нужник строем ходить...

И Манук великодушно принял на себя роль дипломата: объяснил корешам что к чему — чтобы впредь болезненную тему при мне не затрагивали. К услугам его я прибег вынужденно: во-первых, глупо соваться в чужое аббатство со своим уставом; во-вторых же, поведи я себя иначе, на стенку бы пришлось лезть от одиночества. Хвататься за томагавк я не спешил: хорошо помня, какие последствия для меня возымела изоляция на стройфаке. К тому же, здесь меня окружали личности прелюбопытные: у Пестова я почерпнул немало полезной информации — в частности, о его кумире Поле Валери; да и у самого Жажояна было чему поучиться:

нется для всех загадкой. Бесспорно одно: браться за статью о деле Никитина — процессе, сфабрикованном органами безопасности, — браться попутно, да еще и без какого бы то ни было опыта в политической журналистике, ему ни в коем случае не следовало.

наделенный безупречным вкусом, он привил мне любовь к Верлену и Уайльду, раскрыл моему уху прелесть мандельштамовских интонаций.

В то же время Манук не скрывал отвращения, когда речь заходила о Юрковецком. Считая его законченным уродом, он нет-нет да и экстраполировал это свое отношение на всю нацию. Строгий кодекс горца порицал фарцовку законной супругой, даже если она и происходит из чуждого племени... Впрочем, кажется, я что-то путаю: Петр вытолкнул Инну на панель значительно позже — в годы перестройки, когда валютная проституция сделалась в Москве одним из наиболее доходных занятий. В описываемый же период он еще холил ее и лелеял, вкалывая сам черт знает где ночным сторожем. Пока Бахметьева рожала ему троих наследников, он вынашивал планы поездки на золотые прииски, на которую так и не решился, небезосновательно опасаясь, что его кости останутся в таежной глуши...

Да, не секрет, что разным человеческим сообществам свойственно культивировать различные моральные ценности. К примеру, фракиец Спартак, загнанный в угол римскими легионами, был воспитан таким образом, что не мог и предположить вероломства со стороны армянских купцов, вдобавок еще и сорвавших с него солидный куш за спасение. Однако неужели так трудно всему миру понять, что вечный страх преследований, непрекращающиеся наветы и погромы, неизбежно изуродовали бы любую коллективную этику? Спрашивается, не настало ли время понять и простить?..

Просто-напросто иудеи подверглись колонизации гораздо раньше других восточных и южных народов. Их европейские резервации назывались «гетто» и находились вдали от разрушенного Храма. При этом метрополии как таковой они были напрочь лишены. Могла ли такая напасть не сказаться на человеческой психике? И разве сегодняшние турки в Германии, арабы во Франции или пакистанцы в Лондоне — притом, что их положение, благодаря царящей там демократии, несравненно лучше, — явили Западу образчик благочестия и законопослушания? Разве те же цыгане, айсоры, парсы сохранили свои древние традиции и верования хоть в четверть по сравнению с потомками Авраама?!

Как пишет Иосиф Бродский в своем «Назидании»:

> ...помни: пространство, которому, кажется, ничего
> не нужно, на самом деле нуждается сильно во
> взгляде со стороны...

Формула эта, достойная Овидия или Лукреция, прочно окованная панцирем акцентного стиха, сводит воедино апологию и критику. Еврейскому народу, одному из самых выстрадавших в истории, жизненно необходим такой взгляд со стороны. Табу, которым сегодня блокирован любой анализ наших общенациональных недостатков, объясняется ужасами Холокоста, сочувствием

Запада к жертвам геноцида. Этому запрету пытается противостоять гнусная свистопляска неонацистов с их пещерным невежеством. Кто же поможет нам выйти из заколдованного круга? Ведь преследуемые тем порочней, чем чаще их преследуют, — а возводить на них напраслину не перестанут, пока большинство не избавится от родовой отметины.

Судьба Пети Юрковецкого во многом характерна для одаренного, но с детства задавленного комплексами московского еврея. Практически лишенный волевого начала, он в повседневной жизни выработал форму самозащиты, являвшую собой сочетание соленого юмора с меланхоличным скепсисом. На Инне он, безусловно, женился с заветной целью ассимилировать, хотя его потребительское отношение к ней и свидетельствовало о внутренней отстраненности. Впрочем, какая-то искренняя привязанность все-таки существовала. Во всяком случае, уже в Гамбурге, где они осядут всей семьей, когда у Бахметьевой поедет крыша и ее запрут в психушку, это ввергнет его в пучину неподдельного страдания. Развеять мрачные мысли не поможет ни сеть массажных кабинетов, ни издаваемый им в иммиграции рекламный журнальчик. Допустив некий грубый просчет, он и сам вскоре, увы, окажется за решеткой...

В тот год я в основном лоботрясничал да попусту распылялся. Из тех же лекций Зоркой мог бы извлечь больше толку. Не говоря уж о великолепном Сергее Аверинцеве — чьему краткому экскурсу в историю ересей, блестяще прочитанному в актовом зале общежития, Мария Владимировна и сама внимала, затаив дыхание. Катары и альбигойцы, духоборы и богомилы — эти диковинные слова я слышал тогда впервые. Но, несмотря на ветер в голове, что-то в память все же запало. Иначе разве бы я стал так упорно вникать — годы спустя, под жгучими аравийскими небесами, — в тектонические сдвиги Раннего Возрождения, мысленно перекидывая мостик от брожения секты «жидовствующих» и московских интриг семьи Палеолог к суровому эдикту Фердинанда и Изабеллы и к последовавшему за этим переселению народов?

Не присутствуй я тогда в том уютном крохотном зальчике — разве пришло бы мне когда-нибудь в голову, что 7000-й год византийцев (он же 1492-й по общепринятому летосчислению), объявленный на Руси началом светопреставления, вовсе не случайно совпал с изгнанием евреев из Испании и открытием Америки? Обрушив на иудеев новое бремя отверженности, христианские мильенаристы подсознательно избавлялись от тягостного ожидания глобальной катастрофы: было еще раз доказано, что конец света можно локализовать, сведя его к жестоким испытаниям, выпавшим одной отдельно взятой нации. Но гений истории — Твой, Садовник, гений — мудро увенчал эту трагедию кульминацией из шекспировской «Комедии ошибок». Истосковавшийся в тысячелетнем одиночестве Старый Свет обнял со слезами на глазах своего единоутробного брата-близнеца!

Да, поначалу всеми богатствами и угодьями завладели те же самые, кто накануне алчно отнял имущество у испанских изгнанников. Даже Кристобалю Колону, потомку марранов с острова Майорка, не простили его происхождения: Командор не избежал тюрьмы и опалы, он умер в полной безвестности. «Земное яблоко» Мартина Бехайма, топографически восполненное очертаниями нового материка, подставило завоевателям вторую щеку: меч конкистадора обрушился на древнюю ацтекскую цивилизацию. Но вот миновало 500 лет — и что мы видим? Плаванье Колумба в конечном счете лишь укрепило позиции государства Израиль. Ибо сильнейшее из двух еврейских государств (а их и в древности было два) расположено сегодня на Американском континенте!

Впрочем, устойчивость той или иной интерпретации нередко зависит от того, в достаточно ли твердой валюте выдается «грант». Мне с этой приятной формальностью в Израиле не повезет — как не повезет и со всем остальным: там, на родине пророков, выживание для меня окажется проблематичным во многих аспектах... Но суть не в этом. Главный мой вывод состоит в другом: история управляема свыше, она глубоко *метафизична*; законы добра и зла, возмездия и воздаяния оказывают на ее ход самое непосредственное влияние. Разве тот же Холокост в итоге не явился своеобразной формой отвоевания евреями своей исконной земли? Ведь создать для этой цели регулярную армию разрозненные, раскиданные по всему миру общины не могли по определению. А кто сказал, что усилия по восстановлению еврейской государственности военным путем: смертельная схватка с Оттоманской империей, силовое устранение британского фактора, масштабное оттеснение арабских банд, — потребовали бы меньших человеческих жертв, нежели замешенная на идеализме кипучая революционно-преобразовательная деятельность по всей Европе, приведшая, увы, к концлагерям и массовым репрессиям?.. Да, это была эквивалентная плата за национальную независимость — плата в другой, не настолько расхожей валюте, но внесенная отнюдь не по сговору «сионских мудрецов», как пытаются нам представить зоологические антисемиты, а предусмотренная свыше, основанная на Промысле, отчего и сама неизбежность ее была, вероятно, заложена в коллективном бессознательном. Иными словами, Садовник, я окончательно пришел к тому, что двуногая растительность планеты — не сумбурные дебри, как мне казалось прежде, а прообраз английского регулярного парка с его аккуратно подстриженной травой и тщательно ухоженными купами дерев!

Но тогда, на первом курсе, я еще ни на йоту не тяготел к руссоизму. Не стремясь к возделыванию собственного сада, варварски обдирал венчик за венчиком, гадая о будущем по изнеженным лепесткам. Цветы, окружавшие меня, вяли и отворачивались — розы, маргаритки, ромашки...

Каждый раз по возвращении от Бабушкиной я выл в подушку, ропща на лукавые проделки змееволосых эринний. Гамзатов-

ский племяш Наби Джаватханов, чье зычное горское романсеро я переводил для какого-то махачкалинского сборника, жизнеутверждающе барабанил в стенку, осуждая мою мерехлюндию.

На лекциях мы иногда садились с нею рядом. Однажды, просто так, смакуя прелесть фразеологического оборота, я несколько раз повторил:

— Я ведь гол как сокол. Гол как сокол.

— И глуп как сапог, — не отходя от кассы, зарифмовала она.

А затем, спохватившись, испуганно пролепетала:

— Прости, пожалуйста!..

«Ничего-ничего! — грозил я ей. — Наступит время, и ты будешь локти кусать!» — «Это когда ты, Гриша, станешь великим поэтом, да?» — что ни говори, а подкузьмить она умела.

Обуреваемый тщеславием, я решил пробиться в журнал «Юность», разлетавшийся тогда по стране миллионным тиражом. Стихами там заведовал некто Натан Злотников — долговязый, плешивый, с осклизлой улыбочкой и медоточивым тенорком. Несмотря на свою влиятельность в кулуарах, этот жалкий Агасфер вынужден был постоянно оставаться начеку: сбоку его недреманно подсиживал толстокожий истукан Николай Новиков, второй человек в отделе поэзии, кропавший высокопарную серопись и при всяком удобном случае вставлявший палки в колеса шефу.

— Доб'ый день, Г'ишенька! — завидев меня, пичужничал ласковый Натанчик, улыбаясь как кукла Барби и неприлично подмигивая. — Коинька, это майчик от Яши Коз'овского. П'овей, пожа'уйста, может, нам чего подойдет.

Вальяжный помощник, слюнявя пальцы, насупленно пролистывал мою рукопись. Сколько он ни корчил из себя белую кость, камер-юнкерское выражение не давалось суконному рылу. И всято его ностальгия по дворянским собраниям объяснялась одной лишь тайной ненавистью к пирующим на обломках предыдущей империи «узурпаторам».

— Поймите, Григорий, — выдал он при нашей следующей встрече, — мы хотим вас *открыть*, а не просто опубликовать! Приносите новые вещи, мы в будущем непременно что-нибудь отберем.

В другой раз этот аристократствующий троглодит внушал:

— А известно ли вам, что стихи не кормят? В лучшем случае вам светит кресло литературного чиновника, — бьюсь об заклад, он опирался на собственный печальный опыт.

Вот уж правду говорят: в чужом глазу... Свои-то нетленки оба журнальных клопа — Натанчик и Коленька — тиражировали с воодушевлением неваляшек: ничуть не уповая на вселенский резонанс, довольствуясь скромными комсомольскими гонорарами. Какое им дело было до меня — незамаранного в их иезуитских интригах, понятия не имевшего о том, кому на кого положено стучать по четным, кому — по нечетным дням недели?!

Один только Витя Коркия, литконсультант на полставки, шепнул мне мельком в редакционном закутке:

— Я вижу поэта! Нетрудно догадаться, что ваши учителя — Тарковский и Чухонцев. Но учтите, совсем не обязательно повторять их крестный путь.

Ах, Виктор! К несчастью, все оказалось не так-то просто. Тому, кто воистину *живет* написанным, тернового венца не избежать. Одним его надевают на голову в издательствах, другим — на чужбине, третьим — в супружеской постели... Да что я тебе рассказываю! Ведь и с тобой — чей потенциал раз в десять превосходил их убогие возможности — эти кашалоты не больно-то цацкались: не случайно свою первую книжку ты выпустишь, когда тебе перевалит за сорок...

За глаза про Злотникова шутили:

Я пригласить хочу, Натанец,
Вас и только вас!..

Он состоял в особых отношениях с главредом Дементьевым, который иногда вихрем проносился по коридору: в голубеньком костюмчике, идеально выбритый, верткий как флюгер. Андрей Дмитриевич, ловкий эстрадный стихоплет, типичный московский марран[1], и был флюгером по призванию: черная «волга» что ни день моталась к подъезду ЦК ВЛКСМ. Злотникову терять было нечего: ему, с его говорящими именем и внешностью, никакая мимикрия все равно бы не помогла. Вот почему главный охотно разыгрывал лысую пешку в своих хитроумных комбинациях. Однажды, когда я, переминаясь с ноги на ногу, в очередной раз дожидался ответа, из дементьевского кабинета, где проходило заседание редколлегии, донесся пронзительный вопль Натанчика:

— Давайте наконец поп'обуем печатать п'осто хо'офую п'озу и п'осто хо'офые стихи!

А что? Отличная идея, Натан Маркович! К тому же — в духе времени. Давайте же, давайте попробуем! — Игнорируя все звонки и записочки от знакомых, сабантуи и междусобойчики, совписовские дрязги и аэропортовские сплетни...

Новикову позволяли зазря протирать штаны с тонким расчетом: требовалось подславянить состав редакции — иначе комсомольские боссы могли разгневаться. Натанчик, футболивший меня всякий раз с новой формулировочкой, знал толк в литературном гешефте: за мною, расхристанным пустельгой, он изначально не учуял реального барыша. При этом каждый третий автор журнала был семит. Но рисковать задарма, помавая в воздухе алой тряпицей, не больно-то хотелось...

Ровно семь лет я протолкусь в камуфляжной очереди за бессмертием — наведываясь наобум, нерешительно топчась в сенях. Осмотрительный матадор однажды со мной разоткровен-

[1] По остроте дементьевского профиля я и прежде догадывался, что он — полукровка. Позднейшие же его телерепортажи из Израиля и вовсе не оставили сомнений.

ничается, вспомнив свой просчет с подборкой Леонида Губанова: дескать, беззащитного мальчика тогда воздели на рога рецензенты — на самом деле целившие в мафиозного публикатора. Тембр его при этом изменится, принимая более брутальный оттенок (еще бы: ведь Коленьки рядом не было!) К чему он проведет эту параллель? Догадка осенит меня позже. Ах, вот оно в чем дело! Ну, спасибо, Натан Маркович! Вы, стало быть, меня из милосердия мурыжили?..

В исповедь этого угря внезапно вклинится звонок дочери.

— К маминому п'иходу не забудь п'иб'аться в светелке! — пропоет он ей в ухо лубочную фразу.

Заместитель, годами точивший зуб на фармазона, однажды все же продемонстрирует свой оскал — когда тяжело больной Злотников сляжет в госпиталь. Это произойдет уже при Ельцине. Дементьева скинут, его пост займет Виктор Липатов, отец моего приятеля Артема. Когда новый главред, собирая с миру по нитке, попросит Новикова внести свою лепту — тот бесстыднейшим образом, совершенно по-жлобски, зажмет рупь на монпансье своему шефу, угодившему на сей раз в нешуточный переплет...

(Окончание в сл. номере)

Евгений СТЕПАНОВ

/ Москва /

Застой. Перестройка. Отстой

роман

миллиарды лет назад
миллионы лет назад
тысячу лет назад
сто лет назад
до моего рождения
десять лет назад
год назад
месяц назад неделю назад
вчера час назад
только что
СЕЙЧАС
скоро
через час
завтра
через неделю
через месяц
через год
через десять лет
после моей смерти
через сто лет
через тысячу лет
через миллионы лет
через миллиарды лет

Герхард Рюм, «История»,
перевод Виктора Санчука

ПРОЛОГ

Океан сливался воедино с небесами в еле уловимом промежутке на волнах космического эфира находилось вечное и юное астральное тело оно искало своего временного земного воплощения вакансий не было не было не было не было потом на мгновение оно появилось мужчина и женщина аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз аз за аз в непонятной студенческой сибири нашли друга друга

глаза потянулись к глазам астральное тело стало видоизменяться а--а-а-а-а-а-а-а-а-а- закричал 5 июня 1964 года ребенок в московском роддоме № 9 в 23.45.

ГЛАВА 1
ПОДМОСКОВНАЯ МОСКВА—КУБИКОВО—КУБИКОВСК

Детство — самое достойное и благородное — не знающее большого страха! — время в моей жизни. Оно пролетело быстро — в московском (подмосковном) деревянном дворе в Новогиреева. Таких дворов и домов теперь в Москве, наверное, нет. Какой-то далекий, неведомый австриец построил этот домишко, а мои прабабушка и прадедушка его купили за двенадцать тысяч рублей. Во дворе — участок составлял внушительные сорок соток! — жила наша прекрасная семья Жарковых (отец Виктор Александрович, мама Анна Георгиевна, старший брат Юра и я).

Сейчас (позволю себе краткое лирическое отступление) я хорошо понимаю, что вся моя прошедшая жизнь является в какой-то степени и моей настоящей жизнью. Ведь и сейчас меня волнует, радует, огорчает пережитое в те годы.

Дом был без удобств — небольшой, щитовой. Посередине стояла печка. Мать ее с утра до вечера топила. Иначе было бы совсем холодно.

Я рос, общался с родителями, братом, котом Диким и собакой Чернышем. Лазал по деревьям, собирал клубнику, ходил в кусковский парк и старый замечательный кинотеатр «Гай». До шести лет я был совершенен, как все дети — почти ничего не боялся. Я знал, что в случае чего мама и папа всегда придут мне на помощь. И спасут.

Во дворе росла огромная величественная яблоня — китайка. Яблочки были маленькие-маленькие, кисло-сладкие, мы их очень любили с братом.

Я смотрел на могучий и стойкий, как световой луч, летом врывающийся в дом, ствол яблони, гладил ее нежные листочки, прижимался к ней спиной, и она, как мамина теплая махеровая шаль, согревала меня — я с детских лет был уверен, что дерево одушевлено, и оно — любое, абсолютно любое, но, прежде всего, конечно, яблоня! — является моим родственником. Близким родственником.

Отец работал инженером в строительном тресте, мама — техническим переводчиком с немецкого языка, что позволяло ей частенько брать работу на дом.

Родители жили дружно, практически никогда не ссорились, они любили друг друга и нас, своих детей. Все свои силы они отдавали нам — они совершали свой ежедневный незаметный родительский подвиг.

У отца было много разных хобби — он переплетал книги и газеты, у нас хранились все подшивки «Правды», «Литературной газеты», для каждого фолианта он делал из картонки коробку, мастерил роскошную деревянную мебель, стрелял из пневматического ружья по мишеням, фотографировал, играл на аккордеоне и скрипке, ежедневно вел дневник и т.д.

А еще он любил готовить.

Особенно — варить варенье. Варенье он варил из всего. Из клубники и яблок, облепихи и черноплодки, которой у нас росло видимо-невидимо.

Однажды отец и вовсе нас удивил:

— А теперь, ребята, отведайте мой фирменный джем — из апельсиновых корок.

Мы неуверенно и не слишком охотно стали пробовать. Юрка как честный человек сказал, что ему не понравилось, мама пробовать и вовсе отказалась, а я отца из вежливости похвалил, правда, съел всего две ложечки.

Мой старший брат Юрка обожал рисовать и читать — он ходил в художественную школу. Рисовал он в основном замки. Красивые они у него получались.

Юрка с детских лет был очень начитанным мальчуганом. Именно он открывал мне литературные имена. Он пересказывал мне «Героя нашего времени», читал стихи и переводы Маршака (особенно нам нравились про Петрушку и Робин Гуда).

Сам писал стихи.

Больше всего Юрка любил читать детективы. Вообще, он мог читать круглые сутки напролет.

Откроет окно, поставит возле кровати бутылку с водой и читает.

Еще мы с ним мечтали о дальних странах — Америке и Франции, Германии и Швеции...

...Когда наш маленький прекрасный домик сломали, государство предоставило нам в том же Новогирееве трехкомнатную неказистую квартиру, правда, со всеми удобствами. В уборную бегать уже было не надо.

Мы переехали, я быстро освоился в новом дворе, записался в футбольную секцию (клуб «Крылья Советов», на «Электрозаводской») и в музыкальный кружок при Доме пионеров и школьников в «Кузьминках».

Времени свободного не оставалось. Каждый день я расписывал, как большой начальник, по минутам.

Друзей у меня было немного — Игорь Кононов, мы с ним и жили в одном дворе, и играли в одной команде, и Сережка Грушин — с ним мы вместе ходили на музыку, играли в районном ансамбле баянистов-аккордеонистов.

Семь лет — от семи до семнадцати — я провел на тренировках, а также в музыкальном кружке и в ансамбле. Наставница по музыке Елена Пинхусовна Майзель меня ругала за частые пропуски занятий, но не выгоняла — у меня с детства был абсолютный

музыкальный слух, что достаточно большая редкость. Она только удивлялась:

— Женя, как ты мальчик из интеллигентной семьи занимаешься такой ерундистикой — гоняешь футбольный мяч?! Это же дикость. У тебя же мама — очень правильный человек, известная переводчица с немецкого языка, а ты...

А я любил футбол, любил играть, утверждаться в команде, добиваться спортивных результатов, преодолевать себя, забивать мячи, чтобы мне аплодировали, отдавать умные, грамотные передачи. Детский спорт — отличная школа. И очень трудно тому, кто эту школу не прошел.

Огромным событием в моей десятилетней жизни стало получение спортивной формы. Давали ее далеко не всем — только основным игрокам.

Тренер Валерий Павлович собрал нас, одиннадцать футболистов, после тренировки и выдал талоны на приобретение этой заветной формы. Я прижал его к груди и, счастливый, побежал домой. И... потерял... Ну, как описать мое горе?

Мама меня спасла. Поехала на «Крылышки» и привезла новый талон.

...На одной из тренировок я получил травму — упал и сломал руку. Положили меня в городскую больницу.

Врач очень странно пошутил:

— Теперь выпишем тебя на ту осень, лет через восемь.

Я чуть было не зарыдал.

Он попытался меня утешить:

— Не переживай! Я шуткую. Выпишем раньше. Все мальчишки должны в детстве руку сломать — потом еще будешь добром нашу больницу вспоминать.

В больнице мне совсем не нравилось, но было счастье, когда приходила мама и приносила зефир. Она приносила целый килограмм зефира! Одному мне! Счастье, правда, счастье!

Выписали меня через две недели.

Летом мы уезжали с командой в спортивный лагерь в Подмосковье, в Ступино или Михнево. Там жили в финских каркасных домиках, много тренировались, бегали кроссы вокруг бескрайнего и тошнотворного кукурузного поля, играли дважды в день в футбол. Вечерами ходили на танцы, смотрели, как старшие ребята танцуют и кадрятся с рано повзрослевшими пионерками и комсомолками.

Особенно я любил играть в спортивном лагере в пинг-понг — и всех обыгрывал.

После спортивного лагеря я выступал в команде весьма успешно и наш тренер Валерий Палыч меня хвалил.

А наставница по музыке ругала за долгие пропуски, но не отчисляла из кружка, а опять включала в ансамбль баянистов-аккордеонистов, и мы играли по вечерам в кинотеатрах. Денег нам за это не платили, мы только демонстрировали достижения нашего Дома пионеров и школьников.

Однажды (я тогда учился в седьмом классе) отец пришел домой и спросил:

— Хочешь пожить у моря, в санатории?

— Конечно, хочу.

— Можешь поехать на целую четверть. Нам на работе дают для детей путевки...

Я стал собираться.

Меня отправили в Евпаторию, в школу имени Олега Кошевого.

Это оказался интернат.

Там собрались ребята со всего Советского Союза — из Москвы и Московской области, Томска и Челябинска, Киева и Харькова...

Я влюбился в Лену Огородникову. Она, увы, любила другого парня из нашего класса.

Мы ходили в интернате маршем, всегда под прямым углом. Пели песни, скандировали речевки.

— Кто шагает дружно в ряд?

— Пионерский наш отряд.

— Наш девиз?

— Бороться, искать, найти и не сдаваться.

В палате было человек двадцать пять.

Все болтали. Даже поздним вечером. Не заснешь.

После ужина мы смотрели телевизор. Одна программа шла на украинском языке.

Однажды наша воспитательница спросила:

— Вы слышали нехорошие анекдоты про Ленина?

Мы удивились:

— Нет. А разве такие есть?

— Не слышали и хорошо, — ответила воспитательница.

В школе мне пришлось несколько раз подраться, чтобы меня не задирали. Сильная драка была с пареньком из Красноярска. После этого он меня зауважал.

На море мы не купались — было еще холодно, апрель-май — вода не прогрелась.

Иногда я убегал на море один, ходил босиком по камням (сам себя лечил от плоскостопия, как мама научила), собирал ракушки, однажды — к своему ужасу! — набрел на мертвого дельфина.

Учили в школе спокойно, без надрыва. Лучше, чем в Москве. И спрашивали не так строго. Оценки за четверть я получил очень хорошие. Не было ни одной тройки.

Школа стояла на самом берегу моря. Глядя в окошко во время уроков, я постоянно видел, как частыми синхронными нырками плыли по морю дельфины.

Проживая в Крыму, я активно тренировал свою волю. Когда я увидел, что мои сверстники, местные аборигены, свободно прыгают головой вниз с пирса в море, я удивился их смелости и решил стать на них похожим. Сделать это было непросто. Однако я переломил себя и вскорости отчаянно нырял в соле-

ную воду с трехметрового пирса. Но, как выяснилось потом, свою волю я так и не закалил.

Я любил также прыгать в огромную, страшную, пугающую пляжников волну. Она крутила, переворачивала меня в своей стихии, как стиральная машина — белье. И выбрасывала на берег. Обессиленный, но почему-то страшно счастливый, я лежал на песке.

Такое у меня было развлечение, которое вводило меня в состояние безумно-сильной экзальтации, непонятного восторга.

Там, в интернате, мой соученик Саша Каломийцев из Томска прочитал на одном школьном «капустнике» стихотворение «Вересковый мед». Я был потрясен. Это было фактически мое первое соприкосновение со взрослой поэзией — если не считать стихов Маршака...

По возвращении в Москву я опять стал учиться в нашей школе, возобновил тренировки по футболу и продолжил играть в ансамбле баянистов-аккордеонистов.

В Москве я учился хорошо по гуманитарным дисциплинам — истории, литературе... Математику всегда списывал. Ничего в ней не понимал. И сейчас особенно не понимаю.

В четырнадцать лет я впервые увидел обнаженную женщину — случайно в раздевалке, на кусковском пляже, подсмотрел в щелку и обомлел... Меня всего перевернуло. Я, как Маугли, не понимал, что со мной происходит. Неужели я когда-то смогу обладать женским телом? — эта мысль меня не покидала.

Чтобы отвлечься от нахлынувшего полового влечения, я тренировался с утра до ночи, все время играл в футбол.

Детство и отрочество, как все хорошее, пролетело быстро.

В семнадцать лет я сильно влюбился — в сестру Сережки Грушина, Лариску. Она мне, увы, отказала во взаимности.

Я не знал, что делать. Как это пережить? Как жить без нее? Я решил: «Уеду куда-нибудь. Заработаю много денег, сделаю пластическую операцию, стану красивым. Вернусь — она меня полюбит».

Кое-как объяснился с перепуганными родителями, друзьями, удивленным тренером Валерием Павловичем и Еленой Пинхусовной. И вправду — уехал. Куда глаза глядят. Очутился в губернском городке Кубиково.

Стал искать работу — меня отовсюду гнали.

На последние деньги я снял комнату в общежитии местного педагогического института. Оказалось, что еще не поздно поступить в институт. И я поступил в этот же педагогический на факультет русского языка и литературы. Конкурса не было.

Я стал жить в общежитии в одной комнате с двумя парнями из районного города Кубиковска (это пятнадцать километров от Кубикова) — Серегой Барашниковым и Славкой Власиковым, они тоже учились на филфаке. Чтобы не растекаться мыслью по древу, можно охарактеризовать жизнь в общаге несколькими словами: постоянный голод, драки, зубрежка стихов русских и советских поэтов.

Как правило, в драках я одерживал верх над великовозрастными соучениками, однако однажды меня так сильно избили, что я не мог прийти в себя недели две. Странно, что я вообще тогда остался жив.

Стипендия составляла сорок рублей, еще родители подкидывали мне деньжат, но все равно не хватало.

Ел я в студенческой столовой и в городской столовой № 13. Сокурсники оказались людьми пьющими, приходилось как-то увиливать от тотального пьянства, царившего в общаге.

Разврат в общаге царил неимоверный. Студенты снимали девчонок из баров, ресторанов. Проституции как таковой не было. За плотские утехи в милые, оплеванные глупыми злобными людьми брежневские годы, не платили.

В ресторане «Центральный» за четыре рубля можно было выпить, закусить и познакомиться с девушкой...

Вечер, как правило, продолжался в общежитии.

Именно в общаге я впервые имел контакт с женщиной. Ее звали Оля. Она училась на втором курсе, на факультете иностранных языков, на немецком отделении. Ей было девятнадцать лет.

...Как-то мы выпивали в одной компании, она попросила у меня мой замшевый берет — поносить.

Я дал. Через неделю мы увиделись в общаге, она зашла к нам в комнату (Серега и Славка деликатно удалились) и спросила:

— У тебя были раньше девушки?

Я соврал, что были.

Получилось все очень быстро. Раз, два — и готово. Мне понравилось. Однако я понял, что своего берета больше не увижу.

О сестре своего друга и об Оле я забыл быстро, полюбив другую девушку — свою сокурсницу Наташу, кудрявую, худенькую шатенку. Она писала стихи, любила французскую поэзию (сама выучила язык), играла в ансамбле на фоно, гоняла на мотоцикле. Не влюбиться в нее было невозможно. В восемнадцать лет мы поженились. И я стал жить у нее, в двухкомнатной «хрущевке» (вместе с ее мамой Эммой Ивановной и отцом Иваном Ивановичем), в районном центре Кубиковске, откуда, кстати, были родом и Серега со Славкой.

Кубиковск — место диковинное. Это небольшой, компактный город текстильщиков. В нем примерно пятьдесят тысяч жителей, все они так или иначе связаны с текстильным производством, которое здесь развивалось еще до революции.

Кубиковск меня сразу удивил. С одной стороны, я увидел индустриальный город, где высились солидные пятиэтажные и девятиэтажные кирпичные дома, на площади стоял величественный храм и невысокий Горком КПСС, с другой стороны — по улицам ходили куры и гуси, индюки и козы, извозчики на лошадях развозили молоко.

Мама Наташи — уникальная женщина. Худая, стройная — тогда ей было сорок пять лет. Она работала врачом-гинекологом в районной больнице. Ее любил весь город, женщины постоянно ей

несли подарки — дефицитные в то время шоколадные конфеты и куры-гриллъ в доме не переводились.

В жилах Эммы Ивановны текло много кровей — украинская и русская, татарская и еврейская. Ее бабушка была полуеврейка-полуукраинка из Харькова. А дед — полурусский, полутатарин — из Казани.

На работе Эмма Ивановна была хозяйкой, все ее слушались и побаивались. Дома она полностью подчинялась своему мужу — деспотичному украинцу Ивану Ивановичу. Он тоже работал врачом. Отоларингологом.

Ему было сорок шесть лет, он увлекался другими женщинами, у него постоянно менялись хобби, он писал романы, романсы, оперы, снимал любительское кино на камеру, фотографировал, преподавал в школе для автомобилистов. С особым увлечением командовал своей женой, в общем, как-то пытался занять себя.

У них с Эммой Ивановной был сын Саша. Он погиб в автокатастрофе в возрасте двадцати пяти лет. Эта смерть, конечно, изменила жизнь несчастных родителей. Они спасались каждый по-своему.

Мы с Иваном Ивановичем частенько выезжали на рыбалку. Рыбалка в кубиковских краях замечательная. Караси, карпы... Ловятся они в прудах на простую удочку. Только выезжать надо рано-рано утром. Однажды мы приехали и увидели на пруду огромную величавую цаплю. Она, заметив нас, взмахнула огромными крыльями и улетела.

Иван Иванович хотел еще детей, но не от Эммы Ивановны, он считал, что она для этого дела (в силу возраста) уже не годится. Он искал молодую женщину и в итоге нашел ее, ушел к тридцатипятилетней ткачихе с местного суконного комбината, у которой был сын восемнадцати лет (он служил в армии) и отдельная двухкомнатная квартира на окраине Кубиковска.

Эмма Ивановна костерила Ивана Ивановича почем зря, но вскоре тоже нашла себя спутника жизни, стала с ним встречаться. Это был отец Сережи Сысаева, наташиного одноклассника, с которым мы часто играли у нас дома в шахматы, — Роберт Иванович. Эмма Ивановна и Роберт Иванович стали встречаться, он приходил к нам домой и оставался (нередко) ночевать, они ездили вместе на юг, в Сочи. Но любила Эмма Ивановна по-прежнему Ивана Ивановича, хотя и ругала его с каждым днем все сильнее и сильнее.

По выходным к нам приходили гости, родственники Эммы Ивановны. Ее брат, полковник внутренних войск Владимир Иванович с женой Аллой Николаевной, инструктором Горкома КПСС, отец Иван Сергеевич с новой женой Валентиной Николаевной... (Бабушка Наташи умерла за пять лет до нашей свадьбы.)

Разговаривали ни о чем, ели-пили, Эмма Ивановна на всех готовила, а потом, когда гости расходились, мыла посуду. Я много раз предлагал ей помочь, но она отказывалась. Она очень переживала расставание с мужем, стала курить, иногда позволяла себе

выпить лишнее. Ела очень мало — обходилась, как зайчик, морковкой, капусткой. Я ни разу не видел, чтобы она полноценно обедала. Только кормила других.

В 1982 году умер мой дедушка Александр Алексеевич (отец моего отца). Дедушка был человек замечательный. Руководил крупными промышленными трестами, работал в министерстве рыбной промышленности, сделал много научных открытий. Играл на скрипке и баяне, разводил пчел на своей даче в Купавне, выращивал огромные помидоры и маленькие огурчики, всегда нам давал мед и овощи, обожал футбол, особенно игру «Динамо» (Тбилиси).

— Капиани, — он именно так говорил (через «а») — выдающийся волшебник. Смотрю на него — душа радуется.

Мы часто приезжали с отцом к деду в Купавну, он там жил со своей второй женой, тетей Ниной (моя бабушка Зина умерла, когда мне было полтора годика), ходили в лес за грибами, дед играл на скрипке и, как ребенок, трогательно ждал комплиментов. Я их всегда ему говорил, хотя играл он не слишком хорошо, абсолютного слуха, как у меня, у него не было.

В том же году умер и дедушка Наташи — Иван Сергеевич. Умер от старых ран, полученных еще под Сталинградом, где он воевал рядовым...

Мои родители не сообщили мне сразу про смерть деда, не хотели меня травмировать, похоронили его без меня — я был в Кубиковске.

А Ивана Сергеевича мы хоронили вместе с моей новой семьей. Гроб несли от его старого частного дома до кладбища, процессия растянулись метров на тридцать, потом были поминки.

После смерти Ивана Сергеевича Эмма Ивановна совсем захандрила, она стала еще сильней ругать Ивана Ивановича. А у него родилось еще двое детей. Один из них — мальчик. Все-таки мой бывший тесть добился своего.

Так мы и жили в провинции, в районном центре, а в институт, в Кубиково, ездили каждый день на рейсовом автобусе.

Из областного центра частенько возвращались на попутках — выходили на дорогу, голосовали. Останавливались в основном грузовики. В конце пути мы давали водителю пятьдесят копеек или вообще ничего не давали. Ни один водитель за четыре года не спросил у нас о гонораре за свою работу.

Учились мы с Наташей неплохо, особенно по литературе, русскому языку. Марксистско-ленинские науки мне давались легко, а Наташа в них ничего не понимала.

В двадцать лет меня исключили из комсомола. Ни за что. Я просто забывал платить взносы.

Комсомольцы вызвали меня на бюро и стали шпынять:

— А ты очень неправильный комсомолец... Почему не платишь взносы?

Один жирный парень, редактор институтской многотиражки Толя Мокрых возмущался:

— А я знаю, что ты за фрукт, мне говорили друзья, что ты и паспорт потерял.

Я отвечал:

— Да, потерял — ну и что? Скоро вообще в мире не будет никаких паспортов. Это все лишнее. А взносы я заплачу.

— Но ты же не комсомолец по сути, — отвечали мне.

— Я считаю, нужно в душе быть комсомольцем и хорошим человеком, а все остальное потом.

Исключили.

Я пришел домой. И сутки не поднимался.

Я понял, что никогда не уеду за границу, не увижу ни Парижа, ни Берлина, ни Америки... Все дороги мне были закрыты.

Наташа легла со мной на полу, гладила меня и говорила:

— Все это ерунда. Все обойдется. Сама система этих дураков скоро рухнет. Скорее, чем им кажется. А ты объездишь весь мир.

Я посмотрел на нее непонимающим взглядом.

— Точно, — сказала она.

И я поднялся с пола.

Что такое счастье? Оно многообразно. Порой малая толика света, одна человеческая фраза — огромное счастье.

Мое счастье — это Наташа.

ГЛАВА 2. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Из друзей детства я поддерживал отношения только с Сережкой Грушиным. Он писал мне из Москвы, потом из армии, потом снова из Москвы.

В восемнадцать лет Сережка пополнил ряды доблестных вооруженных сил СССР — оказался сначала в Душанбе, а потом (после «учебки») самолетом его переправили в Афганистан.

Он стал охранять Кабульский аэропорт.

Когда он прилетел, была весна. Цвели цветы. Много цветов. Острые, как зубная боль, горы подпирали яркое синее небо.

— Природа как на курорте, — подумал Сашка.

Из созерцательного и расслабленного настроения его вывел сержант Жаков:

— Ложись!

Начался обстрел. Оттуда-то стреляли, Сережка не понял — откуда. Он бросил свой гранатомет и свалился в прилипшей к спине гимнастерке на холодную землю.

Жаков очнулся первым и стал кричать:

— Груша, твою мать, огонь!

Сережка схватил гранатомет и стал стрелять вверх. Он боялся не умереть, он боялся Жакова, его криков и последующих разборок.

В воздухе появились наши вертолеты, Сережка прекратил стрелять. И опять лег на землю.

Прошел его первый день в Афганистане.

Сергей прослужил в Афганистане три месяца и был ранен. Ему повезло, пуля каким-то невероятным образом прошла через щеку навылет. Лечили его в лазарете три месяца. Вскорости комиссовали.

Он пришел домой с орденом Красной звезды и книжкой ветерана войны. Начал искать работу.

Устроился грузчиком на чаеразвесочную фабрику.

Работа кормила. Он получал почти двести рублей и подворовывал — выносил чай в штанах. Потом продавал его знакомым из нашего двора.

Ночами ему снились афганские бомбежки.

Он просыпался, крича:

— На помощь, на помощь!

Больше заснуть не мог.

Ночами он писал мне письма. Почти все из них доходили до адресата. Я ему отвечал.

...В Москве я бывал редко, но еженедельно звонил родителям, еще мы переписывались. Они были рады, что я учусь, женился, нашел себя. В Москве у меня не было никаких перспектив. Главное — там никто не мог решить наш квартирный вопрос. А жить с родителями и молодой женой в одной квартире я опасался, боялся, что Наташа не поладит со свекровью, моей волевой мамой.

Легкие, как ласточки, студенческие годы пролетели мгновенно. Даже быстрее, чем детство. В 1986 году сразу после института нас с Наташей благополучно распределили в сельскую школу в родную Кубиковскую черноземную область, в село Среднеспасское.

За областной и районный центры я не держался — служить в армии не очень хотелось. А на сельских учителей распространялась бронь.

...Мы приехали с Наташей в район в августе, накануне учебного года. Прошлись по селу. Увидели огромные колхозные поля, свежие невырубленные просеки. Село Среднеспасское состояло из двух больших улиц, вдоль которых виднелись низенькие одноэтажные бревенчатые избы с мезонинами. Магазин был один. Туда привозили белый хлеб (который местные жители ласково называли булочкой), черный ржаной хлеб, водку, жигулевское пиво и мыло. Еще иногда на прилавки выбрасывали консервы. За всем остальным приходилось ездить в райцентр.

Мы шли через огромное поле по узенькой протоптанной тропинке к старой двухэтажной деревянной школе, комья жирной питательной черноземной земли прилипали к нашим нелепым городским туфлям.

Поле перерастало в лес. Мы зашли и в лес — красивый, смешанный, правда, изрядно загаженный. Повсюду валялись пустые бутылки из-под водки и жигулевского пива...

Реликтовые вековые сосны, подпирающие небо, росли вперемешку с мелкими и невзрачными кустарниками. На опушке мы заметили боярышник и волчью ягоду... Все рядом.

Посредине опушки возвышался муравейник, огромный, как Вавилон. Муравьи были заняты увлеченным и малопонятным делом — строили свою невероятную муравьиную цивилизацию.

Сосны, боярышник, волчья ягода, муравейник... Лес давал полное представление и о человеческой жизни...

...Директор школы — сорокапятилетний стареющий бородатый математик Сергей Петрович Носенко — встретил нас очень радушно, учителей в школе не хватало; он предоставил нам в бесплатное пользование просторную, пустующую и основательную избу-пятистенок и участок черноземной земли в двадцать пять соток. Газа и телефона в избе не было. Удобства — во дворе. Но посредине дома стояла внушительная русская печь с лежанкой, которая отапливала все четыре комнаты.

...Мы стали налаживать наш непростой крестьянский быт.

Дрова мне приходилось колоть самому, но я не расстраивался. Это была хорошая физкультура. Березовые чурбаки горели долго и хорошо, хотя и оставляли опасную копоть в дымоходе. Печка нагревалась не скоро, но держала тепло до утра.

Наташа проявляла ангельское терпение. Хотя ей приходилось в селе, конечно, нелегко. Наташа выросла в интеллигентной городской семье врачей. С детских лет ее все лелеяли и оберегали...

Когда печка протапливалась, я прислонялся к ней спиной и умиротворялся. Жена смотрела на меня и удивлялась тому, что я оказался вполне деревенским гражданином.

Во время топки я иногда открывал задвижку и смотрел на огонь. Дрова умирали в печке быстро, как наши молодые дни и ночи здесь, в деревне.

В школе, помимо того, что я стал вести литературу, историю в старших классах, за мной закрепили пятый класс как за воспитателем группы продленного дня. Мне положили весьма приличную зарплату — сто сорок рублей. Это со всеми надбавками.

Наташа стала преподавать русский язык и труд для девочек. Ее оклад оставлял сто тридцать рублей. На двоих нам вполне хватало. Мы даже отсылали немного нашим родителям.

Кроме того, директор школы Сергей Петрович раз в квартал привозил нам бесплатно мешок гречишной крупы и мешок картошки.

До Кубиковска было недалеко — километров пятнадцать. Мы туда ездили на выходные — заходили к теще, часто и ночевали у нее, занимались в районной библиотеке, смотрели подшивки газет, покупали крупы, сухари, сухофрукты, грецкие орехи, хурму... Теща нам давала конфет и шоколадок...

В райцентре мы набирали домой побольше книг и уезжали. Больше развлечений у нас практически не было. Но и не читали мы никогда так много, как в те годы.

С детьми мы ладили.

Я оставался с ними на продленке, мы делали вместе уроки, я кормил их в столовой, собирал взносы за питание. Сделав уроки, мы играли в футбол, волейбол, в другие игры. Особенно ребята

любили жмурки. Сначала мы выбирали, кто будет водить. Как правило, Оля Иванова, конопатая смышленая пятиклашка, считала считалку:

Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять.
Царь велел меня повесить,
А царица не дала.
И повесила царя.
Царь висел, висел, висел
И в помойку улетел.
А в помойке крыса
Родила Бориса.
А Борис кричит: «Ура,
Позовите доктора».

Сережка Снегирев, бойкий чернявый паренек, использовал другую считалку:

Шел баран
По крутым горам.
Сорвал травку
Положил на лавку.
Кто травку возьмет,
Тот вадить пойдет.

Снегирев никогда не говорил водить, только вадить с ударением на первом слоге, точно знал стихотворные метры.

Как бы они не считали, водить, как правило, приходилось мне.

Пока я развлекался на продленке, серьезная Наташа преподавала в основном в старших классах.

Дети у меня подобрались колоритные, многие из них состояли на учете в психоневрологическом диспансере как умственно-отсталые. Я видел: они запущенные. Многие жили без отцов. Это были очень интересные дети, совсем не понятные мне. Как, наверное, и я был непонятен им.

Особенно шалопаистых выделялось несколько — Володька Сухотин, Сережка Снегирев и Пашка Тайганов... Но обижаться на них я не мог. По ряду причин.

Как-то я вел урок литературы в пятом классе, а маленький, низенький Володька Сухотин все время елозил на парте, болтал с соседкой. Я ему пригрозил:

— Володька, прекрати. А то родителей вызову.

Он спокойно ответил:

— А у меня их нет.

Он не солгал. Он жил с бабаней (так он говорил), она получала пенсию и тянула на своей шее единственного внука.

Сережка Снегирев вдруг ни с того, ни с сего во время того же урока снял штаны и залез на парту. Класс зашелся смехом.

Я опешил:

— Ты что у/о? Ну-ка живо сядь не место — иначе я тебя в дурдом определю.

Сережка ответил:

— Я там уже был.

Иногда к нам в школу заезжал врач местного психоневрологического диспансера Юрий Нестерович Селезнев. Он проводил с нами, педагогами, занятия, как воспитывать ребят, как не травмировать их психику, приучать к труду и занятиям.

По вечерам я оставался со своими пятиклашками на продленке. И, конечно, не только играл с ними в разные игры. Обучал их, как мог, русскому языку, литературе, истории. Да что толку!

Учил как-то Сережку Снегирева говорить вместо «жрать» — «есть». Он слово «есть» наотрез отказывался употреблять.

Спросил его:

— Ты свинья, что ли, чтобы жрать?

— Нет!

— Значит, человек?

— Да.

— А что человек делает за обедом?

— Жрет.

— Да ест же, ест!

— А я по-спасски.

Я начинал снова задавать аналогичные вопросы, но получалась сказка про белого бычка.

Потом мальчуган все же согласился не говорить «жрать». Однако нашел другое словцо «трескать». Причем, школьник не играл, не кривлялся, он действительно привык только к такому лексикону!

В конце концов, я не выдержал и велел ему привести на следующий день мать в школу. И попросил пацана повторить, что я ему только что сказал.

— Кого ты должен завтра привести в школу?

— Матрю, — ответил мой обиженный, опустивший глаза долу, несчастный, жалостливый воспитанник.

И я схватился руками за голову.

...Прозвенел звонок, дети, стремительно похватав портфели и сумки, кувырком вылетели из класса, а я побрел, расстроенный, в учительскую.

В учительской, как обычно, наши преподавательницы костерили детишек:

— Идиоты.

— Ослы.

— Дубы.

— Дебилы.

— Я б его об стенку размазала.

Я слушал молча, в особенные разговоры не вступал, но из вежливости поддакивал. В принципе, я был согласен.

А на перемене бегали улыбающиеся дети, и чихать они хотели и на меня, и на других учителей.

Ко мне подошла Ирина Юрьевна, завуч нашей школы, много лет проработавшая на «продленке». Она начала давать советы, как можно удерживать детишек в руках.

— Тайганова нужно пугать детским домом. Так и говорите ему: будешь хулиганить — сдам в детский дом. Снегирев боится вызова родителей в школу. Отец его бьет. Так и говорите: вызову отца. Но, разумеется, этого не делайте. А Сухотина вы осадите только мощным пинком. В данном случае робеть не надо.

Я даже не знал, что ей отвечать.

Во второй четверти к нам прислали двух молоденьких учительниц — литературы и французского языка. Стало повеселее. У нас создавался молодежный коллектив.

Высокая крашеная блондинка двадцати пяти лет Анна Борисовна Романова окончила Воронежский университет.

Она вошла в девятый класс и заговорила с детьми по-французски.

— Bonjour, les enfans, je suis votre nouveau professeur.

— Чо?! — выдохнул класс хором.

— Ну ладно, ладно, ребята, будем говорить по-русски, — поспешно согласилась Анна Борисовна. И стала учить детей спрягать глагол etre.

Худенькая двадцатидвухлетняя шатенка, учительница по литературе Елена Васильевна Слободченко, забравшая (по просьбе директора) у меня девятый класс, окончила, как и мы с Наташей, филфак Кубиковского педагогического института. Перед первым уроком она очень волновалась. Попросила меня:

— Евгений Викторович, вы не могли бы побывать на моем первом уроке? А то у меня коленки дрожат. Волнуюсь...

Я охотно согласился.

Елена Васильевна стала рассказывать о Маяковском, Горьком.

— Да будь я и негром преклонных годов, / и то б без усердья и лени / я русский бы выучил только за то, / что им разговаривал Ленин.

Потом — также весьма своеобразно! — цитировала Горького:

— Глупой пингвин робко прячет тело жирное в утесы.

— А почему он глупой? — спросила у нее любознательная ученица Рита Васильчикова.

— А разве умный будет жить на северном полюсе? — быстро нашлась Елена Васильевна.

Вообще, я раньше догадывался, что наш Кубиковский Ордена Знак Почета государственный педагогический институт — не МГУ имени Ломоносова, но не ожидал, что до такой степени.

...Больше всех на продленке я занимался с Пашкой Тайгановым. Жалел его. Он был какой-то несчастный — вечно голодный, тощий, неприкаянный. Я учил его правильно говорить. Занимался с ним литературой, историей, математикой, читал ему стихи, заставлял его учить наизусть Пушкина, Блока, Есенина... Читал ему

стихи из книги «Лирика» (антология русской поэзии за три века). Я жалел его и не хотел, чтобы его опять отправили в Интернат для умственно-отсталых.

Мать Пашки меня за это любила. Как-то раз принесла нам утром молока в избу.

— Евгений Викторов, Наталь Иванна, попейте, парное. Только что надоила. Такого в городе небось не пили.

Мы долго отказывались. Но родительница уговорила.

Иногда я не выдерживал учительских нагрузок. Срывался. Проверял как-то домашние задания у ребят — то Снегирев здорово мне вредил, то Уйменов... Мешали, мешали, мешали работать. И мое терпение лопнуло. Я вызвал Сережку из класса в коридор. Поставил озорника к стене. И, памятуя о своем спортивном прошлом, мощно ударил по ней кулаком. Известка осыпалась. Совсем немножко, правда, но осыпалась. Да простит мне это завхоз.

Мы вернулись в класс с шалуном. Больше у меня к нему замечаний не было.

* * *

...Мы приехали на выходные в райцентр, к теще, заночевали у нее.

...Спали с Наташей тихо и безмятежно.

Вдруг послышался стук в дверь. Я вскочил с постели и побежал в прихожую. «Кто там?» — крикнул я дрожащим голосом. Молчание. «Кто там?» — повторил я. «Открой!» — наконец ответил четкий и скрипучий старушечий голос. Как бы загипнотизированный уверенным тоном, я открыл дверь, но, увидев страшную, сгорбленную, со впадинообразными глазами старуху, тут же захлопнул. Я испугался.

— Это, наверное, нищая, — подумал я.

Я вернулся в спальню и сказал Наташе: «Иди подай нищенке копеек двадцать». Наташа не хотела расставаться с теплой кроваткой. Она хотела спать. В это время стук повторился. Удары стали еще более сильными. Затем старуха начала скрестись в дверь.

Я хотел было подняться и опять побежать в коридор, но не смог. Страх как бы парализовал тело, и я несколько минут лежал не в силах шелохнуться.

А старуха стучала и скреблась. Я собрался с духом и побежал к двери. Там я закричал: «Что вам нужно?! Уходите! Или я позвоню в милицию!».

Бабка продолжала свое занятие. Затем она проговорила своим скрипучим голосом: «Открой! У меня там вещи: платье, платок — все, что осталось. И не спала я всю ночь, замерзла».

— Странная бабка. Не наводчица ли? — потихоньку приходя в себя, подумал я. И позвонил в милицию. Блюститель порядка явно был не расположен к ночной беседе. Он сказал, что не станет разбираться из-за какой-то старухи, и бросил трубку.

А старуха стучала и стучала. Я опять позвонил в милицию и откровенно признался, что мне страшно. Милиционер прорычал в ответ, что сейчас придет и заберет не бабку, а меня самого.

— За что же меня?

— Чтоб спать не мешал! — невозмутимо отрезал страж порядка и опять положил трубку.

За стеной на лестничной площадке тем временем послышался разговор. Это сосед дядя Боря вышел на шум и, закурив, заговорил с бабкой.

— Что вы стучитесь, бабуля?

— Я за вещами своими!

— А-а, понятно.

— Холодно, — сказала бабка, съеживаясь от мороза, и явно просясь в дом переночевать.

— Холодно, — бойко и по-английски невозмутимо ответил дядя Боря. В его ответе был отчетливо слышен категорический отказ пустить старушку переночевать.

— Холодно, — опять взмолилась бабка.

— Холодно, — парировал сосед спокойным тоном.

Диалог, состоящий из одного слова «холодно», продолжался весьма долго.

А потом старушка куда-то исчезла. И в провинциальном советском подъезде стало тихо.

Утром мы опять поехали на работу в школу.

В автобусе Наташа, утонченная женщина, сказала:

— Хочется жить без потрясений, я очень устала от них, но как это сделать, когда любая встреча с кем бы то ни было — уже потрясение.

Я — мужчина не утонченный, но насколько моя жена права.

Через полгода преподавательской деятельности я также стал вести странный предмет под названием «Этика и психология семейной жизни».

После второго занятия, на перемене, Рита Васильчикова, которая оказалась не только смышленой, но и весьма раскрепощенной девушкой, подошла ко мне и спросила:

— Евгений Викторович, когда встретимся на сеновале?

Я стал ее отчитывать. Она убежала.

...Занимаясь с пятиклассниками, я пытался развить их способности. Памятуя о директоре Павшинской средней школы Василии Ивановиче Сухомлинском, стал давать задания детям на вечерних занятиях писать сказки. Результаты превзошли все мои ожидания. Сказки оказались очень интересные. Паша Тайганов написал такую.

«Пошел мальчик Вову на речку, закинул невод и поймал щуку. Щука взмолилась: «Отпусти меня, добрый молодец, я выполню любое твое желание». Мальчик Вова отпустил щуку, она уплыла, а желания никакого не выполнила. И мальчик Вова горько заплакал. Больше он никаким щукам не верил».

Я отослал сказки Паши Тайганова в районную газету «Трудная новь». Их там напечатали. Радости у детей было очень много! А Пашку все стали называть писателем.

Еще мы учились писать стихи, занимались необычными литературными играми — сочиняли палиндромы, заумные детские считалки.

Ребята оказались великолепными выдумщиками и очень талантливыми людьми.

Пашка Тайганов примерно через полгода, удивив меня не на шутку, стал писать весьма добротные стихи.

Однажды он принес мне в тетрадке такое сочинение.

Я мальчик, я во сне.
Калиточку закрою —
И я наедине
С деревьями, травою.

Державна тень ольхи,
Цвета люпинов броски.
Но я прочту стихи
Есенинской березке.

Изящна и светла,
Как подобает даме,
Она сюда пришла
Небесными шагами.

Прочту — она простит,
Пошелестит листвою,
Как будто сам пиит
Поговорит со мною.

Стихотворение было написано с грамматическими ошибками, но меня поразило, как строго соблюден размер, трехстопный ямб, какие он использует выверенные рифмы.

Я даже засомневался, сам ли он написал стихотворение.

Спросил его об этом.

— Сам, — ответил Пашка, — я очень люблю стихи сочинять. Это мое любимое занятие. С тех пор, как вы стали нам читать Есенина, я его очень полюбил.

— А почему ты пишешь, что березка пришла небесными шагами?

— А как же иначе?! Мы же ее не сажали. Она сама по себе выросла — так и выходит, что пришла по небу.

— А за что березка тебя должна простить?

— Да за все, мало ли я набедокурил, да вот еще и стихи пишу, мать говорит, что это не к добру, мол, пииты плохо кончают. Лучше быть трактористом, чем пиитом.

— Трактористом, конечно, тоже хорошо. Но некоторые поэты вон как здорово живут — по заграницам разъезжают.

— Я за границу не хочу, мне здесь, в Спасском, нравится.

...Еще я учил ребят писать палиндромы. Палиндромы — это тексты, которые читаются одинаково слева направо и справа налево.

Однажды Пашка Тайганов на «продленке» прочитал всем нам такой «шедевр» под названием «Футбол», посвященный игре «Локомотива» и ЦСКА.

А лани финала
Тут тут
Тур крут
И рефери
Тут как тут
То — пот, топот
Жар аж
Да: ад
О Локо около
Золота, а то — лоз
Или — или
Во!!! Каков!
Удача, а чаду
Гор — грог
То — вот

Сережка Снегирев сочинил совершенно непонятный заумный палиндром, состоящий из одной строчки — атанатаатанатаатаната, а потом и вовсе непонятный — яиц или милиция!

Конечно, больше всего ребята любили народный перевертень «на в лоб, болван». Употребляли его и по делу, и без дела.

Когда я начинал на них из-за этого ругаться, они искренне удивлялись: «Но это же палиндром, вы же сами нас учили!..»

Районный детский психиатр Юрий Нестерович Селезнев, когда я ему рассказал о своих занятиях с детьми игровыми формами литературы, немного насторожился.

Даже спросил:

— А правда, что Сухомлинский учил детей сказки писать?

— Так, во всяком случае, нам рассказывали в институте, — ответил я.

— А вот эти абракадабры тоже?

— Это не абракадабры, а палиндромы, — уточнил я. — И это моя личная инициатива.

— Понятно, — как-то пессимистично отреагировал психиатр.

А ребята сочиняли и сочиняли. Я даже про них стал заметки в районную газету писать, какие они у меня молодцы. Все время печатал их сказки и стихи.

...Прошло два года. За это время руководитель Районо Сергей Ашотович Григорян несколько раз предлагал мне стать директором школы в другом селе, но я отказывался. Я не чувствовал в себе административной жилки. Да и Наташа никуда уезжать не хотела — она хотела быть рядом с мамой, ездить регулярно в Кубиковск.

А тут меня вызвали в военкомат и сказали, что меня хотят забрать в армию, в Афганистан. Я сказал:

— Нет проблем. Я согласен.

Военком посмотрел на меня как-то хитро:

— А на вас поступил сигнал из психоневрологического диспансера, доктор Селезнев написал на вас «телегу». Вы какие-то странные палинромы заставляете учеников писать... Может, вы свихнулись?

Я улыбнулся:

— Не палинромы, а палиндромы, это тексты, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. И никого я не заставляю... Ребята сами их сочиняют, как ранее сочиняли многие известные поэты. Даже губернатор Тамбовской области Гавриил Романович Державин их писал. «Я иду с мечем судия» — это его палиндром.

— Ну то было еще при кровавом царизме, — ответил суровый военком. — Я вам все-таки советую лечь на обследование в областную психиатрическую больницу. Лучше бы вам провериться, а то вы все-таки детей учите. Да и мы в армию таких аник-воинов брать не хотим.

Я не возражал.

ГЛАВА 3. БОЛЬНИЦА

Я собрал свои нехитрые пожитки, простился с Наташей, Эммой Ивановной и поехал на рейсовом автобусе в областной центр, в «дурдом», надеясь как можно быстрее закрыть эту печальную страницу своей биографии.

Регистратура «дурдома» выглядела чинно и пристойно. Вежливые тетеньки торчали в окошечке. Белые стены не раздражали. Я записал в карточке свои паспортные данные, сдал верхнюю одежду и кейс. И хотел было уже идти в саму больницу, как вдруг услышал какое-то дикое гоготанье — смеялась группа юношей лет семнадцати-восемнадцати... Смеялись, как я понял, над анекдотом. Эти ребята тоже приехали на обследование. Они мне показались очень странными и, мягко говоря, неадекватными.

— Боже мой, — подумал я, — с такими кретинами мне придется находиться в «дурдоме». Неприятно...

Но я решил прежде времени не расстраиваться.

Медсестра повела меня в отделение.

Когда я вошел в «дурку», то глазам своим бедным не поверил. По коридору ходили самые невероятные, самые настоящие сумасшедшие, отнюдь не призывного возраста. Бешеные глаза. Дефектные черепа. Все стрижены очень коротко, почти наголо. И — одинаковые серые (арестантские?) халаты. У меня подкосились ноги. Это не преувеличение и не метафора. Я понял, что угодил в отделение, где содержались лица, как говорится, «без критики». Это было отделение номер десять.

Я стоял в коридоре и не знал, что делать. Стучать кулаками? Кричать — отпустите меня назад, я абсолютно здоровый мужик, мама, роди меня обратно? Я был неподвижен, как столб. В моем сердце воцарился ужас.

Вывел меня из этого невеселого состояния один человек. Совсем мальчишка. У него, как ни странно, были нормальные человеческие глаза.

— Как тебя зовут? — спросил он. — Как ты здесь оказался?

И, не дождавшись моего ответа, добавил тихо и как-то равнодушно, точно констатировал факт:

— Поверь мне, ты здесь сойдешь с ума! Ведь придется спать в палатах, где все мочатся под себя, блюют, дерутся... Видишь, какие мы тут.

Затем он отвернулся. И стал довольно любезно разговаривать с нянечкой.

Она пожурила мальчика:

— Ты чего новенького пугаешь, бесстыдник? Не надо!

И ласково-ласково, точно сирена, обратилась ко мне:

— Тебя как зовут?

— Евгением, — солидно сказал я. (Мол, не какой-нибудь идиот.)

— Женечка, значит. Ты, Женечка, ничего не бойся. Все будет хорошо. Ребята у нас сейчас хорошие, не буйные. Только Васенька и Петенька, разве. Да и то, если их не трогать, они и не бросаются ни на кого.

Она явно хотела меня успокоить. Огромное ей спасибо. Это были первые слова сочувствия, которые я услышал в больнице.

Нянечка попросила одного пациента принести мне стул. Тот принес молниеносно, точно по военному приказу.

Я сел в угол. И начал смотреть по сторонам.

Большинство пациентов ходило взад-вперед по длинному коридору.

Один из них постоянно подбегал к бачку с водой, который стоял в «моем» углу, и нервно, судорожно, частыми-частыми глотками пил. Руки у него дрожали.

Другой — исступленно молился. Третий — философ! — громко размышлял (не очень интересно, по-моему) о смысле жизни. Он не обращался ни к кому конкретно. Ему вполне хватало самого себя.

Я сидел в углу и смотрел. Порою мне казалось, что я вижу какой-то странный сон. Точно Оле-Лукойе раскрыл надо мной свой самый черный зонт. Финала этого сна не предвиделось. Проснуться я не мог. Однако надо было жить. Жить. И я, как мог, подбадривал себя.

— Человек живет везде! — внушал я сам себе, — бывают и более скверные ситуации.

Я стал ходить по коридору. Как все остальные. Туда-сюда. Туда-сюда. Увидел врача. Попросил у него, так сказать, аудиенции. Врач впустил меня к себе в кабинет. Спросил, как меня зовут. И, по-моему, даже не выслушал ответа. Измерил мне давление, которое, как выяснилось, здорово подскочило. Измерил объем

груди (зачем?), расспросил о причине моего появления в психушке. И... выпроводил назад в коридор. Несмотря на то, что я чуть ли не слезно попросил его разрешить мне посидеть хоть немного в кабинете. Но — увы и ах. Не положено. Кстати, забавно: как потом выяснилось, работал он в больнице фельдшером.

Я стал опять ходить по коридору. Туда-сюда. Туда-сюда. И увидел в толпе безумцев... знакомые лица. В регистратуре больницы эти ребята мне показались неадекватными, а здесь же, в отделении, они были лучиками света в безумном царстве. «Лучики» тоже пребывали в шоке. Мы разговорились. И пришли к выводу, что для того, чтобы нам здесь элементарно выжить, — нужно держаться сообща. Ходить вместе, есть вместе (если здесь вообще кормят?), спать вместе, загородив местечко в конце коридора стульями. Спать на койках в палатах никому из нас не захотелось.

Один мой новый товарищ предложил устроить побег. Мы его не поддержали.

Я стал опять ходить взад-вперед. И увидел в конце коридора два замечательных уютненьких креслица, изящно прикрытых больничными пышными фикусами. Я понял, что это мое спасение. Усевшись на кресло, я вздохнул с облегчением. И... даже начал читать. Я взял с собой томик лирических стихов русской поэзии за три века. Почитать, конечно, не удалось. Я поймал себя на мысли, что смотрю в книгу, а вижу фигу.

Я все еще не мог выйти из шокового состояния. Увидев, как я устроился, ко мне стали подходить мои товарищи по несчастью. И мы принялись обсуждать, как нам жить дальше?

Начался обед.

Один из призывников, самый шумный и отвязный, пригласил меня сесть за стол рядом с ним. Видимо, я чем-то приглянулся этому без пяти минут пахану.

Я не отказался. Мы «забронировали» себе отдельный столик. И стали ждать, точно в ресторане, когда подадут еду. И дождались. Пища пахла ничем не лучше, чем пахнут привокзальные туалеты. Есть ее я отказался. Сказал товарищам по несчастью, что просто пока не голоден. Всем же другим порекомендовал обязательно подкрепиться, что ребята и сделали.

После «обеда» я заприметил еще одного врача. Попросил аудиенции и у него. Он пригласил к себе в кабинет. Мы поговорили как нормальные люди. Мне даже показалось, что он меня за дурачка не принял. Он вежливо отвечал на все мои вопросы. Сказал, что скоро начнут нас обследовать, что больше месяца точно не продержат (тут я чуть не заплакал), что все будет в порядке. Расспросил меня об истории болезни, о работе. И — выпроводил назад в коридор. Находиться в кабинете не разрешил и он. Нельзя.

Впрочем, я уже не так и страдал. Ведь у меня был свой фикус и место в конце коридора. Своя железная амбразура.

Ко мне подсел какой-то молодой парень, тоже новичок. Из команды призывников. Но чем-то явно от них отличающийся. Некоей интеллигентностью, что ли. Она всегда, извините, на лице

написана. Парень был напуган даже больше меня и явно хотел со мной подружиться. Он пролепетал:

— Нам нужно держаться с тобой вместе. Мне так страшно, так страшно. Я ведь по глупости сюда попал. Тетка, дура, упекла меня сюда. Я рисанулся, она меня сюда и затолкала. Веришь?

Он не дал мне ответить и продолжал:

— Так из-за своего характера я оказался в «дурдоме».

Тут он умолк.

Глаза его отражали неподдельный испуг.

Он расспрашивал меня о психушке — точно старожила. Таким ему я, выходит, показался.

Поговорил еще с двумя призывниками, которые здесь находились уже несколько дней. (Кстати, сразу после нашей беседы их выписали.) Я успел их о многом расспросить. И был более или менее в курсе больничных дел. Информация, что мы очутились в отделении для буйных, подтвердилась.

— Гулять здесь не выпускают, — рассказали бывалые призывники. — Спать в палате невозможно. Там вши, тараканы, крысы и другие домашние животные. Домой никого не отпустят раньше чем через пять дней, даже если ты здоровей быка.

Пять дней — не месяц. Мне стало полегче.

Парень, которого тетка упекла в «дурдом» «из-за его характера», разоткровенничался:

— Когда я тебя здесь впервые увидел, то чуть в обморок от страху не упал. Ты меня напугал больше всех. Я был уверен, что ты — конченый дурдаш. Твой взгляд мне показался сумасшедшим. Да и борода у тебя, усы...

Я усмехнулся. Зачем он все это рассказывал? Наверное, он всегда говорил то, что думал. Несчастный...

Слава Богу, вскорости он умолк. Я обрадовался. Наконец-то у меня появилась возможность собраться с мыслями. Но — увы. То ли мыслей не оказалось, то ли просто здесь было очень беспокойно.

Ко мне подошел один из завсегдатаев «дурдома». Представился:

— Панов.

И выразил желание со мной пообщаться. Оказалось, что меня ему нахваливал Семен Моисеевич (врач, который сказал, что здесь призывников держат до месяца).

Не начав беседы, Панов попросил разрешения перенести беседу на завтра:

— Не могли бы вы завтра пополудни мне уделить некоторое время? Я бы хотел описать вам свою Одиссею.

Могло сложиться впечатление, что сегодня у него заседания в горкоме или даже в обкоме КПСС. Так он был занят.

В любом случае, он поразил меня своей учтивостью и велеречивостью. Панов отошел. Я остался в своем кресле. Сидеть быстро надоело. Я опять начал ходить взад-вперед.

В коридоре ко мне обратился некий алкоголик Вова. И сразу начал выкладывать мне свою немудреную историю:

— Жил хорошо, но пил по-черному. Допился до ручкотрясения, голоса стали являться, нервный тик появился... Короче, полтора месяца я уже здесь кувыркаюсь. Не выпускают сволочи. И водки не дают. Представляешь?

Затем Вова взял жестяную общую кружку, зачерпнул из питьевого бачка какой-то мутноватой водицы и начал лихорадочно пить.

На ужин я не пошел. Сидел в своей зафикусной резиденции. И трепался с напуганным парнем. Наконец мы догадались познакомиться.

— Евгений.

— Владик.

Владик говорил без остановки. В общем, это даже было хорошо, что он оказался непомерно словоохотливым. Это отвлекало... Во всяком случае, мне уже нравилось его слушать и даже болтать с ним. Когда мы с ним трепались, я отдыхал от общения с другими милыми обитателями «дурдома». Еще я писал дневник и читал сборник лирических стихов, который всегда вселяет в меня надежду на лучшее.

Подошел Панов. Сказал, что имя его — Борис. И отошел. Потом опять подошел. Как челночок — есть такой термин в боксе. Из всего сказанного Борисом я почерпнул несколько любопытных фактов. Например, один. Оказывается, Семен Семенович Бобров, известный кубиковский поэт, семь лет сидел в тюрьме, рубил лес в Калининской области.

Удивительно: Семен Семенович — на вид тишайший, мирный дедушка. Хороши некоторые сентенции Панова. Цитирую. «Кто не жил в сумасшедшем доме, не сидел в тюрьме и не скитался нищим, тот не знает, что такое жизнь».

Что же, похоже, это правда. Но не дай Бог, мне узнать про эту жизнь ВСЕ. «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси!»

Борис проявил обо мне заботу. Ночью предложил спать в их палате. Палате номер один.

— Мое место возле окна — ваше! — сказал этот добрый человек.

Я отказался. Но в любом случае — спасибо Борису. Он остался и в «дурдоме» человеком.

Борис иногда говорил диковинные вещи, которые меня, абсолютно лояльного к власти человека, даже пугали:

— Коммуняки скоро рухнут, вот увидите. Но вместо них придут другие, еще хуже. Совсем голодные, и нас, простых людей, будут есть. Жрать нас будут, троглодиты!

— Зачем? — удивился я.

— Ну, это я в фигуральном смысле, — неожиданно для меня сказал Панов. — Когда придут новые коммуняки, я от них улечу. Сожрать меня они не смогут.

— А вы умеете летать? — улыбнулся Владик.

— Умею, — ответил Панов, — Это не сложно. Я расставляю широко руки и низко-низко парю над нашим коридором. Я бы вылетел в окно, но оно у нас на решетках. А на воле я не летаю.

— Почему? — спросил я.

— А зачем летать на воле?! — сказал Борис. — На воле и жить можно.

— Продемонстрируете нам свое умение? — ехидно спросил Владик.

— Конечно, — ответил Панов. — Но для этого нужно, чтобы вы здесь пожили примерно полгодика...

Видя, какие у нас после его слов стали физиономии, Панов быстренько отбежал в другой конец коридора.

По отделению пронеслась информация обо мне. Все узнали, что я с высшим образованием. Учитель русского языка и литературы. В глазах пациентов я начал читать некое уважение ко мне. Панов также узнал от Семена Моисеевича, что я напечатал несколько заметок в районной газете «Трудная новь».

Шепнул мне:

— Из вас выйдет настоящий писатель. У вас взгляд талантливый. И жизнь нелегкая.

Я поблагодарил его за добрые слова.

Первый день в «дурдоме» остался за плечами. Самое трудное, по моим представлениям, ожидало меня впереди. Ночь. В отделении отбой — в девять часов. Где же спать? Я попытался уговорить санитаров разрешить мне провести ночь в «моем» кресле. За фикусом. Сильно просил. Санитары не разрешили. А вот нянечки — воистину святые женщины! — принесли мне в порядке неимоверного исключения топчан из комнаты свиданий, поставили два стула под голову и тело, выдали белье (его выдали всем, не только мне) и пожелали мне спокойного сна.

Таким образом, я получил шикарную койку в общем коридоре, который тогда мне показался райским местом.

Перед сном нас построили. И новичков, и ветеранов. Пересчитали. Вручили какие-то таблетки, которые — «мы в унитаз, кто не дурак».

Объявили отбой. Свет остался включенным. Свет вообще никогда не выключали в «дурдоме».

Я пытался заснуть, но не мог. По коридору, точно так же как днем, ходили чуды-юды в своих серых, не самых симпатичных халатах.

В разных концах коридора начались игры в карты. Милые ребятишки бросали карты на стол так, как будто играли в домино. Треск и шум стоял страшный.

Я понял: день в «дурдоме» смешивается с ночью, прошлое с настоящим, явь со сном (бессонницей), жизнь со смертью, ум с безумием. Словом, все как на воле. Только в гипертрофированной форме.

Подошел Панов, прочитал стихи (странно: я не понял — чьи). Пожелал спокойной ночи и откланялся:

— До завтрашнего утра, мой милорд, побеседуем, если вы позволите, утром!

Он ушел, а я еще читал свою любимую книгу стихов. Этот сборник «Лирика» (антология русской поэзии за три века) всегда со мной. Где он только не бывал! А теперь вот попал и в «дурдом».

Я все пытался заснуть, но, увы, тщетно.

Подбежал молоденький мальчишка. Тот самый, который пугал меня, когда я только оказался в больнице.

Познакомились. Он тоже начал рассказывать о своей судьбе, о жизни в «психушке». Звали его Кириллом.

— Я здесь восемь дней. Поначалу было жутко, а потом ничего — привык. Живу. Ты не дурак, что на стульях в коридоре остался ночевать. Правильный поступок. В палатах всякое может приключиться. Вчера, например, у одного из нашей палаты припадок случился. Он выбежал в коридор, высадил головой оконное стекло, начал что-то кричать... Хорошо — санитары не спали, быстренько его успокоили. Сейчас он дрыхнет, связанный ремнями.

Потом парень культурно пожелал мне спокойной ночи. И удалился.

Спать мне расхотелось окончательно. Но я сделал очередную попытку и... как ни странно, провалился в туманное, почти бесчувственное забытье.

Проснулся. Подумал, что уже часа три ночи. Оказалось — понял из разговора нянечек — только час. Даже утро еще не наступило. Пожилая сердобольная санитарка (старшая!) предложила мне слабенького снотворного. Я его, не раздумывая, выпил и проспал, как убитый, до шести утра. Как раз до подъема.

Собрав свою постель и положив ее в указанный нянечкой специальный ящик, я спрятался за фикус. И продолжил писать свой дневник, который я всегда пишу по фотографическому принципу — что есть, то и есть.

Из второй палаты вынесли несчастного, скорченного и тощего мальчика-инвалида. Ему нужно было сдавать анализ мочи. По команде санитарки двое дурдашей сняли с него штаны, и тот прямо в коридоре помочился в банку.

Мочиться самостоятельно этот бедняга не мог.

Я продолжил заполнять дневник. Итак, первые — «милые»! — сутки я продержался. Предстоял новый день. Вот его-то я и хотел использовать на полную катушку. Где и когда еще я имел такую возможность — и необходимость! — читать и писать с утра до ночи?!

Я начал вспоминать, что происходило еще интересного вчера? И вспомнил такой эпизод. Вечером я заметил в нашем коридоре молодого человека, на удивленье хорошо одетого. Он был не в больничном халате, а в цветастой рубахе и джинсах. Утром я его не видел. Парень беседовал с санитаром. Я подумал, что он док-

тор, на худой конец — тоже санитар. Я подошел к нему. Извинился. И жалобно так попросил у него разрешения спать на кресле в коридоре.

Парень рассмеялся.

Он тоже оказался пациентом. Только с огромным стажем. Три года вообще не выходил из психушки. Сейчас получил право на краткие свидания на воле. А всего в «дурдоме» к тому времени он «отмахал» восемь лет.

Он совершил преступление (какое — я не стал расспрашивать). Суд признал, что совершил он его в невменяемом состоянии.

В семь часов, после того, как немного посочинял грустные, трагические стихи, я решил передохнуть.

Ходил по обыкновению взад-вперед.

Увидел заведующую отделением. Она меня пригласила к себе в кабинет. Разговор начался с ее обидного, но резонного вопроса:

— Почему в армию не хотите?

Я ответил, что, мол, наоборот — хочу! Лишь бы отсюда поскорее убраться!

Она не поверила. Потом стала расспрашивать, что у меня болит. Я ответил, что у меня все в порядке. Только, мол, сплю плохо, мучает иногда бессонница, нервничаю из-за пустяков, сердце болит... Нервы, видимо, расшатаны.

Она хмыкнула. И сказала:

— Ну ладно, идите, скоро начнем вас всех обследовать.

Заведующая не обманула — обследования потихоньку начались. Врачи стали проявлять к нам, призывникам, хоть какой-то интерес.

Мне сделали ЭКГ. Она оказалась нормальной. Это радовало. Значит, сердце в порядке. Но оно же действительно у меня нередко болит. Может быть, меня мучает невроз? Невроз сердца?

Позвонить домой не разрешили. А то я хотел через знакомого областного поэта и журналиста Сергея Рогова дать весточку о себе. И о том, что мне здесь, в больнице, было необходимо.

А необходимо мне было следующее: мыло в мыльнице, большая тряпка из марли (чтобы использовать в качестве полотенца, настоящее полотенце жалко!), много витаминозной еды, дабы поддерживать организм — виноград, орехи, курага, бутерброды с сыром, а также — как роскошь! — две бутылочки лимонаду (одну бутылочку попросил Владик, про которого никто из домашних даже не знал, где он находился).

Я также нуждался в томе Вересаева (моего любимого писателя) и в новой толстой тетради для за-писей.

Еще я хотел сообщить своим родным, что ходить ко мне нужно каждый день, но по очереди. Сначала, например, жена, потом теща. Вместе не нужно. Так им было бы тяжело. Пожалел...

Почему я хотел просить именно о каждодневных визитах? Все очень просто. Те, к кому приходили родные, имели право сидеть хоть до трех дня в замечательной, тихой и спокойной комнате свиданий.

Увы — звонить нам, сумасшедшим, не положено.

Забавное дело — тетка Владика, которая его, якобы, упекла в «дурдом», оказалась не его родной тетей (как я подумал), а врачом областной комиссии. Владик просто ее так называл — тетка...

Он что-то этой врачихе сказал невежливое, она его и отправила в психушку. Мораль: будь вежлив! Это полезно и не обременительно.

Я опять отказался употреблять местную бурду. Отказался и Владик. И вот мы с ним уже вторые сутки ничего не ели, держали, так сказать, необъявленную голодовку.

Завтрак — а мы даже не встали с кресел. И ничего — от истощения пока не умерли. К тому же Кирилл угостил меня двумя яблоками. Одно я, разумеется, отдал товарищу, который напоминал голодного льва.

Мне же, как ни странно, есть особенно не хотелось. И чувствовал я себя далеко не худшим образом. Только голова стала немножко болеть и давление подскочило (измерил Семен Моисеевич). 140/80. Раньше такого со мной не случалось.

Разговорились с Кириллом. Его фамилия (по отчиму) Манишвили. Сам он русский. Оказалось, что он в психушке... по б л а т у. Бывает и такое. Дело в том, что на этом хрупком, юном шестнадцатилетнем мальчике — две уголовные статьи. Я попросил Кирилла рассказать поподробнее, как так получилось?

Он согласился.

— Мы, трое одноклассников, в тот день изрядно подвыпили. Ну и решили продлить удовольствие... Девчонок «подснять». Зашли в общагу музыкального училища, в одну комнату. Там какой-то парень с пятнадцатилетней девчонкой трахались. Мои друзья оттолкнули паренька. И стали насиловать девчонку. Сделали свое дело. Сидели, балдели. Вдруг парень этой девочки спохватился (несколько поздновато!) и огрел стулом одного из моих «корешков». Тогда я этим же стулом огрел парня. Потом появились — откуда ни возьмись! — дружинники. Повязали нас. Всем повесили статьи. И мне в том числе. Избиение, изнасилование... А я-то лично в чем виноват? Ведь я только в отместку ударил того парня. Только товарищей защищал... И малолетку ту вовсе не трахал...

До конца Кирилл свою историю не дорассказал, но мне и так все было ясно. Его родители, чтобы избежать суда над мальчиком, спрятали его в «дурдоме». Придумали, что у парня расшатанная психика.

Кирилл очень удивился, узнав, что я печатался в районной газете «Трудная новь».

Он и сам раньше публиковался в этом боевом пропагандистском листке. Как фотограф. Даже премии какие-то получал. А теперь ему предстояло не фотографией заниматься, а сидеть в «дурдоме», как минимум, полгода — пока суд не закончится.

Но Кирилл держался молодцом. Не хныкал. И надеялся на лучшее.

А вообще, фантастическая штука — судьба человеческая. Человек сделал одну ошибку — и полетело все в тартарары.

Этот мальчик побывал уже и в восемнадцатом отделении, где находились уголовники.

Кирилл рассказывал про это отделение со смаком. Без этого Кирилл был бы не Кирилл. Впрочем, почти все, о чем он рассказывал, действительно не веселило.

Про восемнадцатое отделение:

— Там только одна палата. Врачей практически не бывает. Только санитары, которые в комнату поодиночке не входят — во избежание непредвиденных случаев. Пищи там не дают. Вернее дают, но весьма своеобразно. Выставляют большой жбан с баландой и бросают несколько ложек на стол. Кто схватил ложку — тому повезло, тот поел из общего котла. Кто не схватил — остался голодным. Бывало, что в отделении умирали от голода. Случалось людоедство... В наше окошко иногда видно: из восемнадцатого отделения выносят большие рулоны бумаги. Это не бумага, это трупы, завернутые в бумагу. Мужеложство там развито повсеместно. Сильнее, чем в тюрьме, хотя в тюрьме я не сидел. И точно сравнивать не взялся бы.

Что бы как-то умерить мрачный повествовательный пыл моего юного друга, я попытался перевести разговор на другую тему. Заговорили о женщинах. Кирилл тут же нашел что сообщить про... женское отделение:

— У баб еще хуже. Замечал — по ночам штукатурка сыплется? Это потому что они над нами срока мотают. Мужиков туда не пускают — мужиков «психички» насилуют.

Я улыбнулся. Но потом вспомнил, что об этом же мне рассказывал и наш санитар Володя.

Из призывников к нам с Владиком поговорить часто приходил мой кубиковский земляк Алексей, которого здесь все называли Ваней. Сев на пол (именно на пол) своим неимоверно толстым задом, он пыхтел, как паровоз, и порою (если просили) рассказывал о себе.

Ваня выглядел, конечно, очень болезненно, но рассуждал, как ни странно, весьма правильно.

Хотел, например, быть отцом маленькой дочки. «Я бы ее так любил, так любил! Воспитывал бы...»

Говорил, что труд на фабрике — это его вклад в дело обороны страны. Народ и партия едины. Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи. Экономика должна быть экономной. И т.д.

Закончил он семь классов вспомогательной школы. Дальше учиться не захотел. Пришел к директору и — цитирую — выпалил:

— Ухожу от вас в пизду, дайте справку о семилетнем образовании...

— Так и сказал — в пизду? — полюбопытствовал насмешливый Владик.

— Так и сказал, а чего с ним цацкаться, с дирек-тором-то.

Девушке восемнадцатилетнего Вани недавно исполнилось двадцать пять. Она была замужем. Развелась. У нее — ребенок. Мечта Вани — на ней жениться. Он даже сватался. Но ее родители оказались против. Как Ване объяснили — по причине его молодости. Между тем, любвеобильная невеста уже забеременела и от него.

Ваня:

— Как я ее люблю, как люблю — до страсти! Но выйду из больницы — дам ей все же пизды, а то врачу, кажется, что-то про меня, падла, плохое наплела.

— Да уж не бей! Зачем?! — пролепетал я.

— Ладно, может, и не буду! — неуверенно согласился Ваня.

Любил Ваня рассказывать и о своих домочадцах.

— Отец-то у меня хороший мужик был, но пил много и свихнулся. Ему укол — и на тот свет.

— ?

— Теперь мы с матерью и отчимом живем. Вернее — жили с отчимом. Он тоже пил, я его за это п...ил. Сейчас он в ЛТП. На Оранжевом проспекте. Там у нас, в Кубиковске, спец. заведение. Зона, короче. Есть у меня и сестра.

— В обычной школе учится? — спросил Владик.

— В обычной.

Закончилась эта беседа грустным, но очень патриотичным Ваниным вздохом:

— Эх, поскорее бы в цех! Как там сейчас?

Регулярно подбегал любопытный Панов. Биографию свою — Одиссею — не рассказывал, хотя постоянно обещал. Сейчас сообщил, что отныне всегда будет ходить в областную библиотеку, дабы прочитать мои произведения, опубликованные в нашей «районке». Поделился также, что планирует снимать фильм как режиссер-любитель. Камеру, якобы, уже приобрел. Фильм — по рассказам Чехова.

— Тебе тоже роль подберу! — произнес Панов торжественно.

Захотел также оказать мне меценатскую поддержку в издании сборника моих заметок, напечатанных в «Трудной нови».

Панов отошел, потом опять пришел. Уже с каким-то местным хлопцем, на вид очень спокойным. Видимо, он — тоже будущий артист... Оказалось, это не артист, а доморощенный Кулибин. Он показал мне какую-то диковинную схему:

— Вот смотри, хочу сам телевизор сделать...

Борис, как всегда, вмешался:

— Схема хорошая. Но ее надо немного усовершенствовать. Я тебе потом подскажу — как!

Борис опять отошел.

Неожиданно у него возникла какая-то перебранка с очень мрачным, узколобым больным. Тому не понравилось, что Боря ночью вслух читал стихи. Пациент накинулся на бедного Панова, как тигр на ягненка (правда, хорошее, свежее сравнение?)...

Панов молниеносно сориентировался — даром, что ли, жил в «дурке» годами — поставил между собой и агрессором стул. И защитил себя, как герой.

Низколобый пациент кричал печальные фразы:

— Чего ты подкалываешь, чего? Чего ты хочешь?

Боря отвечал по обыкновению гениально:

— Я хочу, чтобы штык приравняли к перу...

Смешно, конечно, было жить в больнице. Но стало не очень смешно, когда я осознал, что начал путаться во времени. Сколько я к тому времени находился в «дурдоме»? Спросить у ребят — я стеснялся. Боялся, что сочтут за идиота. И все же? Сколько? Мне казалось, что я пребывал на «обследовании» целую вечность, что я даже родился в больнице.

— Неужели вся прошлая жизнь мне приснилась? — мелькнуло как-то раз в башке тревожное сомнение.

Даже в своем дневнике я начинал путаться во временах — писал то в настоящем, то в прошедшем времени. Зав. отделом писем нашей районной газеты, куда я писал заметки, меня бы за это не похвалил.

Лидера призывников — мы его за цвет волос прозвали Белым! — сегодня связали за буйство и сделали ему укол. Он присмирел. Подошел к нам. Разговорились.

Он тоже, закончив восемь классов, пришел к директору школы с просьбой отпустить его на все четыре стороны.

Стал чернорабочим. Его мечта — трудиться начальником киносети, на худой конец — заместителем начальника. Для этого, он решил, ему необходимо поступить на курсы киномехаников.

Мне показалось, что он спутал учебные заведения.

Я начал чувствовать себя в «дурдоме» вполне нормально. Постепенно вошел в ритм местной жизни. В больнице было действительно забавно. Я часто смеялся, может быть, даже очень часто. Во всяком случае, намного чаще, чем дома.

Есть почти не хотелось. А вот голова немного кружилась. От голода и нервного перенапряжения, наверное.

Я слонялся по коридору, вдруг из одной палаты вышел высокий поджарый мужик в джинсах. Он был полуобнажен, его торс и плечи украшали красноречивые уголовные наколки.

— Здравствуйте! — сказал я.

— Привет, учитель, — сказал мужик, — зайди ко мне.

Я зашел в палату и не поверил своим глазам. В просторной и чистенькой палате стояла одна койка, на тумбочке красовался телевизор, на столе, в большой глубокой тарелке, лежали виноград, яблоки и апельсины.

— Меня зовут Тимур, — сказал незнакомец. — Я законник. Прохожу по одному делу, сейчас меня проверяют — вменяемый я или нет. Я о тебе справки навел. Дураки о тебе хорошего мнения, врачи — тоже. Я тут маляву на волю сочинил, проверь ошибки, не сочти за труд. А то я не люблю выдавать тексты с ошибками. Это мое письмо адвокату.

Я стал читать письмо. В нем говорилось о том, что Тимур Иванов делал с 5 по 20 марта 1986 года. Выходило, что он ездил на рыбалку вместе со своей подругой.

В письме, написанном четким, бисерным почерком, я не нашел ни одной ошибки. Запятые были расставлены очень грамотно — как нас учили в институте.

Я прочитал письмо и сказал Тимуру, что ошибок нет.

Он ответил:

— Это хорошо. Благодарю тебя. Можешь идти.

И дал мне два апельсина.

Я вышел в коридор. Побрел к себе — за фикус. Рассказал Владику о встрече с Тимуром и поделился с ним апельсином. Владик сказал, что ему уже рассказывали про Тимура.

— Говорят, он на зоне провел пятнадцать лет, — сказал Владик, — а всего ему тридцать шесть. Он в общую столовую не ходит, ему каждый день братки приносят передачи, они их называют кабанчиками. А еще говорят, что этот Тимур — глава кубиковской мафии.

— Понятно, — сказал я, — Видишь, с какими людьми мы тут общаемся...

Наконец-то свершилось — все дождались моего и Владикова отступничества от идеи. Мы оказались жалкими и презренными оппортунистами. Одна нянечка все-таки уговорила нас с товарищем «не бастовать, а покушать». И в ужин мы подняли лапки вверх. И... получили по металлической полной кружке чая (хотя до краев здесь обычно не наливают), картошку в мундире (какую-то зеленоватую) и селедку. А также по куску хлеба. Все. Хотя когда уговаривали нас поесть, то — вруны! — обещали дать и зеленый горошек. Но после того как уговорили, разумеется, про горошек забыли. История типичная.

Я выпросил у нянечки шашки. Играли с Владиком и Кириллом. Легко их обыграл. Они пытались взять реванш в поддавки, но и тут им не повезло.

С Владиком играли и в морской бой.

Вечером было особенно весело. По вечерам у нас в «дурдоме» — танцы... Алкаш Володька (из аборигенов) очень здорово играл на гармошке, а многие мои собратья по высшему разуму танцевали. Своеобразно — лихо, задорно. Особенно старался истинный любимец местной публики Юрка. Вообще-то он обычно либо сидел на полу, либо качался взад-вперед, как маятник, либо долбил потным лбом стену, либо кричал что-то непонятно-звериное.

А тут Юрка плясал, двигался в такт музыке. Право, замечательно. Уж точно — не хуже наших кубиковских подростков, трясущихся в городском саду на дискотеке.

Юрку надо бы описать поподробнее. Он маленький и толстый. У него отсутствующий взгляд, вечно открытый рот, гипертрофированно большой череп, точно у Ленина.

Думаю, если раньше — в моей добольничной жизни — мне встретился бы такой человек — мне стало бы нехорошо. А тут я к нему привык. Юрка — один из нас.

Жена с тещей так и не приехали. Видимо, закрутились с какими-то делами. Я на них не обижался. Они же не догадывались, каково мне приходилось.

Вечер. Дали нам таблетки. Я их спрятал. На построение вообще не пошел. Стал бывалым. На ночь выпросил топчанчик из комнаты свиданий, матрац получил из палаты номер пять, где, в частности, жил Юрка. Неприятно, конечно, это было осознавать.

— Но ничего! — успокаивал я сам себя. — Прорвемся!

Санитарка выдала мне также таблетки снотворного. Это меня порадовало. А то вчера проснулся в три часа ночи. А потом и вовсе не спал.

Вообще, сотрудники заведения обо мне заботились. И, как ни странно, уважали. За что? Всех называли на ты, меня — на Вы.

Борис сегодня ходил домой, принес фотоаппарат со вспышкой. Хотел меня сфотографировать. Но я отказался. Все-таки фон не совсем подходящий... Так Борису и сказал. Он не обиделся.

Узнал весьма любопытный факт — оказалось, во всех двадцати отделениях больницы — психически больные. Многовато нас развелось.

Писал план действий на завтра — что мне предстояло сделать? Писал — и успокаивался. Так всегда со мной бывает. Сегодня еще следовало почитать любимую книгу, пописать дневник. Это оставалось на десерт. И вообще, я не тужил, хотя, конечно, многое меня тревожило. Тревожило будущее.

— А вдруг меня действительно квалифицируют как шизофреника, — переживал я, — куда мне потом деваться? Даже с неврозом, наверное, непросто будет устроиться на работу.

Впрочем, терзался я недолго. Сказалась потребность нервной системы в отдыхе. Я прилег и попытался вспомнить что-нибудь веселенькое. Что происходило за неделю? Кое-что трагикомическое припоминалось.

Вот один случай. Зашел в туалет, справил малую нужду, собрался выйти — закрыто. Начал стучать в дверь. Один псих (в туалете) проворчал:

— Не стучи, дай посрать!

И голой задницей сел на толчок.

Мне оставалось только дождаться — пока он завершит свое большое «дело».

Наступило утро. 6 часов. Еще один день пошел, как я находился в «дурдоме». Спал хорошо — как убитый. Таблетки, таблетки... Вместе с Владиком отнесли мой топчан на место. Положил свои простынки на шкаф в палате номер один. В хорошей палате — довольно чистой и спокойной. Вместе со всеми — в другую палату — класть белье не стал. Положишь со всеми, а потом — не дай Бог — спутаешь с чьим-то другим бельем. С Юркиным, например.

Неожиданно началась драка. Агрессор, вчера набросившийся на Панова, теперь бил ногами и руками кого-то другого.

Мы с Владиком разнимать их не рискнули, хотя поначалу робкие благие порывы имели. Побоялись. Подбежал санитар, все уладил. Побитого мужика уложили спать, а буйного агрессора увели в комнату свиданий, которая у нас одновременно и холл, и карцер... В зависимости от ситуации.

Мы сидели по-прежнему за фикусом.

Опять вызвал Тимур. Я проверил ему ошибки из нового послания на волю. Он и сейчас дал мне два апельсина.

Прокатился слух, что лидеру призывников Белому влепили сульфазин. Парень совсем притих.

Подошли призывники из другого крыла коридора. Рассказали забавный эпизод. Одного аборигена спросили:

— Сколько времени?

Он в ответ:

— Одна секунда плюс пятнадцать часов минус три часа...

И т.д. В общем, стал накручивать немыслимые математические операции. Ребята следили, как могли, за ходом его мысли. Прибавляли, вычитали. Потом подсчитали и оказалось — все верно — время назвал правильно.

Наступило два часа дня. Мои на горизонте все не появлялись и не появлялись. Видимо, на плечи тещи свалилось много сверхсрочной работы. Или, может быть, Наташа заболела? Она у меня слабенькая.

Бывший вожак постепенно приходил в себя. Попросил гитару, на которой он — согласно его словам — научился играть, как Юрка Антонов.

Заиграл. Лучше бы он этого не делал.

Потом бренчали все по очереди. Бренчал и я. Свои стародавние немногочисленные сочинения. Хотя гитару так и не смог толком настроить — композитор! Это сделал мощный гигант, алкаш Володька.

Он, вообще, мне понравился. Лицо у него излучало непритворную, изначальную доброту.

Подошел Юрок. Что-то прорычал. Один из призывников протянул ему половинку бутерброда. Юрка сначала взял, а потом бросил его на пол. Обиделся, увидев, что дали только половинку. Юрка — очень гордый человек.

К Владику приехали родители, понавезли жратвы, меня угостили. Целый кекс я слопал. Захотелось пить. Решился попить из-под крана в душевой. Вода — мутная. Попил. Вымыл руки. Сбавил воду из-под крана. И опять сполоснул руки. Чтобы не подцепить какой-нибудь заразы. Даже от прикосновения к смесителю.

Сегодня в отделение пришел санитар по прозвищу Зверь. Им все время раньше пугал наш местный Леонид Андреев — Кирилл.

Зверь оказался не страшным. Да, матерился он колоритнее других, да, иногда давал пинка под зад пациентам... Но не более того.

Он несколько лет сидел.

Юрка где-то нашел сигареты. Полдня ходил по коридору, дымя и улыбаясь. Никто ему не мешал.

Жирный Алексей (Ваня) сегодня рассказывал, как в первый раз соблазнил свою невесту.

— Я пришел к ней домой и потребовал: «Дай и все!» Она и дала.

— Бил? — почему-то спросил Владик.

— Нет, она сама дала.

— Интересно все же, — тревожно размышлял я, — почему к нам так долго не заглядывают врачи? Может быть, они в «дурдоме» вообще отсутствуют как класс? А те, что делали кардиограмму, — были просто переодетыми психами?

* * *

Новость — веселая! — обрушилась на голову. Выяснилось, что у агрессивного психа Пети, который кидался на Панова и бил ногами другого аборигена, любимое место отдыха — наше, за фикусом.

Это сообщила нам одна из нянечек.

.....
.....
.....
.....

Мы поняли с Владиком, что совершили ошибку, близкую к роковой. Интересно — почему Петя нас до сих пор не убил и даже не ударил?

Нянечка шепнула нам очень деликатно:

— Петруша — человек особенный. Пользуется в больнице большим авторитетом. Он до ужина работает, а потом приходит сюда, к фикусу. И вот уже несколько дней его резиденция занята.

Мол — выводы делайте сами.

Я сказал Владику:

— С одной стороны, ясно, что если места ему не уступить, то мы обречены. С другой стороны, если уступить место — то ничего хорошего нам тоже не светит. Больше в больнице в относительной безопасности находиться просто негде.

Владик, точно потеряв дар речи, испуганно молчал. Мы-таки решили рискнуть — из-за фикуса не выходить. К тому же сам Петя нас пока ни о чем не просил. Даже не намекал... Хотя нет, вру — однажды он обмолвился — при нас! — медсестре:

— Вот дожил, даже отдохнуть негде.

И жалостливо сел в коридоре на корточки.

Мы затаились. И стали ждать.

Мы, призывники, разговорились со Зверем. Видимо, мы ему понравились. Он раздобрился, выпустил нас на лестничную площадку покурить. Многое порассказал разных случаев из своей богатой санитарской практики. Продемонстрировал нам шрам на голове — это его кто-то из буйных лопатой «уважил».

Зверь нам разрешил потрогать шрам. Мы все по очереди потрогали и сочувственно повздыхали. Спросить — где буйный пациент достал в отделении лопату — я не рискнул. Побоялся потерять расположение Зверя — вдруг бы он заподозрил, что я ему не верю.

— Страшнее всего, — делился впечатлениями Зверь, — в женском отделении. Раз зашел туда передать знакомой алкашке («белая горячка») сигареты и увидел следующее: кто-то из этих бабенок ходил без трусов, кто-то без платья, почти все были лысые (чтобы вши не разводились). Я тогда попал к ним во время обеда. Одна чернявенькая влезла на стол и начала разбрасывать миски. Я еле ноги унес. Справиться с ними невозможно. Мужику хоть врезать можно. Бабу бить вроде нельзя. А даже если ее и ударишь — ей все по фигу. Кулаками от нее ничего не добьешься. Ни от психички, ни от нормальной. Потому что любая баба — это дьявол в юбке.

Зверь оказался философом. А кто бы мог подумать?

Белый (он же будущий начальник киносети) совсем заговорился. Сначала всем нам поведал, что он родом из Жордевки, потом вспомнил, что из Слесаревки. В дальнейшем заключил, что он из Никифоровки. И вот последняя информация. Из его же уст:

— Я родился и живу в областном центре, в Кубиково. Но вообще-то на карте генеральной — это Дмитриевка.

Стало ясно, что парень здесь находится неслучайно.

Наконец-то пришли Наташа и Эмма Ивановна. Они меня в наших пенатах довольно долго искали. Какой-то санитар (болван) сказал им, что я (откуда он меня знал?) не в десятом, а в третьем отделении. Потом все-таки заглянул к нам — полюбопытствовал. И нашел меня как раз в десятом. Спасибо ему!

Говорили мы ровно час. Столько, сколько нам разрешили. Родные сообщили радостные вести, что в «районке» напечатали мою большую статью под псевдонимом о Среднеспасском школьном литературном кружке и маленькую заметочку — где я (скажите, какой мэтр!) представил молодую поэтессу Марину Дюшину.

Поел яблок, винограда. Отвел душу. Еще они принесли голубцов, варенья, воблы. Это я оставил в общем холодильнике про запас.

Дома про меня никто не спрашивал, кроме, как ни странно, Николавны, вдовы наташиного дедушки. Теща сообщила родственникам, что я в терапевтическом отделении. На обследовании. Такую мы, говоря шпионским языком, придумали легенду. Во время встречи в основном говорил я. Рассказывал о нашем житье-бытье. Они слушали и сочувствовали. По-моему, они стали сомневаться в моем душевном здоровье. Смотрели на меня как-то подозрительно.

Когда они ушли — курил на лестничной клетке (спасибо Зверю — разрешил). Выкурил пол-сигареты. Было приятно. Но сердчишко сразу заныло. Чуть-чуть.

Странная вещь: все наши призывники считали друг друга у/о — достойными психушки.

Писал, писал свой бесконечный дневник. Все наверняка думали, что я окончательно свихнулся. Либо свихнулся оттого, что пишу, либо пишу оттого, что свихнулся. Кажется, так Ирвинг Стоун писал о Ван Гоге.

Конечно, я должен был производить странное впечатление. Судите сами — бородатый, усатый выпускник ВУЗа сидел за фикусом в «дурдоме» и что-то день и ночь писал...

Земляк Ваня констатировал — чему он научился во вспомогательной школе:

— Читать, писать и даже считать немножко.

Немало. Я и в нормальной школе научился только тому же.

Санитар мыл наш узенький коридор, нас с Владиком выгнал в общее пространство.

Постепенно я становился, как все. Ел то, что ели все, отдыхал, как все. Лицо у меня, наверное, тоже изменялось...

Играл вместе с остальными призывниками в карты, в дурака. Один длинный парень все время ходил взад-вперед, как маятник. Наверное, на воле он занимался спортивной ходьбой. Один из наших предложил ему сигарету и твердо потребовал:

— Хватит тебе накручивать километры! Покури лучше!

Тот замахал руками. Мол, отстань от меня... Дай мне делать то, что я люблю. А именно — ходить.

Кажется, «Маятник» (именно так его называли мои товарищи) был глухонемым.

Другой абориген тоже все время ходил. Но при этом что-то всегда говорил. Например:

— Я часовой государства, я стою возле знамени.

Или просто бубнил себе что-то под нос. Как и я иногда — на воле.

Над ним все наши смеялись.

Если бы они узнали, что и я так иногда бормотал себе что-то под нос — они бы, наверное, удивились.

В карты играть надоело. Ходил. Потом слушал рассказы одного из наших про «1000 мелочей» (так в больнице называли холл).

В холле, точно в английском Гайд-парке, разрешалась делать почти все.

Вчера один снял штаты и запросто помочился в ведро.

Приехали новые медсестры и сообщили, что выходные у нас пропали даром. Врачи, которые должны были нас обследовать, по выходным в «дурдоме» не работают.

Меня это почему-то даже не расстроило — на быструю выписку я к тому времени надеяться уже перестал.

Борис делился своими познаниями про фонограф, Большую Советскую Энциклопедию, зоофилию, про что-то еще. Болтал обо всем, но чересчур быстро.

Одна-две фразы — и он уходил (в прямом и переносном смысле) в сторону.

Можно было ему и не отвечать. Фактически он говорил с самим собой. Я (или кто-то другой) служили просто фоном для его высказываний.

Опять началась «дискотека». На этот раз в нашем (за фикусом) углу. Мне почему-то стало в больнице совсем не страшно. Все происходило как обычно. Володя играл, другие хлопцы слушали, Юрка танцевал. Интересно, что охотнее всего Юрка танцевал под песню «Барабан». Если мне повезет и я когда-нибудь встречу поэта Вознесенского, скажу ему, какой бескрайней любовью он пользовался в нашем отделении.

Обычно Юрка плясал следующим образом. Встав посередине коридора, он ритмически под музыку качался взад-вперед. Все. А сегодня он даже по-цыгански потряс плечами, чем привел в неописуемый восторг благодарную публику.

Один из призывников (какой-то паршивец) решил подставить под зад Юрке стул, пока наш маэстро отплясывал. Юрка заметил и нервно оттолкнул стул.

Я запретил нашему издеваться над танцором диско...

Меня слушались в больнице.

Володя не только хорошо играл на баяне, но и пел неплохо.

Борис сообщил, что построит в одной из школ области бассейн и запустит туда дельфинов.

— На радость детям! — так он выразился.

Появился и другой любитель потанцевать. Тоже из местных. Он так лихо сегодня отплясывал «цыганочку», так лупил голыми пятками и ладонями по бетонному полу, что соседям снизу, наверное, известка сыпалась на головы. Может быть, они даже думали, что у нас тут кого-то методично избивают.

* * *

Узнал, что Володя с пятьдесят восьмого года, то есть ему двадцать восемь лет. Я бы на вид дал ему лет пятьдесят.

* * *

После танцев все разошлись на спец. ужин. Это когда каждый ел то, что ему принесли родные.

Я не пошел. Был сыт. Баян остался лежать рядом с моим креслом.

Подошел какой-то неизвестный мне безумец. Глаза — буйного больного. Он взял баян, я не смел ему перечить.

— Лишь бы не сломал, — только и подумал. А парень заиграл так, как, наверное, не смогли бы и в консерватории. Шустро бегал ловкими пальцами по клавиатуре, как, может быть, папанинцы — по льдинам.

Но играл он почему-то исключительно одну мелодию.

К музыканту подбежал неугомонный Панов и попенял ему, чтобы он не мешал мне работать.

Я заверил Борю, что музыка мне никогда в жизни не мешала.

Все психи привыкли к тому, что я постоянно что-то писал. И никто не спрашивал (впервые в моей жизни!) — зачем я это делал. Надо — значит надо.

Вообще, коллектив у нас в больнице подобрался исключительно творческий. Все в принципе были заняты своим делом. Юрка танцевал, я писал, Володя играл на баяне... Эх, нас бы вовремя на большую эстраду — мы бы покорили полмира.

Владик рассказал, что утром наблюдал такую сцену.

В «1000 мелочей» один из аборигенов, заткнув зачем-то уши, полоскал рот. Стоявший рядом Ваня заметил:

— Дурак он, вот если бы машинное масло у него во рту плескалось, тогда бы уши точно следовало бы заткнуть. Тогда бы в натуре масло через уши просочилось бы.

Мы с Владиком Ваню не поняли. Иногда он выражал свои мысли очень сложно, даже загадочно. Хотя, наверное, определенный резон в его словах был.

Один псих сегодня кричал:

— Все вы здесь — трупы!

Я не знал, что ему возразить.

Наступила моя очередная ночь в психушке. Выпросил у нянечки и фельдшера (Николая Андреевича) разрешение спать на топчане. В «моем» коридоре.

Разрешили. Дали новое белье. Прекрасно. Старое белье кто-то взял со шкафа из первой палаты.

Устроил себе удивительное лежбище. Как фон-барон. Так меня, кстати, стал почему-то называть Белый.

Немного на сон грядущий поговорил с Владиком, почитал стихи и уснул без задних ног. Снотворного не принимал. И ни разу до утра не проснулся.

Где-то полшестого утра заорала гитара и призывники, которые, как выяснилось, не спали до трех часов. Веселые хлопцы.

Встал, умылся. Вытер руки и морду о свитер. Не общей же было вытираться простыней.

Ночью снились дурдаши. Будто заставляли меня мыться вместе с ними в бане. Еле-еле — там же, во сне — от них отбился.

Наступил новый день.

Маленькое зернышко надежды на то, что скоро выпишут, выросло в огромное, но, кажется, не плодоносящее дерево.

Внутренний голос молчал.

Имел беседу с фельдшером. Он оказался очень простым, наивным парнем.

Он спросил у меня:

— У тебя все нормально?

Я кивнул головой. Выходило, что у меня действительно все нормально. Вот так.

Один из аборигенов присутствовал при нашей беседе и поддержал разговор:

— А чем здесь, в «дурдоме», плохо? Не работаем, кормят нас хорошо, гармошка есть, телевизор обещали. Рай.

Фельдшер очень интересовался:

— Почему же ты, учитель литературы по образованию, пишешь заметки в газету, ведь для этого надо учиться на факультете журналистики? Или я ошибаюсь?

Я не стал ему объяснять, что мало кто из хороших (речь, конечно, не обо мне!) журналистов имеют специальное образование. Такой ерунде особенно учиться не надо.

Еще фельдшер проявил подозрительную осведомленность о моей истории «болезни». Он спросил:

— А это правда, что ты детей учил писать стихи, которые одинаково читаются слева направо и справа налево?

Я ответил, что правда.

— А прочитай что-нибудь, — попросил он.

— Хотите я вам прочту палиндромы, которые напечатаны в известном московском журнале «Футурум АРТ»? — спросил я.

— Хочу, — ответил фельдшер.

Я прочитал ему смешные палиндромы из цикла «Фотоальбом» Евгения Реутова, которые знал наизусть. Я и Лера К. Карелия; Я... Ира... Татария; Я и Регина. Нигерия; Я и Надя. Дания; Я и рикша. Башкирия; Я и Лиза Р. Бразилия; Я их е... Чехия; Я и ЦРУ. Турция; Я и «нал». Алания; Я и Миха. «Химия»...

Фельдшер пришел в неописуемый восторг. Он смеялся, хлопал себя по коленям.

Восклицал:

— Ну надо же: я и Миха. Химия. Точно читается одинако. Ну точно одинако, ух, ты! А ведь у меня есть фотка, где мы с Мишкой на «химии», ты, учитель, хорошие стихи прочитал. Как они, говоришь, называются?

— Палиндромы. Или еще перевертни.

— Вот перевертни мне больше нравится. Я запомню.

Палиндром про Миху выучили также Белый и Владик. А Володька твердил наизусть перевертень Елены Кацюбы — я и ты балет тела бытия.

— Здесь есть музыка, — изумлялся Володька. — Когда выйду на волю, прочту нашим мужикам в деревне, они удивятся. Я и ты балет тела бытия. Как же так ловко получается?!

Вообще, постепенно больницу стал охватывать некий культурный подъем. Палиндромными экзерсисами и танцами под баян светская жизнь не ограничивалась.

Усатый абориген Паша заявил, что в коридоре видел Высоцкого. И что Владимир Семенович иногда с Пашей разговаривает. О чем — Паша не распространялся.

Приложив ухо к полу, Паша лег в коридоре и пробормотал:

— Вставай, Высоцкий... Я тебя отыскал.

Над Пашей стал почему-то посмеиваться агрессор Петя.

Но Паша на него не обратил ни малейшего внимания, а только добавил:

— Сейчас мы пели с Высоцким, а теперь будем пить.

Вчера призывники обсуждали жгучую проблему: потеряла Пугачева зрение или нет?

— Она ослепла, — заверил Белый, — мне сосед по палате, дурак, сказал.

— И я слышал, — поддержал Белого Ваня, — на киностудии во время съемок осветительная лампа разорвалась. Алке — в глаза. Но — прочистили.

— Точно, прочистили! — констатировал агрессор Петя.

Призывники — при всей моей симпатии к ним — поражали. Задирали психов, подкалывали над ними (даже в их присутствии). То ли они ничего не боялись, то ли они действительно?..

Один из аборигенов здорово предупредил Белого:

— Не задавайся, а то я тебя сильно стукну, у меня ума до хуя...

Когда вчера Наташа и Эмма Ивановна вручили мне передачу, я попросил их, чтобы в следующий раз они принесли побольше семечек.

Потому что надо было делиться. В больнице образовалась братская солидарность. Все старались угостить друг друга. Хоть чем. Психи уже неоднократно предлагали мне и яблочко, и булочку, и семечки...

Яблоками со всеми поделиться было сложно — не напастись! А семечками — вполне. Угостил — и все в порядке.

К сожалению, я забыл дома часы. И постоянно спрашивал у своих товарищей-призывников — сколько времени?

Записывал время в дневник. За сегодняшний день возникли такие цифры. 7.55. 8.30. 9.45. 10.25. 10.45. 11.25. 14.20. 19.20.

Некоторых из наших начали выписывать. Других — хотя бы обследовать. А до нас с Владиком никому почему-то не было никакого дела. Но хорошо, что мы хоть держались вместе. Вдвоем всегда легче.

Владик раньше отказывался от книги «Лирика поэтов трех веков», а последние дни читал взахлеб. Он впервые в жизни прочитал стихи, которые не являлись обязательными по школьной программе.

Приобщился. Порадовал меня.

Призывники по инициативе Паши начали играть в любимую игру аборигенов: один потреплет другого за ухо, а тот должен потрепать третьего, третий — четвертого и т.д. Так до бесконечности. Смысл игры — не подставить уши. Уберечься. Паше понравилось играть с призывниками. Он вообще их полюбил.

Одного из них даже решил усыновить.

— Считай меня отцом родным. Когда выйдешь отсюда, пиши мне обязательно. Защищай знамя Родины и пиши мне, отцу твоему. Сюда пиши — домой.

Затем Паша продиктовал Белому адрес психушки.

«Отец» и «сын» отошли в сторонку посекретничать.

Начали выписывать очень многих. Однако на меня и Владика врачи по-прежнему не обращали внимания. Хотя заведующая отделением дня три назад пообещала лично меня здесь долго не мурыжить.

Но, видимо, мнение свое изменила.

Вчера так сказала мне:

— Надо обождать, обследоваться еще. Пройти психолога, а он сейчас страшно загружен.

* * *

Я спросил у санитара:

— Который час?

Не ответил.

* * *

Домой отправили Сережку Манковского. Я раньше у него спрашивал — который час?

Он всегда охотно отвечал.

Мне начинало казаться, что в мои вещи (которые находились в нашем отделении) могли попасть вши. Их в больнице оказалось видимо-невидимо.

Это пугало.

Борис опять уходил на выходные домой. Я дал ему пятьдесят копеек, чтобы он купил мне лимонаду, хотел дать денег и на общую тетрадь — бумага почти кончилась — но финансы пропели романсы.

Посему писал очень аккуратным, бисерным почерком — экономил листочки.

Выпускали (о, ужас) всех — кроме меня. Выписали даже Владика, с которым мы простились сдержанно и достойно. Пожелали друг другу удачи.

А психолог все не появлялся и не появлялся. Глаз у меня стал дергаться катастрофически. Точно у самого настоящего неврастеника. Я надоел всем врачам, санитарам, нянечкам. У всех спрашивал:

— Когда появится психолог? Когда появится психолог? Когда появится психолог?

Попытался отпроситься у заведующей на день домой. Она резко и раздраженно отказала:

— Как я устала от всех вас и от тебя в том числе!..

Кошмар.

Но жить все-таки было нужно. Нужно?

Нас оставалось (осталось) только трое. Из призывников. Белый, еще один совсем безумный малый да я.

Разговорились с Белым. Он оказался не так прост — он «косил», не хотел идти в армию. Поэтому и буянил здесь. Так его дома старшие товарищи научили — «кто буянит, того в армию не берут».

Сидели за фикусом вместе.

Почти кончилась бумага.

Я не знал, что делать.

Моя извечная «больничная» проблема — где справить большую нужду? В наш «дурдомовский» туалет я входил каждый раз так, точно всходил на эшафот.

Что я сегодня ел? Несколько конфет и пирожное «Шарик». Чайку попил, воды из-под крана. В душевой. Все. Так что справлять большую нужду пока не представлялось необходимым.

Долго болтал с Белым. Он грустил, что завтра пообещали выписать последнего нашего товарища-призывника.

Я тоже грустил из-за этого.

Ждал ночи. А новая медсестра не разрешила мне спать в моем углу. Настроение ухудшилось. Я молча сидел на стуле в коридоре.

Борис рассказывал про интересных обитателей психушки:

— Жил здесь один офицер-подводник. Он писал рассказы и посылал их Брежневу. В рассказах критиковал социалистический строй.

А еще писал Пиночету: «Дорогой Аугусто, вешай канальев-коммунистов!»

Тик у меня прогрессировал. Ходил по лицу, точно странник по земному шару.

Белый освоился в «дурдоме» основательно. Мылся каждый день под душем. Ходил по нашему отнюдь не идеально чистому полу босиком.

Выяснилось, что Белый учился во вспомогательном интернате.

Ходил я уже с трудом. Голова кружилась. Веселенькие дни недоедания (точнее, голодания) стали сказываться.

Писать начал совсем мелкими буквами. Очень-очень аккуратно. Тетрадь была на исходе.

Думал о завтрашнем дне.

— Может быть, — говорил я сам себе, — случится что-то хорошее? Может быть, посетят жена или теща? Может быть, Кирилл принесет «Литературку» — он обещал. Его родители на день забрали домой.

Писать дневник не хотелось. Я начинал повторяться.

Хотелось пить. Но в душевой в данный момент кто-то мылся. В горле как-то противно першило.

Хотелось пить. Из душевой вышли. Но я боялся пить из крана — боялся подцепить какую-нибудь заразу.

Хотелось пить.

Медсестра сегодня дежурила безобразная. Даже пыталась заставить таблетку какую-то мерзкую — при ней! — выпить. А я все равно не выпил. Засунул в рот и ушел. А потом зарыл в ведро из-под фикуса.

Опять устроился спать в общем коридоре. На топчане. Его поначалу санитар не давал. А разрешила (как ни странно!) злая

медсестра, та самая — «безобразная». Никогда не поймешь сразу, кто поможет в жизни, а кто навредит.

На шкафу в первой палате лежало мое постельное белье. Я его вчера туда положил. Но тут я засомневался, что оно мое. И сказал санитару:

— А вы знаете, это, кажется, не мое белье.

Он:

— Да ложись ты скорее, какая тебе разница, на какой простыне спать!

— Что я — свинья, что ли?

— А я свинья — сплю здесь?

Вот такой получился диалог. Я ему про Ерему, а он мне про Фому.

К тому же и дикция у этого санитара страдала. Он бормотал себе под нос что-то невразумительное (во всех смыслах). Нужно было обладать определенными навыками, чтобы его понимать.

Прибыло пополнение. Второй день уже, как у нас появились новые призывники.

Я им сегодня велел (королек!) поставить «мой» топчан рядом с их лежбищем (они все вчера спали в коридоре вповалку, друг с другом рядышком). Они поставили. Я, не став на ночь читать, — очень утомился за день — сразу лег. Да не заснул. Ребята играли в карты и хоть тихо, но болтали.

Тогда я передвинул (уже сам) топчан подальше от ребят. Оказался аккурат напротив палаты номер шесть. Возникли милые ассоциации...

Опять попытался заснуть. И опять не смог. Стоял страшный храп. Санитары время от времени кричали то на психов, то друг на друга. Все-таки заснул. Под разговоры картежников. Опять без снотворного. Проснулся в два ночи. Поворочался и опять заснул.

Пришел Кирилл. Местное «радио» сообщило, что его привели милиционеры из ресторана, где он кутил с девушкой. Он просрочил свое увольнительное. И его схватили. Он даже не успел девушку проводить домой.

Парень рыдал. Нянечки его успокаивали:

— Кирилл, не плачь, будь мужчиной!

Я его понимал. И жалел. И тоже успокаивал, как мог. Он плакал нутром. Не для того, что произвести впечатление.

Бедный, бедный мальчик.

Впрочем, чужие беды мы уж как-нибудь сможем пережить. Это подмечено точно.

Утром вымыл руки, вытерся о свитер. И в кресло — писать. Затем трепался с призывниками и очень долго — с Кириллом. Оказалось — его действительно «взяли» прямо в ресторане. Менты позорные. Перед этим он успел сходить в кино на двухсерийный канадско-французский фильм «Это было в Париже».

Представляете — после Парижа — в «дурдом»...

Когда Кирилл ушел, я опять стал заполнять свой дневник. Белый все удивлялся тому, как я быстро выводил свои каракули.

По коридору прошла заведующая. Вежливо со мной поздоровалась. Я стал надеяться на лучшее...

Утром водили меня к невропатологу. Толерантно поговорили с пожилой дамой о литературе, в частности, о Солоухине, ее самом любимом писателе. Говорила в основном она. Хотя я тоже что-то вякнул. О моем понимании литературы. По-моему, я убедил ее в том, что я не шизофреник.

Но все равно осадок после этой встречи остался тревожный. Не много ли я болтал о бессознательной природе творчества? Не напугал ли ее?

Медсестра, которая водила меня к невропатологу, вскользь обронила:

— Больше вам проходить никого не надо. Так мне велел передать вам Семен Моисеевич.

Я даже не знал, что и думать. И сам побежал к Семену Моисеевичу.

Он сказал:

— Да, психолога вам проходить необязательно. Оказалось достаточно одного невропатолога. Тем более что председатель комиссии уже подписал заключение. Сути дела уже не изменить. У вас не тот диагноз, с которым вас сюда направили.

— А какой? Какой мне поставили диагноз? — довольно аффектированно спросил я.

— У вас невроз, — ответил доктор, — Вы просто нервный человек. Но подлечите нервишки, успокоитесь — и все пройдет. Конечно, никакой шизофрении у вас нет.

Я понял, что районный военком и психиатр Селезнев направили меня в «дурку» с диагнозом — шизофрения. Но это меня уже не волновало. Я также понял, что меня скоро выпустят! Ко мне пришли надежда, желание жить, хотелось бегать, прыгать, летать!..

В голове пронеслась нахальная мысль — а, может быть, завтра и выпишут?

Робко спросил об этом у врача.

— А чего до завтра тянуть? — ответил этот гениальный эскулап, — сейчас невропатолог напишет заключение — и тотчас выпустим.

Я не верил своим ушам. Я был на грани счастливого обморока. Начал нервно, судорожно благодарить Семена Моисеевича:

— Я буду молиться за вас, буду молиться за вас. За все, что вы для меня сделали. За то, что выпустили меня прямо сейчас, а то я здесь постепенно действительно начал сходить с ума.

Он улыбнулся:

— Я понимаю. Вам здесь, конечно, пришлось тяжелее, чем остальным...

Но и всем остальным в больнице было плохо. Особенно оставшимся призывникам. Особенно после того, как стали выписывать меня.

Я трогательно (почти по-фронтовому) простился с друзьями — с Белым, новобранцами. Белый оказался пророком. Еще вчера он сказал, что меня скоро выпишут.

Простился с Кириллом, который стал еще мрачнее. Его было жалко больше других.

Стало стыдно, что съел у него утром (он угостил) две грозди винограда и яблоко. Но кто же знал, что мне уходить...

Кирилл сказал, что теперь точно совершит побег. Он-де решился.

Пожал руку Борису. Он заплакал. И пожелал мне:

— Не забывай про нас! Мы — тоже люди!

Я пообещал ему написать про больницу книжку.

Он обрадовался.

Тимур вышел из своих апартаментов и молча пожал мне руку. Он ничего не сказал.

Медсестра напомнила мне о моем пакете с продуктами. Я хотел оставить его Юрке, но медсестра предупредила:

— Это плохая примета. Тогда вернешься...

Пришлось забрать. Я раскланялся с медсестрой. Пожал руку Володьке. И — самой быстрой в мире пулей! — вылетел из ада.

Я оказался на свободе.

Я приехал домой (там никого не оказалось), сбросил с себя пропитанную больницей одежду, помылся, полежал на кровати, посмотрел телевизор.

И... с нежностью и болью стал вспоминать своих коллег по несчастью. О других людях почему-то не вспоминал. За весь день я не написал ни строчки.

(*Продолжение в сл. номере*)

Сергей СЛЕПУХИН
Мария ОГАРКОВА

/ Екатеринбург /

Новые карты Аида

«МЫ ВСТРЕТИМ ВАС У ВРАТ АЙДЕСА...»

Стихотворение К. Н. Батюшкова «Видение на берегах Леты», написанное в 1809 году, имело у соотечественников огромный успех. Оно сразу широко распространилось в многочисленных рукописных списках, у автора появились поклонники и последователи — Вяземский, Фонвизин, Дельвиг и другие.

Среди поэтов, увлекшихся «адской» темой, был и Пушкин, замысливший написать так называемую «Адскую поэму». Это был момент, когда, говоря словами Дельвига, «*в темный недавно Айдес тень славянина пришла...*»

Аид, царство мертвых, как место действия в произведениях разных жанров, стал модным у русских стихотворцев еще в XVIII веке в соответствии с общеевропейским импульсом. Специфика восприятия образа Аида в России состояла в том, что изображение загробного мира проникало в поэзию довольно сложными путями: через западные (преимущественно французские и немецкие) переводы, собственные переводы античных классиков на русский, а также через «Божественную Комедию» Данте, «Потерянный Рай» Мильтона, «Путешествие в другой свет» Филдинга.

Русская поэзия испытала одновременное воздействие нескольких зарубежных литературных школ и в очень короткий исторический срок восприняла множество архетипов «загробного мироустройства». Эти знания у русских поэтов соседствовали с прежними представлениями о преисподней, которые были взяты из православной христианской традиции и литературы, а также из древнеславянской мифологии. Новые «сведения» о загробном мире подвергались переосмыслению, разнообразной обработке и приспособлению к тем, что уже имелись.

Устойчивой популярностью в России пользовался жанр так называемых «разговоров в царстве мертвых», возрожденный в Европе и восходящий к диалогам Лукиана Самосатского, римским сатирам и памфлетам, написанным в форме загробной беседы. Традиционно такие разговоры велись между живыми и мертвыми, находившимися на противоположных берегах Стикса, или же между старыми обитателями царства мертвых и вновь прибывающими в Аид по реке душами недавно скончавшихся современников. Именно сатирическая и юмористическая нотка, присущая жанру, возможность в якобы потустороннем мире пересказать сплетни о земных причудах недавно преставившегося, позубоскалить и похихикать о событиях мирской жизни усопшего сделали этот прием чрезвычайно популярным у русских поэтов.

Почему же Пушкин, написавший немало стихотворений с использованием топонимов Аида, поэт, в наследии которого можно неоднократно найти отзвуки «Энеиды», оставил свою «Адскую поэму» незаконченной? Возможно, ответ в следующем. В юности Пушкину очень нравилось написанное с использованием приема «разговоров» стихотворение Батюшкова «Мои пенаты» (1812 г.), но уже в конце 1820-х Александр Сергеевич находил в стихотворении стилистический разнобой, осуждал коллегу за совмещение реальных бытовых подробностей действительной жизни со сложной, но условной системой античных мифологических наименований, образов и понятий. «*Главный порок в сем прелестном послании, — писал Пушкин, — есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и кельи, где лары расставлены, переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином суворовского солдата с двуструнной балалайкой. — Это все друг другу слишком уж противоречит*».

Тем не менее, интерес к этой теме в русской поэзии не умер, архетип Аида, как и архетип христианского Ада, оставался важной категорией поэтического мышления весь XIX век. Новый взрыв интереса к устройству потустороннего мира пришелся на начало века двадцатого, и связано это было с «Божественной комедией» Данте. Данте, по мнению Достоевского, стал «*почти русской силой*». Именно эстетическое своеобразие дантовского космоса, представления Данте об устройстве загробного мира, его универсализм нашли наибольший отклик у русских поэтов. Из всех частей итальянской поэмы русских, прежде всего, интересовал «Ад». Блок писал в статье «Немые свидетели» (1909): «*Путешествие по стране, богатой прошлым и бедной настоящим, подобно нисхождению в дантовский ад*». Стремление «*изобразить "инфернальность", "вампиризм" нашего времени стилем Inferno*» (А. Блок) стало отличительной особенностью рус-

ской предреволюционной поэзии, оно не погасло в течение всего прошлого века и с новой силой вспыхнуло ровно через сто лет — в нулевые годы века наступившего. Об особенностях космографии, топографии, архитектоники Аида и его дериватов в отечественной поэзии на рубеже веков пойдет речь в этой статье.

КРАТКИЙ ТУР ПО ПРЕИСПОДНЕЙ

Топонимические признаки для определения месторасположения царства мертвых у античных авторов являются главными и достаточными, месторасположение топосов Аида определяется по их относительной удаленности от какого-либо объекта, то есть речь идет о топографии релятивной.

На крайнем Западе, за рекой Океан, омывающей землю, в недрах земли расположен вход в царство Аида, владыки над тенями умерших. Основные географические объекты Аида следующие: реки Океан (река Океан у греков омывает всю плоскую Землю, соответственно, и Аид), Ахеронт, Стикс, Кокит (Коцит), Лета, Пирифлегетон; озера и болота — Стигийские болота и Ахерусийское озеро, место впадения Кокита; изолированные участки суши — Дом Аида, Асфоделевый луг, Елисейские поля или Элизиум, Острова блаженных; глубины (плохо различимые между собой) — Эреб и Тартар. Такова «география преисподней», запечатленная в произведениях Гомера, Гесиода, Пиндара, Вергилия.

Пространство Аида представляет собой совокупность образующих два этажа детерминированных, часто изолированных друг от друга топосов, о связи которых между собой можно только догадываться.

Отдельные компоненты системы дают представление о категориях пространства и времени. Наиболее полную информацию об этом можно почерпнуть из характеристик рек и их взаимоотношений. Реки Аида могучие. Такие не текут в Греции и Малой Азии. Мощь их должна была поражать несчастную душу, попавшую в Аид. Их не перейти вброд, не пересечь вплавь. Мотив непреодолимой (или трудно преодолимой) преграды между мирами мертвых и живых вообще чрезвычайно важен. Он присутствует в мифах всех народов, и большинстве случаев эта преграда — водная.

Особенности топографии рек следующие: у входа в царство протекает Ахеронт, это самая наружная река. Ахеронт и является у греков естественной границей между царством мертвых и царством живых. Пересечь Ахеронт и попасть в Аид можно только, прибегнув к услугам лодочника Харона, берущего за труд плату медной монетой.

О Стиксе мы знаем, что это сильная и длинная река, девять раз опоясывающая Аид. Она священна для людей и богов. Стикс соединяется с рекой плача Кокитом, а Кокит, в свою очередь, является притоком реки забвения Леты, очень мед-

ленной, имеющей исток в недрах земли. Огненный Пирифлегетон также окружает Аид. Можно предположить, что Флегетон является границей между собственно Аидом и находящимся под ним Тартаром, но определенно это утверждать нельзя, расположение Флегетона в пространстве загробного мира остается неизвестным.

Глубина Тартара, поражает. Гомер говорит, что это расстояние девятидневного полета медной наковальни. Тартар окружен тройным слоем мрака и железной стеной с железной дверью. За стеною находятся жилища Никты (Ночи), Танатоса (Смерти) и Гипноса (Сна). Уже в представлениях древних греков понятия «ночь», «смерть» и «сон» связаны между собой и относятся не просто к царству мертвых, а к самой мрачной его части — Тартару. В Тартаре находится узилище хтонических чудовищ и низвергнутых Зевсом Кроноса и титанов. Медная дверь охраняется сторукими исполинами гекатонхейрами. Тартар — это нижнее небо, в противоположность верхнему — Олимпу. Вергилий придает Тартару облик города, обнося его тремя железными стенами с железной башней. Именно Тартар больше всего повлиял на христианские представления об Аде (бездонная пропасть, «бездна» православных, «profundis» католиков очень похожи на Тартар еще и своей подземностью).

Можно предполагать, что суша между реками Аида заболочена, о чем свидетельствуют луга, заросшие асфоделями, Стигийское болото и Ахерусийское озеро. Элизиум, место для избранных праведников, и Острова блаженных, скорее всего, представляют собой открытые возвышенные участки суши. Скорость водного потока убывает от наружной границы области к центру, почти сходя на «нет» в Лете. Вот, собственно говоря, и все достопримечательности классического царства мертвых.

К этому можно добавить, что у Данте Коцит становится озером, а Лета перестает быть рекой Ада, так как располагается в Чистилище, но это уже собственная пространственная модель загробного мира, построенная Данте, и об этом будет рассказано позже.

«КОЛЁР ЛОКАЛЬ, КАК ГОВОРИТСЯ...»

Параллелизм понятий «Петербург» — «загробный мир» возник из самой идеи царя-«антихриста» построить город (столицу!) в месте, для жизни плохо приспособленном, на окраине империи, в трясине, на Севере. «Миф о Петербурге», как известно, создавала вся русская литература XIX века. А поэт Вячеслав Иванов в начале века XX-го поставил знак равенства между Данте и Достоевским, и тем самым позволил соотечественникам отождествить Ад Данте с Петербургом Достоевского, этими «*задворками мира среди теней*», по меткому замечанию Н. Гумилева.

Шли годы, Петербург превращался в Петроград, Ленинград, но никогда не переставал быть в сознании русских стихотворцев загробным миром. Мандельштам писал:

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

События русской истории двадцатого века еще больше усиливали в русской поэзии тенденцию переноса ада на землю — как в Петербург, так и во всю Россию.

Тема Петербурга, как «страны мертвых», нашла свое отражение, например, в стихах А. Ахматовой сороковых годов. В них Ахматова называет себя «*почти залетейской тенью*». Персонажи «Поэмы без героя» предстают у автора в ирреальном пространстве. В действительности они все умерли, они — тени загробного мира. В 1962 году в заметке «Из набросков либретто балета по «Поэме без героя» поэт напишет: «*...в глубине зала, сцены, ада (не знаю, чего) временами гремит то ли горное эхо, то ли голос Шаляпина...*». Загробный мир «Поэмы без героя» состоит из нескольких временных пластов, которые одновременно существуют в Петербурге — «*городе мертвых*», «*у устья Леты — Невы*».

В видениях «Поэмы без героя» исполняется пророчество царицы Евдокии Лопухиной: «Месту сему быть пусту», и Петербург превращается в гигантский некрополь (в реальности же, на Ахматову, конечно, влиял Петербург блокадный):

И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман...

Казалось бы, мандельштамовская прописка Аида, («*Петербург! У меня еще есть адреса, / по которым найду мертвецов голоса*»), за неполное столетие должна была позабыться, стереться из памяти, особенно после переноса столицы в Москву, и, тем более, после «конца прекрасной эпохи». Но традиция оказалась живучей, Аид и в наступившем веке продолжает проецироваться в «*Междуречье Невы и Леты*» (А. Синева). "*Пряжка, Карповка, Смоленка,/ Стикс, Коцит и Ахеронт*" — находим у А. Кушнера. «*Кто-то скользнул из Невы в Коцит, /Просто нырнул насквозь*» — подмечает Е. Шварц. А. Цветков слышит «*На рассвете у стрелки гранитной / Флегетона свинцовый прибой*». «*Меж других берегов затонула / Полноводная Лета-Нева*» — рассказывает О. Кольцова.

Идёшь нагишом по Литейному
во сне, да ещё не в своём,
к служебному входу в котельную,
где вывеска с адским огнём.

И думаешь — что же я делаю?
И чувствуешь — это не я...
А в небе — деревья и демоны,
клочки кружевного белья;
зонты, утюги, каракатицы,
бродячие псы, мертвецы...
А яблочко катится, катится
глазное по блюдечку —
цирк!
А яблочко катится, милое,
темнеет, сдаётся внаём;
становится братской могилою
червей, окопавшихся в нём.
(Михаил Дынкин)

В далекое плаванье туда, где «*все течет назад и все теряет свет...*» (В. Кривулин) отправляются поэты по рекам Петербурга.

Так, Владимир Гандельсман избирает плавсредством «*обратную лодку*». Образ «обратной лодки», давший название сборнику В. Гандельсмана, восходит к классической китайской лирике (ср. в стихотворении китайского поэта Цзе Сисы «Свиток с изображением пейзажа»: «У дальнего берега обратная лодка видна...», пер. Е Витковского). Через этот намек на «китайскость» образа возникает созвучие стихов Гандельсмана с «китайским» стихотворением А. Несмелова:

Была похожа на тяжелый гроб
Большая лодка, и китаец греб,
И весла мерно погружались в воду...
И ночь висела, и была она,
Беззвездная, безвыходно черна
И обещала дождь и непогоду.
[...]
И показалось мне, что не меня
В мерцании бессильного огня
На берег, на неведомую сушу —
Влечет гребец безмолвный, что уже
По этой шаткой водяной меже
Не человека он несет, а душу.
(Арсений Несмелов)

И путешествие Гандельсмана к истокам — юности, детству, молодости, малой родине — Петербургу-Ленинграду — оказывается путешествием в Аид. Лета превращается из реки забвения в реку памяти. Такое понимание Леты восходит к ахматовской традиции. Но стихотворение Гандельсмана имеет существенное отличие. В поэзии его предшественников соотношение Нева-Лета уже стало привычным. Гандельсман же вводит в поэтическую практику Лету с уменьшительным суффиксом «Леточку», и теперь в «загробной географии» Петербурга этой новой реке соответствует уже не Нева, а другой петербургский гидроним: «*...так, память, мы с тобой гребем <...> по Малой Невке (той же Леточке)*». Тонко, почти неуловимо, на уровне словообразования

в стихах Гандельсмана происходит еще большее сближение реального Петербурга и его потустороннего отражения.

В противоположную сторону от «*Города Тварей Дрожащих*» лежит путь героини О. Гришиной, но средство передвижения то же («*И спущена лодка на темную зимнюю воду*»), и не пустует Харонова ладья.

Замечательная деталь: никогда прежде в мировой поэзии над реками Аида не возводили мосты. До конца XX века их не знала и русская поэзия. Если в прошлом русские стихотворцы пользовались приемом переноса топографии Аида на Петербург, то в стихотворении Михаила Еремина случилось обратное: мосты северной столицы переместились в Аид:

Что было не отправить загодя
Послания (Бристольская бумага, тушь, перо.),
Предвидя
Простертый над рекою полумост
(Пролет был прерван
Теченьем лет.)? И не пришлось бы
На берегу метаться в поисках
Какого ни на есть плавсредства.

И если речь заходит об Орфее, то сомневаться не приходится: Орфей — коренной петербуржец, ленинградец. Вот отрывок из стихотворения Виктора Кривулина, посвященного памяти Сергея Курехина:

о рванина смыслов перепаханная
пьедесталы с педерастами и феями
среди парка охраняемый собаками
спит орфей и завороженные звери
норовят поближе подбираются
к ложу убранному розами
сон орфея — это все мы словно умерли
словно тени движемся
под звездами сверхновыми

Возможно, Петербург остается столицей русского Аида и по сей день, но реки царства мертвых из «*мертвых парадных*» Петербурга (Ю. Шевчук) растекаются по всей нашей необъятной родине. Стикс, Коцит, Ахерон, Лета и Флегетон не имеют конца и края. То тут, то там мы слышим ропот их волн. Они текут «*в направлении Леты / по Неглинной реке*» (Ф.Чечик), Припять гонит яд «*мертвых вод*» в Коцит (И. Будницкий), «*Гремят «камазы» и дымят заводы. / Локальный Стикс колышет нечистоты. / Акации цветут. / Кораблики плывут.*» (Б. Рыжий). На Беломорье и на Оке видит Ю. Кублановский, как «*... у лунки на льду огнедышащей Леты / Спит рыболов — и подошвы его разогреты*».

В одноконной подводе под воду уходит страна,
Словно нет больше рек. Лучше рек могут быть только реки:
Ахерон, Флегетон, и Коцит... и Печора, Онега, Двина.
(Владимир Светлосанов)

Как можно заметить, загробные реки современных русских поэтов изменяются по сравнению с классическими реками Аида: Лета Кублановского приобретает черты огненного Пирифлегетона, и в то же время она покрыта льдом!

Данте, в свою очередь, называл Флегетон «кровавой рекой», а Лермонтов думал иначе: кровавая река, «река смерти» называется Валерик. И неважно, что в реальности этот приток Сунжи берет начало в Чечне, что в одноименном стихотворении Л. Лосева его русло находится в афганских горах, «*или где там /.../ до сих пор еще воюем*» (И. Бродский). Важно, что кровавая река протекает «*сквозь меня, сквозь тебя через весь материю*» (С. Чудаков). Бег вод «реки смерти» неудержим, Валерик не иссякает в поэзии А. Штейнберга, С. Липкина, Н. Кононова, С. Кековой, и, похоже, не иссякнет никогда...

Маятник, качающийся строго,
Бросил тень на звездные поля.
Это в небе, брошенная Богом,
Вся в крови, повесилась земля.
(Иван Савин)

Россия в современной отечественной поэзии — беспредельный Аид, «*самый Нижний Тагил*» (А. Пурин), домна мирской Геенны. «*Здесь Летой лес сплавляют без убытка*», здесь «*одна судьба Сургут другая смерть Тургай*» (А. Цветков).

Загробным холодом встречает Ф. Чечика малая родина — Пинск, Б. Ахмадулину — Казань, «город-тартар», распаляющий «*таган для сугрева*». «*Мерцает впереди багрово-алый ад, — / и мука, и тоска в его кромешных стонах. /.../ Сморгнешь, и ничего: что «смоква», что «москва»...*» (Е. Лапшина).

В какой бы город не занесла судьба поэтов — в Париж (Д. Савицкий), в Венецию (Е. Максина), Нью-Йорк — «Новый Вавилон» (А. Кушнер) — он оказывается Адом-Аидом. «*Вот и я, пройдя по свету, / Забывая жизни сон, / Узнаю Коцит и Лету, / Вижу Стикс и Флегетон*» (М. Синельников). Сердца русских Орфеев давным-давно превратились в «царства мертвых», в этом-то, видимо, и заключается «особенность загадочной русской души»... «*...Тьму излучает Аид, / Наша мамка, кумир и главврач*» (П. Барскова).

В русском поэтическом Аиде все обыденно и просто: «*В городе N, за решёткою ветхого сада, / Лета течёт и / как будто на ощупь горчит*» (М. Дынкин). «*Для стихов в нашем каменном веке, / Кроме Леты, все высохли реки...*» (С. Липкин). А Лета, наверное, вообще одна из самых популярных рек в России: «*Лучше за три сибирские Леты, / Через тундровый мак навсегда...*» (А. Цветков)

Инна Кабыш запасается «*сгущенкой, сачками и крючками*», билетами на электричку, чтобы «*все лето болтаться у Леты, /*

тихой-претихой дачной реки». Виктор Куллэ прогуливает читателя «*по песочку, где течёт / Коцит, Вторая речка*». Вера Павлова сообщает, что «*Круглосуточно открыты / нудистские пляжи Стикса, / искусственные катки Коцита*». И видится Дмитрию Легезе, как плывет «*вдоль дуги береговой / на полусгнившей лодке плоскодонной*» русский Харон, «*костлявый перевозчик Мазай*», преодолевая «*аидовы кордоны*»...

У нас в Аиде без выходных работает Летейская Библиотека имени Набокова — Лосева. «*На набережной Стикса / фонари принимают душ*» (А. Вознесенский), но «*... в нашем отечестве тварном / все криминогеннее ад / бездонный — под светом фонарным / у самых церковных оград*» (Ю. Кублановский)... «*Все это местный колорит / колёр локаль как говорится*», — точно подметил Сергей Чудаков.

Зябко, зыбко уточкам в слюдяной полумертвой реке.
Из каждого ларька доносится одинаковая дешевая попса.
Не согреть даже в самой теплой руке
Этот день, растворимый, как аспирин Упса.
Может быть, нас давно уже перевез, куда надо Харон,
А мы и не заметили, что стало что-то не так, —
То ли когда мы ехали в теплом маленьком автобусе с похорон,
То ли когда в монетоприемник опускали стертый пятак...
Впрочем, что это я, какие сейчас пятаки...
(Александр Танков)

Держат поэты «медные деньги», скромные пятаки в озябшей руке, выходят «*в рассеянных поисках рая, гнезда родового сиречь*» (Ю. Кублановский), отправляются в ежедневное плаванье «*по рукотворному Стиксу*», «*по просьбе Харона горланя «Катюшу»*», «*маются*», «*вылезают из кожи*» (И. Аргутина). «*Вмерзает в озеро Коцит / бутылок нераспитый остров*» (С. Чудаков)...

И к нам с Того Света течет река Лета... «Песня слышится и не слышится» в долине забвения и безвременья — «*Future Perfect Continuous*» (В. Павлова).

«ПО ФАРЕНГЕЙТУ, ЦЕЛЬСИЮ, АИДУ...»

Флегетон, огненная река Аида, в христианском аду превратилась в огненную стихию, «вечный огонь», «огнь поядающий», «геенну огненную», где горят грешники. В Апокалипсисе появляется образ ада как «озера огненного и серного». У христиан, в отличие от греческого Аида, существуют не только огненные озера, но и область вечного льда. Огонь и жар Бога (Яхве — «огнь поядающий») составляет блаженство достойных, но мучительно жжёт чуждых ему и холодных обитателей Ада. Адский огонь не рассеивает мрака преисподней, он сменяется в других местах Ада страшным холодом.

Образ Геенны Огненной («*В пыльной, мусорной яме геенны / наша смерть выгорает дотла...*» (С. Кекова)) в современной

русской поэзии встречается крайне редко. В большинстве случаев грешники мучаются в *«тридевятой стыни»* (П. Барскова). Почему так? У всех народов мир мертвых находится в труднодоступной области, причем, неважно, в какой конкретной части света. У греков «тот свет» расположен в отдаленной области на Западе («запад», «закат» — символы умирания), у славян — на востоке или на севере, в низовьях великих рек и одновременно в нижнем мире. У древнерусских книжников ад находится либо на западе, либо *«на Дышучемъ мори»* (Ледовитом океане).

Древняя славянская традиция, определяющая адский климат и местоположение Ада, жива в поэзии и сейчас, но причины возврата к этой традиции находятся совсем не в отдаленном прошлом.

Глядишь, глядишь в соборные снега, где нет ни зги,
перед глазами черные круги плывут, круги,
и звезды не спохватятся,
и рвется кисея, а из-под горки катится
не голубое платьице — Харонова ладья.

В белом платке вниз по реке
и в черном платке вверх по реке,
но запад всегда по левой руке,
а восток по правой руке.
(Надежда Мальцева)

На Севере нет света, здесь кончается космос. Путь на Север — это путь с закрытыми глазами, отказ от идеи спасения, отказ от опоры. Север — рубеж реальности. Вселенский жизненный ток здесь останавливается. Север — полюс несуществования, помимобытия, он нуждается во внешнем тепле, которое жадно жаждет и получит лишь от гибели человека. *«И там совпал Полярный круг / С кругами Ада»* (Черубина де Габриак). *«Траурный парус, если плывёшь на полюс...»* (М. Дынкин).

Толстая гладь расположена вдоль горизонта,
вся в промоинах тьмы, в плавных наплывах.
Лупит и лупит по пористой тверди картечью,
ломит и ломит солому унылая сила.
Бродит солдат, затерявшийся в долгом и нудном.
Сводит челюсти спазмой, сладкой зевотой.
Днём минус сорок по Цельсию, ночью — по Гринвичу.
В тело вмерзает душа, словно гвоздь раскалённый
в плоть ледяную вплавляется, остывая.
[...]
По заметённой реке движется тёмная лодка,
широким веслом, как лопатой, кидает снег перевозчик.
Долго на месте гребёт, склонившись над телом,
зубы пытаясь разжать, достать обол заскорузлый.
Плюнув, уходит обратно. И, правда, чего уж
сильно корячиться: спешки особенной нету.

Вот рассветет, потеплеет, отступит ледник, а тогда уж перевозчик вернётся, доделает то, что не сделал...
— Если вспомнит, конечно.
— Ну, да, если вспомнит...
(Александр Левин)

Больше полувека назад, в 1950 году, в Воркуте, Татьяна Лещенко-Сухомлина написала стихотворение, где есть такие строки: «*Харон нас везет через Стикс заполярный / ...В тундре молчат настороженно вышки*». Это было время, когда «*шли толпой бегуны в непролазном и синем аду, / и, как тонкие вши, шевелились на них номера*» (А. Еременко).

...Там — рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.

За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.
(Александр Твардовский)

На бескрайних пространствах, обдуваемых северными ветрами, в бесчисленных притоках рек Аида «*Строители Волго-Дона / навалом лежат в барже*» (Р. Моран), многие из них обрели «*конечную Правду / в котловане на дне голубом*» (В. Леонович). Миллионы людей отправила страна «*на тот свет, в абсолютный лед*» (А. Маковский).

С поразительной силой написано об этом в одной из тетрадей Ефросинии Керсновской, на странице, где говорится о встрече девушки с группой азербайджанцев на пересылке:

«Для моих попутчиков также нет надежды, и это мне очень скоро становится ясным. Тут женщины и дети. Три совершенно древних старухи, восемь женщин в расцвете сил и около тридцати детей, если эти лежащие рядками обтянутые желтой кожей скелеты можно считать детьми.
/.../
— Этот река Каспий? Мы по река в Каспий? Каспий — тепло. Мы — очень холодно.
И все глаза с надеждой так и впились в меня...
В Каспий... Несчастные, трижды несчастные вы люди! Эта река — путь к смерти... Течет она в Ледовитый океан, и много несчастных ссыльных могли сказать: «Оставьте всякую надежду — те из вас, кого несут на север безжалостные воды Оби»».

Северный полюс. Царство мертвых. «*Подо льдом столько юго-западной смерти* течет...» (А.Танков). «*Ледяные торосы Коцита*», «*ладонь примерзает к гортани*» (Е.Фанайлова). «*У вмерзшей в лед ладьи, / Ждет озябшая душа*» (Ю.Шевчук), «*чтоб одна ледяная нирвана / ледяная нирвана одна...*» (М.Дынкин) «*Вот болезненный знак: прогрессирует ад. Концентрический холод к тебе подступает кругами*» (А.Еременко).

Прискакали — гляжу — пред очами не райское что-то:
Неродящий пустырь и сплошное ничто — беспредел,
И среди ничего возвышались литые ворота,
И огромный этап — тысяч пять — на коленях сидел.
(Владимир Высоцкий)

Север, обилие озер, малые и крупные реки, непосредственная близость Северного Ледовитого океана. Центральный круг русского Ада — Северный полюс. Если вспомнить, и у Данте ледяное озеро — эпицентр Ада, но путь итальянца в царство мертвых лежит под землей и по земле, путь русского — по воде и к воде. Вода для отечественных Орфеев — адская стихия. «*Тунэбрум марэ — море темноты*», как писал Б. Поплавский. Здесь «*впереди встает холодной стеною / арктический лед!*» (И. Кормильцев).

Такая река, такая река —
Будто она во сне,
Черным-черна и так глубока,
Что нету дна на дне.
Берега мертвы. И река мертва.
Стоит такая тишь,
Что страшно о ней сказать слова.
Об этой реке — молчишь.
(Татьяна Лещенко-Сухомлина)

«Тот» мир для русских поэтов — это еще и водная стихия, море, океан. И это тоже очень древняя традиция, которая в наше время вновь стала актуальной. Ведь «*душа томится в бочке, / пришвартованной к барже*» (Н. Мальцева). Именно туда, к морю, на переговоры с бесами направляется пушкинский Балда, в «*волнах с дымом на гребнях*» обитают «океанцы» З. Гиппиус (поэма «Последний круг»), берега морей разделяют нисходящие миры Д. Андреева, «вода» становится универсальным иероглифом смерти в стихах А. Введенского.

Вот, поживи-ка в эдакой стране!
Вода не замерзает, хоть и стужа...
(Зинаида Гиппиус)

Кроме собственно водной стихии, часто и дно моря ощущается нашими современниками как загробный мир, куда мы попадем в результате «последнего катаклизма»:

и когда по швам литосферных плит
затрещит коры полотно,
ты свернешься в шарик, как трилобит,
и уйдешь на морское дно
(Александр Брятов)

Мотивы «льда», «океана», «утонувшего корабля», как важных символов современного загробного мира, могут существовать и в пространстве одного стихотворения:

дым из дула, Титаник из пены...
сумрак дулю показывал дню
херувимы последние перья
потеряли, шагая по дну
океана, в который мы вмерзли...

пролетали теней косяки
(Михаил Дынкин)

«Мирозданье — верфь для иных кораблей, предназначенных плыть во тьму» — утверждает Б. Кенжеев, а у Ю. Смирнова находим, что судьбой предначертано нам *«кануть в бездну, в океан...»*

Черный город вдоль мертвого моря плывет.
Слышны стоны опор, слышен хруст камыша.
Где-то девочка что-то такое поет,
от чего у меня обмирает душа.
Поднимаются воды к пологим горам,
рукотворное море срезает гряду.
Осыпается брег, разрушается храм,
и сюда я уже никогда не приду.
Раздается паромный кочующий зык.
И волна за волной поднимает черту.
Бесполезный, беспомощный русский язык,
словно бедный моллюск, умирает во рту.
(Игорь Алексеев)

«Опущенье пассажирского корыта / на общероссийский уровень — туда, / в нижние миры где все мы позабыты» (В. Кривулин) — традиционная тема отечественной поэзии и восходит она к переводу Е. Студенской стихотворения австрийского поэта Рудольфа Грейнца о гибели «Варяга».

В 1904 году *«стал наш бесстрашный и гордый «Варяг» / Подобен кромешному аду»*, а стихотворение стало народной песней. С тех пор у «ада» появилось много имен: «С–13» (С. Азаров), «Титаник» (И. Кормильцев), «Курск» (М. Анкудинов, Ю. Арабов). Ад русских поэтов не цвета «желтой подводной лодки», он выкрашен в красный цвет, красный — поверх триколора.

На стеклянных волнах муляжи лодок сторожевых.
Красная акварель течет из ран ножевых.
Смерти не существует там, где не сыщешь живых.
(Борис Херсонский)

Многие вслед за Максимом Анкудиновым готовы повторить: *«Я матрос затонувшего «Курска»»*, поскольку каждый чувствует, что *«лодку не спасешь от течи»* (А. Дитцель) Такая, видно, судьба. То ли, действительно, *«наши матросы продали винт / эскимосам за бочку вина»* (И. Кормильцев), то ли *«вымо-*

лив ад» суждено нам *«умереть от болезни кессонной»* (С. Кекова)... Но пока *«никто и не хочет думать о том, / куда «Титаник» плывет»*:

на верхней палубе играет оркестр,
и пары танцуют фокстрот,
стюард разливает огонь по бокалам
и смотрит как плавится лед...
(Илья Кормильцев)

«В АДУ КРУГОВ БЕЗУМНЫЙ ХУЛА ХУП...»

Как известно, Данте создал модель не только Ада, но и всего мироздания — *«... вся «Божественная комедия» есть огромное архитектурное сооружение, конструкция универсума»* (Ю. М. Лотман). Мир Данте является утопией, т. к. он создан в соответствии с идеальными представлениями поэта о гармонически организованной Вселенной. Пространственным построениям в нем соответствуют построения этические

Ад как одна из частей дантовского универсума — не исключение. Он имеет классическую стереометрическую форму (воронки, перевернутого конуса). Склоны пропасти опоясаны концентрическими уступами, «кругами», каждому из девяти кругов соответствует определенная категория грешников, в чем обнаруживается идеальный, утопический принцип: форма — функция.

Вместе с тем, в архитектонике Дантовой воронки присутствует характерный признак построения готического собора — ярусность. В каждом ярусе представлены образы грешников, иконографические ряды анти-святых, таким образом, воронка ада оказывается низвергнутым в геенну собором.

В русской поэзии XX века есть только два примера построения целостных моделей загробного мира, не равных грандиозной постройке Данте, но созданных под его несомненным влиянием. Впрочем, как уже отмечалось, русских поэтов интересовал только Ад.

Принципы моделирования Данте в XX веке применили З. Гиппиус и Д. Андреев. Внешне их «нисходящие миры» похожи на Дантов ад, но, тем не менее, имеют ряд существенных отличий. В неоконченной поэме «Последний круг» («И новый Дант в Аду»), написанной Зинаидой Гиппиус в эмиграции незадолго до смерти, поэтом была предпринята попытка создать собственную космографию Загробного мира.

Героем поэмы Гиппиус, склонной в конце жизни к идеалам фашизма, становится «новый Дант», потомок Алигьери, в земной жизни летчик-герой, награжденный за подвиги *«самим Муссолини»*. В поэме он дважды посещает ад, протискиваясь *«через щель»* и спускаясь в подземелье по *«стертым ступеням»*. Сквозь щелку в каменной стене он попадает на узкую береговую полосу

«последнего круга» ада. Это — Океан, где *«все так черно, черней китайской туши...»* Береговая кромка является тем рубежом, переступив который, каждый грешник (*«океанец»*) навсегда погружается в пучину Океана, черную субстанцию, имеющую три отличительных признака — черный цвет, безмерность и безвременье. Ад и называется здесь безмерностью, а главная мука в нем — ожидание Времени. К этим характеристикам можно добавить и четвертое — пустынность, полное одиночество, ведь у каждого грешника — свой океан. Океан наполнен тяжкими воспоминаниями о грехах, и всякий «океанец» наказан проплывать через свершенные в прошлом грехи, не имея возможности когда-либо выйти на берег. Ад Гиппиус — это уже отличная от Данте пространственно-временная модель:

...там — в подземном океане, —
Там нет ни Времени, ни звуков, только мгла,
Что кучею по черному легла.
Там только грузное ворчанье вод
И вечности тупой круговорот.

На пути к Последнему кругу *«ноги вязнут в кучах черноты»*, попадаются *«какие-то все пустыри»*, *«пески забвенья»*, гроты и повороты, *«черные лужи»* *«травы цепки»*, коренья, бездорожье. Здесь взору предстает озеро Пятого круга, *«но не вода в нем — а сплошной елей, / Иль масло из лампадок, прегустое»*...

Архитектура ада Гиппиус напоминает дантовскую, но отлична:

— Да, нет дороги. Путь не обозначен.
Был план когда-то, ныне он утрачен,
Иль отменен.
[...]
Я вижу знаки, где он сделан начерн.

Потрясения, последовавшие за революцией и первой мировой войной, способствовали рождению утопической архитектуры экспрессионистов, зеркальным отражением которой становится «новый» ад Гиппиус. Архитекторы круга Бруно Таута в своих «невозможных» бумажных фантазиях стремились создать утопию нового мироустройства. Гиппиус, создавая после уже второй мировой свой образ ада, руководствуется усвоенными у экспрессионистов архитектурными принципами, она строит антиутопию, проецируя в архитектуру глубокий кризис духа, невозможность появления каких-либо новых духовных ценностей. В поэме угадываются исключительно внешние формы фантастического сооружения. Их динамизм, нарочитая дисгармония острых углов, беспокойные сдвиги объемов так же, как живопись экспрессионистов, передают тревожную атмосферу времени. Если ад Данте сравним с готическим собором, то царство мертвых у Гиппиус, возможно, сопоставимо с так называемой «башней Эйнштейна» в Потсдаме (1919–1921 гг., архитектор Э. Мендельсон).

Гипертрофированная пластика, «эластический динамизм» «нового ада» Гиппиус достигаются намеренным отказом от жестких конструктивных приемов, использованием пустотелых символических объектов (условных этажей, кругов), чуждых конкретным функциональным задачам, применением органичного для русской «адской» поэтической традиции материала — воды и грязи, гипертрофирующих смысловые ассоциации.

Все известные модели трехмерных Аидов содержат унаследованный еще в античности «ген» дискретности — пространственно-временные «разрывы» между топосами Аида греков и римлян, жесткая детерминированность этажей дантовой постройки. У Гиппиус дискретность менее ощутима: ее ад «вылеплен», скульптурен.

Особое место в разработке темы «загробного» занимает поэзия Даниила Андреева, в частности, созданная им в тюремной камере поэма «У демонов возмездия». Поэма Андреева, как и поэма Гиппиус, имеет черты антиутопии, но загробное пространство в ней организовано по принципам параллельной реальности, увиденной «духовным зрением» поэта-визионера.

Даниил Андреев описывает не один ад, а очень много «адских» слоев, миров «нисходящего ряда», «шеолов», продолжая традиции Данте, Блока, а также учитывая духовные искания мировых религий.

Героем (антигероем) поэмы является «*почетный чекист*», чье земное существование было отягощено страшнейшими злодеяниями. Он не только отправлял невинных в лагерь или на смерть одним росчерком пера, но и наслаждался возможностью лично издеваться над заключенными:

К тому ж работа мне дарила
Порой конфетку: в этот час
Я невозбранно, как горилла,
Мог бить подследственных меж глаз;

Тех, кто вчера кичился рангом,
Упрятать в каменный мешок,
Хлестать по телу гибким шлангом
Иль просто взглядом вызвать шок.

Но, любой человек смертен, и часто внезапно смертен, о чем забывает мечтающий о наградах и маршальском жезле чекист. Авторитет «*непогрешимого*», вождя не спасает героя поэмы от неизбежного и страшного возмездия.

Катастрофический срыв героя поэмы в посмертие происходит в его собственном кабинете в Наркомвнуделе. По Даниилу Андрееву, преступления, совершенные в земной жизни, утяжеляют «*эфирное тело*» человека после смерти, и оно последовательно падает все ниже «*в глубь миров*».

Как и «новый Дант» Зинаиды Гиппиус, герой поэмы оказывается на берегу моря. Это первый мир в череде его падений:

Тут море делало дугу,
Всегда свинцово, неколышимо,
И на бесцветном берегу
Сновали в мусоре, как мыши, мы.
Откос покатый с трех сторон
Наш котлован замкнул барьерами,
Чтоб серым был наш труд и сон,
И даже звезды мнились серыми.

Поэт называет этот круг ада Скривнус. Топографически этот мир является котлованом, воронкой на берегу моря. В котловане копошатся люди, занятые «*нудной и хилой*» бессмысленной работой: «*Мы терли, драяли, скребли...*». Время здесь не делится на день и ночь, тут нет солнца и света, все вокруг блеклое и серое. Еще одна важная примета этого мира — пыль, которая покрывает все, даже души пребывающих там.

Кто-то невидимый швырял узникам с откосов «*матрацы рваные, тряпье, / опорки, лифчики подержанные*», потом «*являлись с быстротою пуль — / в аду разбитые, на небе ли — / бутылки, склянки, ржа кастрюль, / осколки ваз, обломки мебели*». Узнаете приметы советского быта? Ко всему прочему, обитатели этого мира еще и живут в бараках. В Скривнусе бесконечно длится будничное бытие теперь уже «бывших» граждан СССР, как палачей сталинского режима, так и его жертв. Но это существование, отраженное в кривом зеркале, на что указывает само название первого из «нисходящих миров».

Обитатели первого шеола наказаны за то, что жили в «*обезбоженном мире*», то есть за атеизм. Мука их заключается в том, что только здесь они начинают понимать всю пустоту жизни, не одухотворенной Богом, тогда как в земном воплощении такого осознания у них не было. Но Скривнус — это еще не самый страшный слой. Над внешне спокойной цинковой гладью моря «*пылающею дугой*» — «*не комета, не зодиак*» — направленный остриями то кверху, то вниз, «*просвечивал мир другой*».

Падение эфирного тела героя продолжается. Он попадает в «*змеиную пасть*», «*плавучий гроб*» «*черного ковчега*», который увозит его «*глубже Америк, глубже Европ*». Трансфизическими водами через воронку Мальстрема жертву выносит на пустынный берег следующего из «нисходящих миров» — Морода:

Я брошен был на берегу.
Шла с трех сторон громада горная...
Тут море делало дугу,
Но было совершенно черное.
Свод неба, черного как тушь,
Стыл рядом, тут, совсем поблизости,
И ощущалась топкость луж
По жирной, вяжущей осклизлости.

Фосфоресцируя, кусты
По гиблым рвам мерцали почками,
Да грунт серел из темноты
Чуть талыми, как в тундре, почвами.

Мород — это «*болотная жижа*», ил, в который срываешься с «*крутых выгибов гор*». Приторно-липкая, «*кишащая пузырями порода*», затекающая в рот, она, как хищное растение, старается глубже засосать свою жертву и не выпустить из своего «*ловилища*». «*...В цепи последовательных спусков из слоя в слой, каждый новый спуск кажется страшнее предыдущего, ибо крепнет догадка, что следующий этап окажется ужаснее всех пройденных*», — замечает автор на полях поэмы. А герой поэмы вздыхает: «*Двадцатый год / здесь я блуждаю...*». В этом слое каждый находится в полном одиночестве, мучаясь многократно осознанием совершенных на земле злодейств.

Агр — новый спуск, новый уровень падения. В глаза героя поэмы, увлеченного круговоротом в «*непроглядную твердь*», неожиданно врывается тускло-огненный пурпурный свет, цвет победившего советского строя — «*россыпь тусклых рубинов, как в бархатно-черном ларце*».

Густо-черная твердь
оставалась глуха и нема,
Но без волн, без теченья,
как вниз опрокинутый Китеж,
Колдовскими свеченьями
рдели мосты и дома.

В «*море пурпура и багреца*» предстает перед несчастным ночь — «*гордый праздник советского строя*»: красный вымпел в сером небе, «*аспид туч*», надменный портал...

Что же скажет уму
стих про эти нездешние тропы,
Про геенскую тьму
и про цвет преисподних пучин?

Кремль я видел другой —
с очертаньем туманного трона,
Дальше — черной дугой
неподвижную реку Москву —
Нет, не нашу Москву:
беспросветную тьму Ахерона,
В грозной правде нагой
представлявшейся мне наяву.
Так. — Двойник. — Но какой?..

Высоты пространства Агра принадлежат волграм, чудовищным безобразным уродам с огромными «*сторожкими*» ушами, с разлагающейся кожей. Волгры лишены глазниц и рта. Они нависают наростами над арками столичных мостов, дворцов и башен Кремля. Они — первые из демонов-вампиров, живущие в шеолах (или чистилищах) и восполняющие свои силы высасыванием жизненной энергии человека.

Пространство Агра пересекает широкий «*бугроватый проспект*», огражденный стеной с «*капищами люциферических сект*», охраняемых стражами. Рвы и кручи, двойники высотных зданий сталинской Москвы дополняют пейзаж.

С Агра начинается процесс утраты узниками чистилищ их тел, их плоть превращается в «*бесформенный сгустою*».

Следующие этажи падения: Бустви́ч — слой внешне похожий на Агр (там тоже есть смутные очертания зданий), но освещенный другим светом:

Казалось: по-прежнему Агр вокруг,
Лишь краски померкли вдруг,
И трупною зеленью прах земной
Светился, как вязкий гной.

В Бустви́че продолжается разложение плоти упавших в этот шеол. Грудами лежат тела, как «*бескостная студенистая слизь, где лимфа и гной слились*», как «*жалобно вздрагивающее желе*». Следующий слой — Рафаг, герой минует его очень быстро, мы узнаем только, что он «*глухой*». За Рафагом идет Шим-Биг, нижний океан, куда эфирное тело попадает через каменный туннель, наполненный несущимися вниз душами, превратившимися уже в «*бурые клубки*»:

Скользкий потолок...
Медленный уклон...
Оползни... Провал
Луж...
Эллин бы назвал
Словом «флегетон»
Этот водосток
Душ.

Дромн — «*пасть небытия*», полная пустота, размеры этого слоя определить невозможно, «*повсюду — центр, везде — края...*». Попавший в этот мир полностью теряет всякое подобие тела, он висит над бездной, не имеющей верха и низа, и характеризующейся полной невесомостью. Такое состояние узника — кара за предательство собственной души, за неверие в ее бессмертие:

О, даже в клочья, в космы рваные
Облечь свой дух я предпочту,
Чем плыть бесовской лженирваною
В зияющую пустоту.

Но Дромн — не последний в череде «нисходящих миров», следующий слой называется Фукабирн. Герой видит Фукабирн с высоты как «*недвижную гладь*» пламенного цвета. В процессе падения из Дромна герой приобретает новое тело — металлическое, которое прикасается «*к жгучей поверхности Фукабирна*».

За Фукабирном следует инфраметаллический, раскаленный уровень — Окрус, где новое (тоже инфраметаллическое) тело героя горит и плавится как на аутодафе, в то время как душа испытывает жесточайшие муки. Окрус и следующий за ним Гвэгр представляют собой слои огненной магмы, именно их Даниил Андреев сравнивает с классическим Адом. Говорит он и о творце жестокого антибожественного закона возмездия, создателе страшных миров и отце мирового зла:

Снов довременных рваные космы
В древних легендах
видели мы:
Да, — он творил
и творит
Антикосмос,
Черное зеркало,
сердце Тьмы.
И на Земле — его черный град
Древние наименовали:
ад.

Таким образом, сложно организованная система миров нисходящего ряда представляет собой Антикосмос, опрокинутую искаженную противоположность Космоса восходящих миров.

Формальный язык архитектуры андреевского ада близок гиппиусовскому: тот же материал в некоторых слоях (вода, слизь, грязь, мусор), а в других слоях — иррационалистическое криволинейное пространство, сбои механического ритма деформированных конструктивных элементов. Все это является зловещим гротеском на советскую утопическую идею строительства «светлого будущего», «общего блага».

Пластические решения построения каскада «нисходящих миров» выявляют трагическое несоответствие между силами, подвластными человеку, и могуществом тоталитарного государства, отражающего в своей мертвящей жестокой структуре влияние демонических сил. Ад у Андреева предстает как многоуровневая конструкция, неизменно устремленная вниз, определяемая не статичными «видами», а напряженной циркуляцией насилия, имеющая все возрастающую плотность, совершающая диалектический переход из конкретного в абстрактное, из частного — во всеобщее. Если сравнить адские миры поэмы «У демонов возмездия» с более подробно разработанными слоями из трактата «Роза мира», то обнаруживается, что у них были еще и разные пространственно-временные характеристики. Некоторые миры, например, имели больше или меньше трех измерений.

Функциональное единство «градостроительных» адских структур, их физическая монолитность утверждают неизбежность роста царства зла в глубину. Это свидетельство гениального интуитивного предвидения поэта. Шеолы Даниила Анд-

реева можно воспринимать как отраженные в кривом зеркале фантастические «новые города» утопического архитектора 20-х годов А.Сант'Элиа.

В русской поэзии рубежа XX–XXI веков, проявляющей увеличивающийся интерес к «адской» теме, теперь не совершаются попытки создать новую модель Аида по дантовскому образцу. Тем не менее, достаточно часто можно встретить описания отдельных Андреевских шеолов.

Даниил Андреев рассказывал в «Розе мира», что по страшному Агру водил его сам Александр Блок, встретившийся визионеру в своем посмертном воплощении.

Отличительной чертой блоковского поэтического «ада» был горизонтальный ландшафт. В стихотворении «Песнь Ада» Блок вслед за Данте совершает инфернальное путешествие в знакомую «адскую воронку», но спуск прерывается: поэт выводит читателя в один из «*бесконечных залов*» «Страшного мира»:

Передо мною бесконечный зал,
Сеть кактусов и роз благоуханье,
Обрывки мрака в глубине зеркал...

Мотив «зала», как места действия в блоковском аду, «страшном мире», повторяется во многих стихотворениях цикла, где встречаются «*живые мертвецы*»: это и зал ресторана («В ресторане»,) и зал публичного дома («Унижение»), и «*зал многолюдный и многоколонный*» из первого стихотворения цикла «Пляски смерти» («Как тяжко мертвецу среди людей...»)

По этим залам, своеобразным «невозвратным кругам», обречен скитаться герой «Песни Ада», «*юноша*» с «*ликом мертвеца*»:

Из зала в зал иду свершать завет,
Гоним тоскою страсти безначальной...

Кто знает, не Блок ли продолжает водить по Агру и современных свидетелей «Страшного мира»?

Образ Агра отчетливо узнаваем в стихотворении Алексея Цветкова из его сборника «Эдем»:

в ноябрьский озноб с козырька мавзолея
совместные луны горят мозолея
подножье кишит небольшими людьми
идет сизигия гражданской любви

Это стихотворение написано четверть века назад. А есть свежее — образ Агра эпохи олигархического капитализма:

В ноздри бьет сермяжный дух провинций,
мрачен смерд, и педераст патриций
мальчиков снимает в Катманду.
Mon ami, а мы с тобой в аду.

Там все то же: офисы и клерки,
виски, суши бары, пионерки,
улицы в заносах, лихачи.
Мы с тобой не выжили. Молчи.
(Юлия Доленко)

А вот, например, пейзаж, очень похожий на Скривнус:

Стервой повaнивает, вороны с карканьем рыщут чем поживиться,
в выломанной арматуре зияет черными внутренностями пейзаж,
где, как шумерский воин в обузе собственной амуниции,
не притупивши оружья, почиет

мертвым сном Минтяжмаш.
(Олег Чухонцев)

Еще полвека назад, в поэме «Теркин на том свете» Александр Твардовский «организовал» Тот свет как систему переходящих друг в друга залов. В «*зал ожидания*», на платформу с комендантом, «*генерал-покойником*», «*прибыл наш Василий*». Преисподняя перед бойцом вытянулась вереницей многочисленных кабинетов, отделов номенклатуры и «*загробактива*». «*Помещений бездна, / Кабинетов до черта*», — замечает герой поэмы. Первое, что бросается в глаза, это многочисленные столы и двери, выступающие из стен «*вертикальными гробами*». «*Помещенья вроде ГУМа / — Ходишь, бродишь, как дурной*». «*Комбинатом*» называет Тот свет фронтовой товарищ Василия. Друг за другом следуют: Отдел «*с армейскою звездой*» («*Четкость линий и дистанций, / Интервалов чистота*»), Отдел Гражданский («*выправка не та*», «*Разнобой не скрыть известный*»). Дальше идут «*Преисподнее бюро*», Особый Отдел и Отдел Верховный, резиденция самого «*Устроителя всех судеб*».

Для живых родной отец,
И закон, и знамя,
Он и с нами, как мертвец, —
С ними он и с нами.
(Александр Твардовский)

Когда Теркин задает вопросы «*Где тут линия позиций?*» и «*...в каких границах / Расположен мир иной?..*», вдруг выясняется, что преисподняя делится на «*два тех света, две системы*»! Это «наш», советский, Тот свет и, «*конечно, буржуазный*». Оба загробных мира хоть и имеют общий свод, но граница между ними «*на замке*». И «*всяк свои имеет стены*». Как устроен «их» Тот свет выяснить не удается. За границей есть «*парки*», «*кущи*», «*сады*» и «*тому подобный бред*». А у «нас» их, соответственно, нет. Но зато «наш» Тот свет «*упорядочен отменно*»:

Наш тот свет организован
С полной четкостью во всем:

Распланирован по зонам,
По отделам разнесен.
(Александр Твардовский)

И порядок этот — ordnung? — организован лабиринтами кабинетов и кабинетиков, приемных, залов, отделов. *«Впереди уходят вдаль, / В вечность коридоры — / Того света магистраль, — / Кверху семафоры»*... «Горизонтальный мир». *«За далью даль»*.

В последнее время для пространственной организации потустороннего мира авторы все чаще и чаще используют именно горизонтальную модель «блоковских залов». *«Анфиладами»* называет их в одноименном стихотворении Наум Басовский. Это отголосок литературной традиции «хождений» по Аду, каторжным пространствам страны и ее истории.

Горизонтальный мир!
Я лягу параллельно
Тебе и буду счастлив беспредельно,
Что приютишь меня как богадельня,
И сунешь головой в какой-нибудь сортир.
(Александр Ожиганов)

Герой поэмы Александра Ожиганова «Барак» оказывается с женой и грудничковым ребенком в арестантском бараке для перемещенных лиц, где подвергается насилию и принуждается к рабскому труду. Смерть ребенка и жены, вознесение их на небеса воспринимается героем как счастье, избавление от *«горизонтального мира»*, расценивается как удачная возможность соскочить с *«платформы»*, выйти за пределы узилища «между небом и землей».

«НА ЗАГРОБНЫХ ЛИНИЯХ МЕТРО...»

Известное стихотворение Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес», несомненно, оказало сильное влияние на русских поэтов в их представлении о топографии Аида. Комментируя в 1984 году издание переводов Рильке на английский, И. Бродский, сравнивая Аид с подземными городами в Центральной Турции (Derinkuyu, Kaymakli, Ozkonak), пишет следующее:

«Представление о преисподней как о разветвленной, вроде метро, подземной структуре, скорее всего, родилось под влиянием (практически неотличимых) известняковых ландшафтов Малой Азии и северного Пелопоннеса, изобилующих пещерами, которые как в доисторическое, так и в историческое время служили человеку жилищем. Топографическая сложность преисподней наводит на мысль, что царство Аида есть по сути эхо догородской эры, а наиболее вероятная местность, где могло зародиться данное представление, это древняя Каппадокия».

Информация о подземных восьмиэтажных городах в песчанике Каппадокии, уходящих на несколько десятков метров в

глубину, связанных с другими поселениями многокилометровыми тоннелями, конечно, не могла не повлиять на воображение Бродского, тем более, что поэту так и не удалось побывать в Каппадокии.

Но для нашего исследования важно не то, что И. Бродский, вслед за своим предшественником М. Волошиным, указывает конкретную точку на карте, где мог находиться предполагаемый вход в Аид, а точное наблюдение Бродского, отметившего сходство царства мертвых и подземного мира метрополитена.

В 1934 году, еще задолго до начала своей работы над переводом «Потерянного рая» Мильтона, Аркадий Штейнберг напишет поэму «Искатель кладов». В ней есть такие строки:

Я вижу город, окруженный мраком,
Военный лагерь на краю земли,
Где жизнь расположила бивуаком
Свои передовые патрули.
Я вижу площадь, где над храмом старым
Сомкнулись доски, как пчелиный сот,
Где уксусом и русским скипидаром
От укреплений временных несет.
На перекрестке воздух пахнет кровью
И ждут гостей накрытые столы.
Там жарят сталь, как вырезку воловью,
Там варят суп из камня и смолы.
А позади, на груде юрской глины,
Стоит редут у крепостной стены —
Ни дать не взять колодезь журавлиный,
Но страшной высоты и глубины.
Над ним порхают детскими шарами
Два голиафа, означая вход.
И стенгазета в деревянной раме
Висит в дверях, как деревянный код.
Здесь нет людей и света слишком мало,
и самый воздух гуще и сырей,
в глубокой тайне здесь берет начало
Густая сеть подземных галерей.
Куда ни глянь, в чугунные корыта
Бьет черный порох их несчастных дыр,
И вся земля тоннелями прорыта,
Как муравейник, как швейцарский сыр.

Чем не инфернальный пейзаж? И только после строк «*...Идет троллейбус «Лазарь Каганович», / Наполненный смеющейся толпой...*» вдруг понимаешь, что это отнюдь не описание входа в царство Аида, а рассказ об ударной стройке Московского Метрополитена имени товарища Л. М. Кагановича, в который почему-то проникают весьма мрачные адские ассоциации.

В конце прошлого столетия история строительства московского метро окончательно оформилась в антиутопию. Метро в русской поэзии стало символом подневольного рабского труда политических заключенных, катастроф, терактов, зловещего подчинения человека техникой. Аид, воплощенный в чудовищ-

но-гигантских конгломератах материальных структур, в жестко фиксированной пространственной схеме, обросший мифами о секретных станциях и военных объектах, стал инструментом закрепощения индивидуума, его загробным миром, символом антисоциальной дистопии и антиархитектуры.

И это не только московское метро, но и парижское — у Ю. Кублановского и Д. Савицкого, ленинградское — у Г. Чернобровкина, и другие.

Раньше ласточки в Аид путь знали...
[...]
Теперь же воробьи поселились в метро,
В земное нутро.
Там вечное лето, пещеры разносят звуки,
Крошки роняют человеческие руки.
Воробьи же воруют души пассажиров.
Ах, быть бы живу! Не до жира —
Унесут душеньку в горло туннеля!
Глядь, а уж и пальцы посинели.
Не догнать воробья с душой в клюве
В туннеле-ветродуве.
(Надежда Горлова)

Поэту Александру Гутову принадлежат строки: «*Я рисунок судьбы / вижу в схеме метро*». Жизнь соотечественника оказывается медной монетой, которая падает в щель, как плата за спуск в Царство мертвых (Ю. Кублановский). Вновь и вновь очередной поэт кидается вниз, в «*стигийскую воронку*» (В. Брайнин-Пассек). «*Орфей все ищет свою Эвридику в аду метро, / среди серых толп, уезжающих в вечный скрежет*» (А. Макушинский). Она, Эвридика, ютится где-то здесь, «*в развалинах Аида*» (О. Иванова). Метро — это «*Мокрая могила, / Где брякают вагоны жесткими губами*» (В. Кучерявкин).

Многокилометровые линии метрополитена, «*тромбы черного сосуда*» (М. Гронас) тянутся к центру. По кольцевой линии горожане предпочитают не ездить, движением по кольцу управляют компьютеры, а это призраки (мертвецов?), и в их власти — жизнь и смерть.

Прозрачных городов трехмерная тюрьма,
чья в небесах луны не светится земля,
где мачты для гробов и статуи ума
в сыпучее метро уходят до нуля.
(Иван Жданов)

Народная легенда приписывает куратору метростроя Лазарю Кагановичу слова: "здесь вам не Берлин и не Нью-Йорк — строить только под землей и как можно глубже!" Неудивительно, что позже, когда Василий Тёркин попадет на тот свет, он сразу же отметит сходство загробного мира с подземкой: «*Вроде станции метро*», «*ходы-переходы*».

«Весь город держат урки и пустоты» (М. Ватутина). «Первомайские» станции-призраки, «Лужнецкие» «метромосты», лишь несколько лампочек освещают пустынную платформу и два ряда опор на станции «Волоколамская», из которой нет выхода на поверхность...

Настоящий заброшенный подземный город «Аид-2»: многочисленные комнаты жизнеобеспечения — генераторные, электрощитовые, водопроводные, заполненные причудливым переплетением толстых металлических труб, покрашенных в разные цвета...

Штабы противовоздушной обороны, командные пункты НКВД глубокого залегания, перегонные туннели, тупиковые пути... *«Поигрывает люстрами сквозняк из преисподней, / Составы громыхающие гонит в глубину»* (Д. Андреев)

...Пустота и крёстные отцы.
А праотцы встречаются порою
В метро: я узнаю их бледный лик.
И кажется, что там, под пустотою
Ещё есть твердь, Неглинка, Китеж, Троя,
Иль Третий Рим, иль красный материк...
(Мария Ватутина)

Некоторым избранным дано увидеть, как по эскалатору вниз спускается *«Христос, даруя грешникам прощенье»* (А. Борейко), *«среди теней, бредущих на закланье»* (Г. Чернобровкин). Десятки тысяч людей набиваются в переполненные поезда, ежедневно совершая инфернальное путешествие *«в плотной кладке людской»* (А. Гутов). Они путешествуют по бесконечным черным артериям в ожидании запредельного голоса: *«Осторожно, двери закрываются, / Станция такая-то, конечная»* (Е. Ивлева) Пассажиров «адских поездов» трясет и трет при каждом торможении. Это приводит к нередким (и даже многочисленным!) людским потерям, что легко объясняется законом исчезновения индивидуального и растворения индивидуального во множественном.

Встречаются, соседствуют, несутся, разлучаются,
С невольными усильями усилья единя,
Вращаются, вращаются, вращаются, вращаются
Колеса неустанные скрежещущего дня.

И все над-человеческое выхолостить, вымести
Зубчатою скребницею из личности спеша,
Безвольно опускается в поток необходимости
Борьбой существования плененная душа.
(Даниил Андреев)

Души людей в подземке разворовываются воробьями (Н. Горлова) или кто-то их *«пускает на знаки для метро»* — значки с изображением перечеркнутых человечков (А. Павловская). Тогда-то эти «нечеловеки» проникают в поезда и захватывают их...

Я на платформе Домодедово ждал электричку на Москву.
И вдруг откуда-то неведомо, как в сновиденье наяву,
колесами стуча без устали, гарь по платформе распластав,
загадочно слегка приплюснутый, прошел вдоль станции состав.
Вагоны красные, бордовые, как бы немытые давно,
и стекла грязные, не новые мешали заглянуть в окно,
где, совершенно неподвижные, сидели люди в два ряда...
Казалось, поезд этот выскочил из ниоткуда в никуда,
а люди были так безропотны, так на вагон похож вагон,
что, может, это были роботы — так мне подумалось вдогон.
А поезд резко скрылся из виду, как будто там была дыра...
(Наум Басовский)

На память приходит один из рассказов Хулио Кортасара, писателя, для творчества которого тема метро была очень значимой. Это рассказ о людях, которые спускаются в метро навсегда, становятся призраками и уже никогда не выходят из подземного мира:

«...Новичков пока трудно распознать, поскольку кожа их обесцвечивается медленно и, кроме того, они, без сомнения, принимают меры предосторожности. Едва ли в планах Первого есть просчеты, и мне представляется невозможным установить точное их количество. Чутье подсказывало мне, когда у меня еще хватало смелости спускаться вниз и следить за ними, что в большинстве поездов полно их, что обычных пассажиров становится все меньше и меньше; и я не удивляюсь, почему газеты кричат, что нужны новые линии, что поездов не хватает и надо принимать срочные меры...»

«ПАХНЕТ ГИБЕЛЬЮ УХМЫЛКА ИСКРИВЛЕННОГО ПРОСТРАНСТВА...»

Античный Аид у Гомера, Гесиода и Вергилия — это релятивная модель страны мертвых, имеющая четкое месторасположение в общей картине мироздания (отдаленная область на крайнем западе древней Земли, которая представлялась плоской).

В христианстве, как и других мировых религиях, существует жесткое разделение между «градом божьим» и «градом земным», между горними сферами и преисподней. Только это позволяет противопоставить живое мертвому, тот свет — этому, рай — аду, грех — добродетели. Таким образом, есть единственный инструмент познания добра и зла — ось ординат, с обозначенным центром и двумя векторами, строго направленными вверх и вниз.

Данте, следуя христианскому мировоззрению, также создает пространственную модель мира, сложно организованного, иерархически выстроенного вокруг оси «верх-низ». «Эта ось у Данте, — пишет Ю. М. Лотман в исследовании «Символические пространства. Путешествие Улисса в «Божественной комедии» Данте» — пронзает Землю, будучи обращена нижним концом к Иерусалиму, проходя через Ад, центр Земли, Чистилище и упира-

ясь в сияющий центр Эмпирея. Это та ось, по которой был свергнут с небес Люцифер». Ось «верх-низ» (она же — «добро — зло») становится у Данте главным инструментом описания, как пространственной архитектоники Ада, так и его смысловой архитектоники.

В работе «Мнимости геометрии» Павел Флоренский строит стереометрическую модель движения поэта в «Божественной Комедии» и высказывает гипотезу, что дантово пространство создано по законам эллиптической геометрии. С этим утверждением можно спорить, но для нас важно то, что пространство у Данте создается по строгим математическим законам, а Ад в этой системе имеет свое определенное место.

Смог бы сейчас новый Флоренский «поверить алгеброй (или геометрией?) гармонию» новейшего мироустройства, такого, каким его видят современные нам поэты?

Попытаемся ответить на этот вопрос, начав с определения координат нового Аида в поэтическом пространстве.

В 1918 году Игорь Северянин пишет стихотворение «Конечное ничто», в котором впервые после Октября ставит вопрос о судьбе мировой оси: «*...иль погрузимся мы в НИЧТО?*» Ось лишается своих векторов и превращается в едва различимую точку — самого поэта.

В это же время Маяковский, создавая в 1918 г. первый вариант «Мистерии-Буфф», испытывает затруднения с тем, куда поместить Ад и Рай. Он протягивает высоко над сценой (в Небе? «*Облаке на облаке*»? Там же, где у него находится и Рай?) три яруса «*дымно-желтых туч*». Верхний ярус Маяковский называет Чистилищем, на нижнем у него сидят двое чертей, но он оставляет ярус безымянным, а средний — отдает Аду.

В 1921 г., во время подготовки второй редакции мистерии, Маяковский уже «не витает в облаках», он уверенно помещает Ад, штаб Вельзевула, на сцену, то есть на землю. Но ад Вельзевула в сравнении с адом земным, по признанию одного из нечистых, «*глупый*» и «*все равно, что мед*». Массивная «огромная дверь» с чертями-караульными должна была восприниматься зрителем как эскиз входа в кабинет одного из новых грозных хозяев России, выполненный рукой несмышленого ребенка.

Итак, Ад перемещается на землю. Перемещение это началось задолго до революции. Как писала М. Цветаева, «*...Связь кровная у нас с тем светом.. / На Руси бывал — тот свет на этом / Зрел*».

Ранее мы рассматривали этот феномен на примере поэтического Петербурга. Многие тенденции новейшей поэзии восходят к «страшному миру» Блока.

В стихах цикла «Страшный мир» у Блока предстает образ «мира», с чертами реальности и в то же время — мир ирреальный, потусторонний. И это мир города, в отличие от мира при-

роды. Сама поэтическая формула «страшного мира» была подсказана А. Блоку эссе Томаса Карлейля, которое предваряло текст «Божественной Комедии»: "Великая душа Данте, не находившая себе пристанища на земле, уходила все более и более в этот страшный другой мир". «Ад» современного города с его реальными приметами — ресторанами, «*улицами глухими*», мостами, фонарями и автомобилями, превращается в ад, по которому скитается душа героя цикла.

Как и у Данте, «*последний путь души*» у Блока имеет форму круга. Круг этот замкнут: «*Все будет так. Исхода нет*». Первая строка стихотворения «*Ночь, улица, фонарь. Аптека ...*» и его последняя строка — «*Аптека, улица, фонарь ...*» композиционно замыкают круг мучений души, отсутствие выхода из него.

В отличие от поэмы Данте, герои Блока являются одновременно и наблюдателями мучений, и мучениками. А цикл «Страшный мир» можно назвать своеобразным новым (десятым) кругом Ада.

Кроме того, и «*адище города*» Маяковского, и ад городских окраин Петербурга у Саши Черного логически подготовили закрепление поэтической формулы «земное существование человека есть ад».

После революции оппозиция рай/ад продолжила существование в сознании поэтов, но претерпела значительные изменения. Поэты из враждующих лагерей сходились только в одном: ад расположен на земле. Одни, как, например, А. Мариенгоф, прославляли это воцарение («*Все равно друзья ли, враги ли / Лягут вспухшими трупами на желтом дне*»), другие, такие, как З. Гиппиус, — проклинали («*Мы думали, что живем на свете... / Но мы воем, воем — в преисподней...*») «Мировая ордината» развернулась и легла на абсциссу.

Обе группы поэтов, и те, кто остался в России, и те, кто ее покинул, вынуждены были «жить в аду»: одни «*кружили*» «*...в вальсе загробном / На эмигрантском балу*» (Г.Иванов), а другим «*каждый час*» был «*как смертная година*» (О. Мандельштам). Но и отношение к раю стало различаться. Для первой группы вектор, указывающий на рай, по абсциссе был направлен в Россию — рай оказался «потерянным» «*в брошенном, скончавшемся краю...*» (И. Савин), для других вектор развернулся в обратную сторону.

Для третьих рай, как и ад, совсем не существовал: рай заменило ожидание «светлого будущего» и сверхзадача — «*строить Небо на земле*» (Ю. Шевчук). Хорошо, от Бога (и соответственно от «сказок» о рае и аде) отказаться можно. Но что делать с душой? Совсем от нее отделаться сложно даже самым убежденным атеистам. Поэтому, по мере продвижения к «светлому будущему», души усопших устремились плохо различимым «*млечным путем*» (Я. Смеляков) к «звездам», куда поэты все увереннее стали их отправлять. У некоторых поэтов желание переместить душу куда-нибудь к звездам сохраняется и сейчас: «*Куда же, на-*

сытившись бурей, / Душа полетит в тишине? / Быть может, на жёлтый Меркурий, / Не меркнущий в вечном огне» (М. Синельников).

Можно, впрочем, переселить душу и к «микробам» героя последней мистерии А. Введенского (Л. Виноградов: *«Что за гробом? / Рай микроба»*).

Тем не менее, при всем многообразии индивидуальных мнений поэтов, общая тенденция сохранялась:

Казалось тебе — за высокой оградой
Цветущий весенний сад...
Ты раньше не знал такого сада?
Ведь это ад!
[...]
За высокой оградой о радостном чуде
Глупые люди зря говорят...
Но здесь никогда ничего не будет, —
Здесь только ад!
(Черубина де Габриак)

В 1920 году Аполлон Карелин основал в Москве Восточный отряд Ордена тамплиеров. В него вошли поэты П. Аренский, С. Кондратьев, В. Завадская, В. Смышляев, О. Пахомова, А. Сидорова, М. Сизова, Б. Власенко, И. Иловайская, А. Уйттенховен. Их объединила, как пишет исследователь творчества этих поэтов-мистиков А. Никитин, «вера в конечное торжество победы несубстанционального Света над несубстанциональным Злом».

Недомолвки, недосказанность, тайнопись, ассоциативные ряды и намеки отличают поэзию названных авторов, но они едины в утверждении, что на земле воцарилось Зло. Их главная мысль заключается в том, что предреченные Достоевским «бесы» захватили землю, и только сплочение в «истинном воинстве», рыцарское служение архистратигу Михаилу позволят победить Зло.

Многие из поэтов этой группы позднее были репрессированы, как, например, поэт и драматург Александр Уйттенховен. Сохранились разрозненные части незаконченного «Волшебного романа» Уйттенховена, который он привез в Москву в 1933 году из архангельской ссылки. Вот фрагмент «Песни бесов» из «Акафиста Михаилу»:

«Мы пребываем в Аду, и Ад пребывает в нас.
Несокрушимы стены мира нашего и непроницаемы небеса Ада.
Кровью вселенных спаяны камни твердынь неприступных, багровые реки текут по долинам страны адской, алое море омывает берега его со всех сторон.
Нет границ океану кровавому, лежащему в основе вселенной;
непрерывно опускаются и упадают миры — и растворяются в зле.
Что сильнее Ада?
Не знает он начала себе и не будет иметь конца, пока не погибнет всё.

Все идет к нам, все приближается к безднам нашим, и терпеливо дожидаемся мы победы конца.

Потому что все падает вниз, и нет ничего, что в силах было бы остановиться на половине Пути...»

В 1935-ом Владимир Щировский написал поэму «Бес», в которой рассказал о том, как «*румяный бес легко процвел в Москве*». Бес, «*милый и стройный молодой человек*», начитанный и образованный, выдав себя за «*князя Барятинского*», втерся в доверие к «*старичку генералу*», «*наследнику варяжских кровей*», выучившемуся тачать сапоги, вступившему в артель кустарей и живущему в Сивцевом Вражке-Плющихе-Балчуге тише воды, ниже травы. Вскоре после их знакомства «*ночью дрогнул звонок*» и за старорежимным сапожником пришли гости с Лубянки — «*кацап, латыш, еврей*».

Знаменательно не то, что Щировский дает своему «герою» фамилию миллионов одноплеменников — Иванов, и не то, что позже бес «*преисподним рассыпался прахом*», и даже не то, что от любви дочери старичка-генерала и беса-стукача и провокатора рождается на свет(?) сын, бесовское отродье. Примечательно, что любовное признание беса звучит как горькая насмешка над идеалами современников Щировского, поэтов «Ордена тамплиеров». Бес называет себя Ланселотом, рыцарем Круглого стола, и клянется в рыцарской любви своей Гунивере (Джиневре), дочери жертвы. Чему удивляться, если ложь, предательство, лицемерие были у Данте пороками, присущими самому Дьяволу и признаками мирового зла?

В это же время (1930–31 гг.), в период «победившего атеизма», обэриут Александр Введенский создает мистерию в стихах «Кругом возможно Бог». В центре действа некто Фомин, человек (или бес), «*потерявший свет*», уверовавший в «*ценность*» идеи, что «*жизнь за гробом*» будет «*уподоблением микробам*», «*насекомым прелестным*». В заключительной сцене мистерии Введенского «*мир накаляется Богом*», «*над рекой*» совершается полет орла, держащего «*в кулаке*» икону с изображением Бога. Для автора и его героя становится очевидным, что «огнь» мог бы стать «очищающим», но это будет возможно только, когда «*вбежит мертвый господин / и молча удалит время*».

Сталин, как известно, запустил в осеннее небо сорок первого года аэроплан с иконой Казанской Божьей Матери, приказав летчику пролететь по периметру Москвы, но Время, все же, удалено не было, а ложь и зло победно продолжили свое земное царствие. Эпоху было приказано именовать социализмом, первой стадией грядущего земного рая — коммунизма.

Всеобщая фальшь порождала парадоксальные явления. Земное существование стало ощущаться как загробное. «*Кто умер, тот живой на самом деле*», — считал один из поэтов «Барачной школы» Г. Сапгир. Только мертвый в нашей перевернутой стране мог чувствовать себя свободным.

Некоторые поэты утратили всякие иллюзии, у них не было сомнения, что смерть уже наступила, на земле царит *«Антихрист, / И чавкающим стадом — ад»* (Л. Губанов).

«Эй! Гробами запасайтесь / Может быть, и вправду тут / Обретете вы уют?», —

писал единомышленник Сапгира Е. Кропивницкий. Все поставлено с ног на голову, но если у Кропивницкого «жизнь в гробу» можно считать горькой, но шуткой, то у другого поэта того же времени все гораздо трагичнее.

А я живу в своем гробу.
Табачный дым летит в трубу,
окурки по полу снуют
соседи счастие куют.
Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба...
Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда»...
О, нора!
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,
до наковальни,
до борьбы,
до излияния в клозет...
...Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет...
(Глеб Горбовский)

Для героя Горбовского внутренняя несвобода сужает мир вокруг него даже не до размеров тюремной камеры, а до размеров гроба.

Поэты «третьей волны» эмиграции поддержали тему неестественности существования в замкнутом пространстве. Какой мы видим советскую действительность у них? Такой, например, как у Льва Лосева в стихотворении «Земную жизнь пройдя до половины...» (книга «Чудесный десант»):

...но в грязных робах тут вошел конвой,
и я был унесен нечистой силой.
Наморща лобик, я лежал в углу.
Несло мочой, карболкой и могилой.

В меня втыкали толстую иглу,
меня поили горечью полынной.
К холодному железному столу

потом меня доской прижали длинной,
и было мне дышать запрещено
во мраке этой комнаты пустынной.

Чеканные дантовские терцины в переложении на советский переносят нас... куда? В психушку? Спецмедвытрезвитель? Ментовский «обезьянник»? Решайте сами.

Вот и приходят поэты к выводу, что:

по теории Ницше
есть реальность в ином
жизнь загробная нынче
а земная потом
(Сергей Чудаков)

В связи с тем, что жизнь наша происходит «за гробом», нельзя не вспомнить произведение другого эмигранта — «Эдем» Алексея Цветкова. Почему поэт так назвал свой сборник? С иронией? Следует читать наоборот? Все гораздо сложнее. «Эдем» открывает новый этап в развитии тезиса «ад на земле». Мы наблюдаем не просто перемещение ада на землю, но гораздо более страшное явление — полное искажение вечных понятий и ценностей, таких как: жизнь/смерть, рай/ад, грех/добродетель, правда/ложь. Эти понятия перестают четко осознаваться, теряют свой смысл: «*и смерть сама у многих под сомненьем / за явным исключением чужой*».

«Эдем» — не Аид, и тем более не классический ад с чертями и грешниками, это мир привычный и обыденный, но существующий по законам театра абсурда. Не случайно мы находим в «Эдеме» историю о заговоре кукол, укравших сценарий, чтобы вырваться из-под власти сценариста/режиссера, и прочитавших в этом сценарии историю о заговоре кукол... Роль сценариста исполняет загадочное существо по имени Иалдаоф (искаженное отражение Бога). Он правит эдемской действительностью, и он же «правит» «текст».

Герои «Эдема «*...все умерли давно*», но они продолжают жить, бороться с режимом, стучать в органы, писать стихи и статьи, ставить пьесы, рисовать картины. Делают они это в состоянии непреходящего опьянения («*всем нолито уже*»), чем абсурдность усиливается. Впечатляет список смертей героев: «*исчез без следа*», «*разбился насмерть*», «*тоже упал с балкона*», «*приняли нембутал*», «*однажды повесилась*», «*одна может быть умерла куда-то замуж*» и так далее.

В этом мире все искривлено и все подвергается сомнению. Существование в нем неестественно и призрачно:

когда межевали свет и тьму
осталась полоса сверхсметных сумерек
лесостепное кочевое волчье
временами бредится мы оттуда родом

Это жизнь (она же смерть) не в раю, не в аду (эти понятия обессмысливаются), а в сумеречном пространстве, где нет ни света, ни тьмы, жизнь «между волком и собакой», как в великом романе Саши Соколова.

Процесс распада «вечных ценностей» продолжается и сейчас, в современной поэзии почти ничего не остается от четких и строгих идеальных построений Данте. Потерянная после революции мировая ось Добра и Зла, Рая и Ада так и не восстановилась.

Но в поэзии рубежа прошлого и нынешнего столетий можно наблюдать новую вспышку интереса к теме загробного мира. Поиски поэтов в этой области резко активизировались.

Другое дело, что все зыбко и текуче в современных поэтических концепциях «загробности».

Одни уверяют: «*Ни рая нет, ни ада, / ни логики земной...*» (В. Гандельсман), другие предлагают «*астральною аортой / азимутировать Аид*» (А. Федулов). Часто бывает непонятно даже, с чего начать: «*я пишу тебе в некий астрал, — если верить Блаватской*» (Ю. Ряшенцев), «*не зная, где рай и о чем там поете*» (И. Лиснянская). Пора бы вспомнить о временах Батюшкова и Пушкина, затеять испытанным дедовским методом разговоры в царстве мертвых, выведать «*географию преисподней*» (А. Левин). Марине Цветаевой еще удавалось подслушать загробный диалог « — *Здорово, Сережа! / — Здорово, Володя!*» или обратиться к Рильке:

Что за горы там? Какие реки?
Хороши ландшафты без туристов?
Не ошиблась, Райнер — рай гористый,
Грозовой? Не притязаний вдовьих —
Не один ведь рай, над ним другой ведь
Рай? Террасами? Сужу по Татрам —
Рай не может не амфитеатром
Быть.
(Марина Цветаева)

Но уже полвека назад все попытки наладить сеанс связи оказывались тщетными:

— Отзовись оттуда! —
— Нет, не отзовусь! —
— Я живу покуда! —
— Нет, не отзовусь! —
— Что там, отзовися! —
— Нет, не отзовусь! —
— Где ты в небе, в выси? —
— Нет, не отзовусь! —
— Иль ты близок к Раю? —
— Нет, не отзовусь! —
— Может, ты страдаешь? —
— Нет, не отзовусь! —
(Евгений Кропивницкий)

Еще тридцать лет назад продолжали поэты обращаться все с теми же вопросами и к тем же опытным следопытам, прежним парламентерам: « — *Как там, Языков, в мире ином? / — Холодно, Пурин...*». Сегодня, увы, этих вопросов уже почти никто не задает...

Вот и снова то «*курсируем между раем и адом*» (Б. Кенжеев), падаем «*в слепящий астрал*» (М. Дынкин), «*в провал небес, студеный, голубой*» (В. Фролов), «*на крестной трассе "от Коцита к звездам"*» (В. Краско), то в который раз открываем Ад на земле. И земная наша жизнь ничем не отличается от жизни загробной:

тьфу на Геенну, Суд et cetera —
все выдумки — гудели до утра
ах, дарлинг, дарлинг, с нас и взятки гладки
здесь я не помню... в грудь вошел стилет...
очнулся — Лета, здравствуй, сколько лет
прими штрафную и айда на блядки
(Михаил Дынкин)

«*Всех святых распяли черти, / Бог, наверно, выходной*» — поет Ю. Шевчук. Но что толку возлагать ответственность на Бога, если человек в наше время ощущает себя «мертвым» и не может в самом себе разобраться? «*Мы мёртвый человек / такой каким мы был / никто и никогда ни присно ни аминь*» (А. Левин).

нас нет никак мы созданы из вздохов
из допущений и негодований
из слез и всхлипов тех кто нами был
на елисейских выселках отныне
где так черны стрижи и кипарисы
и метит камни оловом река
(Алексей Цветков)

Тема «*привета с того света*» (Ю. Шевчук) сегодня снова в центре внимания. Вот свежий римейк антиутопии, картинка «рая» не «потерянного», но «обретенного»:

На завтрак в раю наливают компот.
Вернувшихся — ловят у самых ворот.
Годятся и ангел, и лось, и верблюд.
А в нашей больнице лежачих не бьют.

Бесхитростной лаской и чувством простым
их радуют долгие годы
и дарят им судно, венок и костыль
на праздник нелетной погоды.
(Альбина Синева)

Кто же виноват? На этот вопрос пытался ответить еще протопоп Аввакум: «Выпросил у бога светлую Россию сатона...»

У современных поэтов есть и другие версии ответов: «*дьяволу продал нас Сталин / И дьяволу продался сам*» (А. Решетов), «*Бес продал Россию маркизу де Сталь, / Смеясь над нелепой страной*» (Н. Батхен). А может, сами мы и виноваты, как писал перед смертью Алексей Решетов:

Раздумывать долго не надо —
Погрязшие в блуде и зле,
Хотим мы кромешного ада,
Хоть он уже есть на земле.

Минувший век — век чудовищного уничтожения бессчетных жизней. Искусство личного умирания уступило место ремеслу умерщвления целых народов в их нечеловеческой неразличимости. Право умереть лично оказалось попрано. И право на личную могилу и загробный мир — тоже. Только слово поэта может это право восстановить и восстанавливает.

Стрелка кружится, как заводная, *«в рассеянных поисках рая»* (Ю. Кублановский), не стоит на месте. Взгляд в землю, взгляд в небо, взгляд перед собой, взгляд в себя. Но *«в гулком черепе поэта / плещет пасмурная Лета, / черти пляшут ча-ча-ча»* (В. Куллэ). Глубже и глубже, *«минуя артериальный Стикс и венозный Коцит»* (О. Иванова), *"помесь / лейкоцита с антрацитом»*, как назвал его И. Бродский, пока, наконец, не увидишь воочию *«чертей черно-кожие танки / в железах ежей-хромосом»* (А. Борейко). И становится нестерпимо страшно: преисподняя — в нас.

а чертей у меня ровно тысяча бьется, внутри,
им давно надоело и тошно в таком геноме,
только некуда деться, для них это все-таки дом
(Юлия Драбкина)

«Ад это там где знают что рай бывает / там куда невпопад вывозит кривая», — написал Р. Шустерович. Рядовой Василий Тёркин, выясняя *«дислокацию»* «нашей» зоны Того света во время своей знаменитой разведки обнаружил, что *«ни ада нет, ни рая»*. Через несколько десятилетий для другого бойца, офицера из стихотворения Э. Лимонова *«Майора убили потом в Чечне...»*, рай и ад уже будут нанесены на карту. Известная Тёркину стена, разделяющая преисподние, к тому времени рухнет, да вот страсть к переделу границ так и останется:

Я надеюсь, майор, ты попал в рай,
И рай твой ведет войну
С адом соседним за райский сад,
Примыкающий к ним двоим.
Я надеюсь, майор, что твой отряд
Наступает сквозь адский дым.
Что крутая у вас в раю война,
Такая, как ты любил,
Как Сухуми взятие, так и на-
ступленье подземных сил.
(Эдуард Лимонов)

Для русской поэзии не существует прямых путей: пространство искривлено, а мироздание раздвоено, сплющено, раздавлено. Чудовищный кроссинговер между Тем и Этим светом, между душами усопших, душами живых.

Вот и молишь Господа, чтобы сохранил душу, не обретшую на земле покоя, в каком-нибудь *«гугле всех вселенных»* (А. Цветков) и *«виртуальном Элизиуме»* (Ю. Кублановский). Веришь, что увезет ее *«Белый лодочник»*, *«погружая весло в пространство» «в четвертое измерение, / А оттуда в пятое, а потом в шестое»* (М.Крепс).

Привычная космография Аида устарела и требует нового Галилея. И кандидаты в Галилеи имеются. Ад на земле, это бесспорно. Но ось должна быть направлена в небо. Федор Сологуб верил в свой собственный Эдем на *«тихом берегу синего Лигоя»* на *«Ойле далекой и прекрасной»*. Сологубовское же *«сиянье ясного Маира»* освещает ныне Луну и другие эдемские *«сферы небесные»* в стихах Михаила Квадратова.

В данный момент в поэзии также можно наблюдать самое начало перемещения загробного мира в виртуальное пространство. Наше мышление сегодня все глубже и глубже погружается в «Диптауны» компьютерных программ, в густой туман виртуальной реальности:

Уж какие, к черту, правила игры
И фри лав на дискотеке «Белый соболь»,
Если, брезгуя донашивать миры
За другими, мы построили особый.
Мимо Гадеса, Аида и Эреба
Проскочили — и упали, типа-опа,
В совершенно одинаковое небо
Из стандартного набора «Photoshop'а».
(Инна Домрачева)

Построение «особых миров»... Это «строительство» в поэзии находится еще на начальном этапе, литераторы-фантасты здесь далеко опережают поэтов. Но процесс несет в себе определенную опасность — «одинаковость» и «стандартность» компьютерных средств создает упрощенную картину. Хотя компьютеризация Аида в поэзии — явление еще достаточно редкое. По-другому обстоит дело с математикой.

Изучая нашу поэзию, новый Флоренский пока не смог бы создать математической модели современного загробного мира, хотя тенденция привлечения отдельных математических категорий и атрибуций для осмысления данной темы уже наметилась.

Одна из основных черт новой поэзии — то, что старый дантовский круг, начиная с пифагорейцев считавшийся самой совершенной геометрической фигурой, неуклонно превращается в квадрат.

«Блаженный барабан разбит на семь кругов, / И каждому семь раз положено развиться...», — написал двадцать лет назад Александр Еременко. И это одно из редких упоминаний круга, потому что, начиная с конца прошлого века, круг как символ все чаще трансформируется в квадрат, проекцию души, которую мы носим, как *«куб в себе»* (И. Жданов). Все очевиднее, что *«черная кайма / смыкается в квадрат»* (Е. Хорват).

С точки зрения религиозной традиции круг всегда символизировал дух, а квадрат — тело, материю. Диаметр круга являлся символом рационального, диагональ же квадрата — иррационального. Но это только одно из возможных объяснений господства квадрата в современной поэзии (победа материи над духом). Есть и другие аспекты глубокого осмысления квадрата:

Как ни развертывай, не вызволишь креста,
выходит лишь квадрат, незримый или черный.
Как оборотня шум, его молва чиста
и хлещет из ушей божбой неречетворной.
[...]
Допустим, это ад, где каждому свое:
ни темени, ни тьмы, но остается с теми,
кто черный куб влачит как совесть и жилье,
горами черепов изложенная тема.
(Иван Жданов)

В приведенном отрывке совмещаются очень многозначные символы. Душа у Жданова — «куб», а «квадрат» — ее проекция. Но в наше время невозможно «вызволить» из квадрата — крест. Использование в ткани поэтического текста математических терминов метафорически указывает на глубокий кризис духа — отсутствие Бога в мире и в нас, распад и исчезновение нравственных ориентиров. Образ «черного куба» мы находим еще и в более ранний период — в стихотворном цикле Даниила Андреева «Темное видение». Там «черный куб» интерпретируется по-другому, чем у Ивана Жданова:

Ал куб
новой ратуши;
За ним,
прост и груб,
Мазком
Мглы, как ретуши, —
Нагой
черный куб.
(Даниил Андреев)

Это описание реальной Москвы 30-х годов, и описание реального здания — бывшего института Маркса — Энгельса — Ленина напротив Моссовета. Но как всегда у Даниила Андреева, через реальность просвечивает иной мир, в данном случае — демонический, чьим зловещим символом предстает черный куб, означающий то же самое, что у Ивана Жданова — порабощение и умерщвление души силами зла:

Бренчат
гимн отчизне...
Но шаг
вял и туп.
Над сном

рабьей жизни,
Как дух,
Черный Куб.
(Даниил Андреев)

Есть и другие способы осмысления тех же проблем. У Евгения Хорвата мир превращается в координатную плоскость, а дантовская мировая ось — в призрачное скопление точек на этой плоскости:

на абсциссе с ординатой
наш Спаситель был распят.
За стопой Его распятой —
ось незримых аппликат.

«...То, что снаружи крест, то изнутри окно», — так в другом своем стихотворении написал И. Жданов. Когда мы наблюдаем жизнь из окна, мы видим лишь квадрат. Для русских поэтов квадрат всегда черный, с иррациональными нашими корнями в диагоналях.

Черный квадрат — это наша спесь,
Наша низость и наш ад.
И в час, когда все закончится здесь,
Там будет черный квадрат.

Черный квадрат поглотит миры
И звезды, и белый свет —
Все слопать рад черный квадрат,
Назад возвращенья нет.
(Александр Тимофеевский)

С точки зрения гештальт-психологии, квадрат — фигура идеальная. Квадрат белого цвета — идеал Добра, черного — Зла. Но мы видим квадрат только во фронтальной плоскости, а в этой плоскости он предстает «Черным квадратом» Малевича. Эта фигура всегда для нас выкрашена знакомой краской, имеет известный с детства «колёр локаль»: *«Русая Русь моя, в черный квадрат / черти заталкивали стократ — / полно, тебя ли?»* (В. Леонович).

Впрочем, с идеальностью квадрата можно поспорить, ведь одно из геометрических определений круга это — «многоугольник с бесконечным числом сторон». В случае квадрата число сторон уменьшается до четырех, фигура приобретает жесткую форму, совершенство круга редуцируется. И, может, по этой причине квадрат больше, чем круг, соответствует представлениям новых поэтов о мире, а «черный квадрат» ассоциируется с загробным миром и со смертью вообще.

Если взглянуть на эту фигуру, отраженную в кривом зеркале, она окажется искаженной. Квадрат будет сдавленным или растянутым, скрученным или изогнутым, и не избавит нас от

ощущения, что кто-то приложил грубую внешнюю силу — или притяжения, или отталкивания, увлекая в область, отдаленность которой даже трудно представить — *«по Ту Сторону Того Света»* (Е. Хорват). Искажение никогда не присуще самой форме, оно возникает между тем, что мы воспринимаем в данный момент, и следами, оставленными в нашей памяти от увиденного прежде. *«Вот и тебя / Вписали в Черный Квадрат»* (М. Калинин).

Так в наступившем веке круг упорно искажается в квадрат, квадрат трансформируется в уродливое кривобокое и угловатое потустороннее пространство. *«Вписывай круг в квадрат»* — так написал И. Бродский в своем «Назидании». Но почерневшая душа продолжает мечтать о белом квадрате. *«Белый на белом, как мечта Казимира...»* (И. Бродский).

...в общем, белым по белому начерно вкось
точно шарик теряет несущую ось
и становится беспозвоночным
не удержится бедный, а я не держу
я и сам, между прочим, иду по ножу
сделав ручкой чудовищам блочным
я и сам как бы взвешен и найден пустым
вместо ворота — ворон, скворешник — костыль
арлекин с валтасаровской рожей...
и летит биополем (замёрзшим, заметь)
на серебряном пони сестра моя Смерть
обволакивать брата порошей
(Михаил Дынкин)

Неудивительно, что в наше время осмысление жизни после смерти происходит в математических категориях. Удивительно, как иногда совмещаются в одном стихотворении разные пласты философии, математики и культуры, создавая особое противоречивое единство:

Круг вписывается в квадрат,
В центр помещается пустота,
Подбивается смета затрат,
Называется «Несение креста».

В лимбе судачат, смеются, пьют,
Платят дань законным страстям,
В центре — холод, застывший пруд.
Интегрирование по частям.
(Рафаэль Шустерович)

Квадрат остается предметом размышлений поэтов. Метаморфозы квадрата не закончены. Он становится еще «квадратнее», растет и вширь и вглубь:

Пора признать, что, правду говоря,
судили мы неискренно и грубо,
но истина вплелась, благодаря
господней воле, в квадратуру куба,

квадрата, тора — Торы! — всех святых
мы вынесли, как бедствие во мраке,
и вот уже сиянье золотых —
не куполов — монет — склоняет к драке.
(Илья Будницкий)

Такая деформация квадрата означает дальнейшее искажение внешнего и внутреннего пространства, ведущее этот мир к его концу. По крайней мере, сам автор не исключает такой возможности:

А если что и обратится в прах —
то воскрешенья лично мне не надо —
забавно было побывать в мирах,
ведомых по пути самораспада.
(Илья Будницкий)

Впрочем, деформируются не только геометрические фигуры-символы. Довольно часто в современной поэзии объём превращается в плоскость: «выцвел и съёжился двухмерный мир» (А. Цветков).

Масштабы искривления и нарастание ошибок увеличиваются почти по законам математической теории хаоса:

Выплывая со дна, подо льдом годовое кольцо растолкни —
он сойдется опять и поставит тебя на колени,
где трехмерный колодец не стоит плевка,
Пифагор по колени в грязи, и секущая плоскость татар.
В этом мире косом существует прямой пистолетный удар,
но однако и он не прямей, чем прямая кишка.
(Александр Еременко)

К чему это ведет? К тому, что вселенная сужается до точки, что означает смерть — неважно, мира или самого поэта...

Мне страшно, Господи. Зане
я не томлюсь в духовной жажде
блаженства вечного; ко мне
Твое неприменимо также

и наказание в огне, —
письмен перебирая четки,
что есть оно, шепчу как не
смерть, уподобленная точке?
(Евгений Хорват)

Но что будет, когда и точка исчезнет? Самый страшный вариант того, что «за гробом», — пустота, которая по Бродскому — *«И вероятнее, и хуже Ада»*. В наши дни эту тему продолжил Олег Чухонцев — *«ибо в царстве теней пригрелся / пожирающий знак зеро»*.

Поэтам всегда хотелось верить, что «*Всего прочнее на земле печаль / И долговечней — царственное Слово*» (А. Ахматова), что «*...новый Дант склоняется к листу / и на пустое место ставит слово*» (И. Бродский), но сомнения оставались. Что ж, будем думать, что каждому дается по его вере.

Обзор развития математической символики в поэзии был бы неполным, если не упомянуть еще одной очень значимой геометрической фигуры — пентаграммы (она же — пятиконечная звезда). Пентаграмма имеет весьма долгую историю — от философии пифагорейцев до различных эзотерических учений и магических обрядов. В русской поэзии она воспринимается как зловещий символ, признак земного ада: «*...свеченье красных пентаграмм / над башнями Кремля*» (Л. Лосев). Как не вспомнить инфра-Москву Даниила Андреева? Она тоже освещалась тем же страшным светом кремлевских звезд:

Этих кровавых светил пятизвездье
Видишь?
Эти глухие предзвучья возмездья
Чуешь?
(Даниил Андреев)

В совсем недавнем стихотворении нашего современника М. Квадратова этот символ появляется вновь: «*Светят звезды Пифагора / Над Кремлем...*», означая уже саму смерть либо призрачное потустороннее существование.

«И ПОКА ЗВУЧИТ СТРУНА, Я ДАЮ ИМ ИМЕНА...»

Карту по значению можно сравнить с книгой: книга означает знания, собранные многими поколениями, карта — постижение пространственного устройства мира. Новые карты Аида символизируют и то и другое. Методы и инструменты поэтов-картографов постоянно изменяются. Отнюдь не заслуга Эратосфена в том, что пространство Аида в большинстве случаев перестало быть плоским, это заслуга поэтов. Как правило (об исключениях сказано выше), Аид имеет 4D измерения, где четвертым параметром неизбежно становится время. Кипрегель и теодолит уступили место компьютеру, а Интернет ныне позволяет без особого труда проникнуть во врата Аида, пересечь труднопроходимые реки и болота. Новые технологии способны укрупнить масштаб, «провести» по любому маршруту, «посоветовать», как лучше добраться из одного топоса в другой.

Что нового появилось в современных картах того света? Прежде всего, так и не отыскался хозяин тех мест, о котором позабыли еще со времен византийских проповедей Евсевия Кесарийского и гимнов Романа Сладкопевца, где Аида еще можно было встретить персонально. Сейчас Аид воспринимается только как загробное пространство, Тот свет.

Любая карта предполагает наличие путешественников, которые либо ею пользуются, либо наносят на нее новые области. Путешествовать в царство мертвых можно по-разному. Во времена Александра Галича это было чрезвычайно просто:

Но в рай мы не верим, нехристи,
Незрячим к чему приметы!
А утром пропавших без вести
Выводят на берег Леты.

Но времена меняются, научно технический прогресс дает о себе знать. Добраться до преисподней можно теперь не только на лодке, пароме, тонущей субмарине и очередном «Варяге». Поэты предлагают: «*столыпинский вагон*» (А. Гладков), «*кораблик бумажный*» (Б. Рыжий), маршрутку (Г. Чернобровкин), «*трамвайные рельсы*» (Е. Лесин), МЖД и «*эскалаторную лестницу*» (Ф. Чечик), самолет (он же «*летейский ялик*» — А. Цветков), лифт (С. Чудаков).

и меня, и меня

до отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом желтом автобусе
с полосой голубой
(Борис Рыжий)

Есть и эксклюзивные способы доставки: «*На орудийном лафете / Или на дровнях*» (А. Решетов), на санях или в бочке, «*тихоатлантической*», «*пришвартованной к барже*» (Н. Мальцева). К нашим услугам «*ангелы-жлобы*», которые заберут в Аид «*закрутив руки за спину*» (Б. Рыжий), а можно отправиться в путь и без чужой помощи, освоив навыки диггера, как это предлагает Александр Олитский. Но все-таки самый верный способ, классический, солдатский, известен давным-давно:

Долго до рая, пожалуй, идти —
Нет на двухверстке такого пути;
Впрочем, без карты известен маршрут, —
Тысячи воинов к раю бредут!

Скачут верхами, на танках гремят,
Аэропланы туда же летят,
И салютует мертвец мертвецу,
Лихо эфес поднимая к лицу...
(Арсений Несмелов)

Харон, перевозчик в стране мертвых, со времен греков освоил множество смежных профессий. У древних ему была лафа: Харону платили деньги, пусть и небольшие, всего лишь за аренду лодки, на веслах сидел сам усопший. Символисты заставили его

работать, у них он греб сам, А. Несмелов назначил Харона командовать кораблем или субмариной, Саша Черный отправил служить городовым, Б. Поплавский определил в сторожа.

Дальше — больше. В «стальные» годы Харон исправно служил в вохре, а в застойные, если верить Б. Окуджаве, — лодочником-спасателем на лодочной станции. На рубеже веков Харон освоил профессию машиниста и проводника на МЖД (Ф. Чечик), научился управлять паромом (И. Фаликов, С. Кекова, Ю. Кублановский), «*ставить ноль на счетчике*» такси (С. Чудаков), конвоировать преступников (М. Калинин). У одного из наших современников, Ильи Фонякова, возник интересный вопрос: «*Зачем Харону обол? / Куда он девал потом свою выручку?*», «*Ведь он не мог не собрать огромное состояние — / Только подумать, сколько душ / Перевез его челн за тысячелетия!*» Следовательно, логичным становится перенесение в Аид всей инфраструктуры нашей земной экономики: банков, сейфов, кабаков. Ведь сбережения надо либо потратить, либо сохранить! Таково, увы, наше прагматичное время.

Некоторым поэтам Харон в роли перевозчика почему-то не нравится. А. Цветкову, например, гораздо милее Персефона, да и средство передвижения в Аид у него весьма нестандартное:

Где за нерпой тотема в трехмесячный мрак
Персефона стремит умиак

Без внимания поэтов не остался и трехглавый Кербер (Цербер). Опубликованы убедительные данные о породе и характере стража ворот Аида. А. Цветков называет его «*ротвейлером троерылым*». Наблюдатели нередко отмечают дружелюбный «*приветливый оскал*» (Г. Чернобровкин)

Трехглавый Кербер припадает к земле, скулит,
стелется, взвизгивает, виляет змеиным хвостом,
подпрыгивает, в щеку лижет, значит, узнал, зверь!
(Борис Херсонский)

Почти никто не помнит, что у трехглавого Кербера был брат, двухголовый пес Орф (наверное, младший). Несмотря на то, что они вместе охраняли вход в Аид, Орфу повезло гораздо меньше, о нем не забыл только Е. Хорват:

Аки червь сползает хор
В ад держась за вервь
Что ему спускает Орф
Отворяя дверь в

Но самые любопытные изыскания проведены «ботаниками» Аида. Царство мертвых у греков и римлян для современных садоводов-любителей интереса не представляет. За воротами в саду «безвидного» владыки у античных авторов росли не плодовые,

а «бесполезные» деревья — плакучая ива и серебристый тополь, ассоциирующиеся с разлукой и смертью. Асфодели в античных произведениях несли ту же смысловую нагрузку. Это хорошо разрастающийся на пустырях бесполезный сорняк, высасывающий из скудной земли все соки. Его синевато-бледные цветы напоминают щеки лежащего на смертном одре.

Русские поэты «окультурили» в Аиде многие растения. Жуковский посадил там лавры, Пушкин — яблони. Символисты, пришедшие в восхищение от «Острова мертвых» Бёклина, развели в царстве мертвых кипарисы, у З. Гиппиус в «новодантовской» поэме пахнет сиренью, Б. Поплавский предпочитал розы.

«Инфернальная» флора в поэзии наших современников отличается гораздо большим разнообразием, здесь можно найти множество растений — от рябины «шелка персидского» и ели «шемаханского бархата» Светланы Кековой до «*чичажника и мантульника, лопушаника и чиграка, волчьего локтя, загогульника, самоеда и буерака*» Александра Левина.

Растения в загробном мире — это знаки-символы. Р. Шустерович высаживает в преисподней эвкалипты, символизирующие вечность, М. Дынкин — «*камыши смерти*», а И. Караулов — «*картонные тополя*», ассоциирующиеся со «ста годами одиночества» маркесовского Макондо. У О. Чухонцева «*граммофончик звенит вьюнка / в инфернальных уже пределах*».

«Языком цветов» можно выразить время не только как категорию, но и дать характеристику конкретного отрезка временной ленты, например, нулевых годов нынешнего тысячелетия. Словно взятые из рекламных врезок журналов «Вестник цветовода» и «Мой прекрасный сад», произрастают в стихотворении Ирины Васильковой «*тмин, барбарис, гипсофила, клематис, мелисса*»; «*астра, астильба, лимонник, лилейник, алиссум*». Райские кущи! Но внимательный читатель догадается, что этот «элит-букет» призван символизировать время, когда на наших грядках обрели популярность эти еще вчера редкие растения. Вот только рай ли это, если «*корнем врастает в Аид узкоглазая ива, / тёмное время впивает в смиренье жестоком...*»?

Известно, что великий картограф Анаксимандр из Милета впервые обозначил на карте Европу и Азию. В атласах поэтического Того Света долгое время существовали только греческий Аид и Дантов Ад.

Но в XX веке в русской поэзии произошли «Великие географические открытия». Еще пятьдесят лет назад это было большой государственной тайной:

Где тут линия позиций, —
Жаль, что карты нет со мной, —
Ну, хотя б в каких границах
Расположен мир иной?..
(Александр Твардовский)

На рубеже веков новые топосы загробного мира, заимствованные у других народов, появились на обновленных картах .

Буддистская Мория у Николая Рериха, монгольские священные горы у Сергея Кондратьева, Лимб и Чистилище у Вячеслава Иванова были нанесены еще сто лет назад, но это долго скрывалось. В наши дни на картах Аида все более четкие очертания приобретают скандинавская Валгалла (С. Кекова, В. Месяц) и Небесный Алтай (Р. Бухараев), Небесные Кама и Камбоджа (М. Квадратов).

В современной поэзии появились и новые обитатели русского загробного мира. Из «египетской тьмы» выступают Анубис, Осирис и Изида (М. Квадратов, С. Кекова, М. Дынкин, Д. Григорьев), из мифов сибирских и финно-угорских народов пришли «*мамонты*», а из древнегерманского эпоса — «*каменные гномы*» Михаила Квадратова. Человекоподобного Аида ныне сменил мамонтоподобный Мамут. У Светланы Кековой хозяином подземного мира является крот: «*Узор земных вещей подобен ряби вод, / подземным городам, где есть владыка — крот...*»

Кроты же Квадратова заселили «подземье» как-то сами собой, без влияния мифологии (хотя в славянской мифологии кроты встречаются, но у них другие функции):

створы чорные распахнуты
на три дня
под землей кроты и мамонты
ждут меня

Русским поэтам в прошлом веке пришлась по душе космография ада у Данте, но римско-католические Лимб и Чистилище долгое время отсутствовали на карте потустороннего мира. В наши дни эти «части» того света не новость, их запечатлели С. Липкин, А. Пурин и другие.

Кажется, только ислам остался в стороне. Многие уверены в этом, как, например, остается уверен Владимир Беляев, «*не найдя в Аиде минарет*». Но это не так. Равиль Бухараев в «Поэме мертвых» начинает спуск в преисподнюю по «*спиральной лестнице* минарета», а Ольга Гришина и Светлана Кекова выводят своих героев на «*висячий мост*» «*над бездной ада*», странным образом похожий на мусульманский Сират, который, как известно, «тоньше волоса», а шириной в лезвие ножа.

Все чаще и чаще новые «ойкумены» наносятся на карты Иного Мира. Классические писатели уступают место авторам литературы фэнтези, Гомер соседствует с Толкиеном, Измиэр — с Аидом.

Подземелье драконов, аид, нарожденье химер...
А над ним — горделивейший град — золотая громада:
зачумленный мирской-воровской-колдовской Измиэр
покрывает ладонями крыш это логово ада.
(Елена Лапшина)

Сегодня, через сто лет после Серебряного века, мы вновь переживаем взрыв интереса к «адской теме». Таяние ли арктических льдов, грозящее новым всемирным потопом, тому виной, адские ли тоннели коллайдера, кто знает. «*Апокалипсис страшен не гибелью, / а постоянным продолжением*», — убеждает читателя В. Монахов в своей «Мертвой Книге Мертвых». Что нанесет на карту Аида век двадцать первый? Что нас ожидает, если по последним данным поэтической разведки, «*в Аиде / нашли нефть*» (Р. Савоста)?!

Владимир ШПАКОВ

/ Санкт-Петербург /

Взгляд с балкона — на Россию

Эрика Косачевская. Балкон.
СПб. «Алетейя». 2009

Роман «Балкон» — последнее по времени написания большое произведение Эрики Косачевской. Тем не менее, разговор о ней хотелось бы предварить вспоминанием о двух предыдущих книгах, поскольку здесь прослеживается неявное какое-то единство. Если сопоставить книги Эрики Косачевской, «Местожительство» и «Дочки, матери» с романом «Балкон», то в совокупности получится своеобразный эпос. Своеобразный — потому что здесь нет сквозных персонажей и других явных признаков такого типа повествования. Зато в этих книгах присутствует объединяющий их эпический дух, исторический масштаб, что важно, выраженный через частную жизнь людей. Опять же, тут не соблюдается четкая хронология: написанный позже, роман «Балкон» уходит во времени глубже, нежели другие книги, он захватывает еще дореволюционную эпоху. В то время как в «Местожительстве» и в книге «Дочки, матери...» описывалось в основном советское — довоенное и послевоенное — время. Однако формальные признаки тут не очень важны, главное, автор чувствует дыхание времени, описывая его типичные драмы и трагедии на примерах судеб множества персонажей, а это и есть признаки эпоса. Впрочем, роман «Балкон» все-таки отличен от других книг, об этом также нужно сказать. Вышеназванные два романа в каком-то смысле «женские», там преобладают эмоции, конфликты, переживания, да и большинство центральных персонажей — женщины. Роман «Балкон», где главное действующее лицо — мужчина в летах, с серьезной и драматичной биографией, по тональности более «мужской». Автор мыслит тут четко и трезво, по-мужски, вынося взвешенные оценки и раскладывая все по полочкам.

В центре этого романа — потомственный казак, ровесник ушедшего века, Леонид Иванович Селецкий. Прожив длинную и непростую жизнь, в старости он оказался в неком немецком Городе, в котором без труда узнается Кёльн. Живет он там, по счастью, не один, его окружают родственники — дочь, внук, правнуки, но самого дорогого для него человека, супруги Фиры, к сожалению, рядом уже нет. А значит, он все-таки одинок, и жизнь его — это по преимуществу воспоминания, как это нередко и бывает у стариков. Причем здесь, спросите, балкон? Притом, что основное время воспоминаний Леонида Ивановича — время, проведенное на просторном балконе его Кёльнской квартиры. «Длительные, проведенные на балконе часы, созерцание расстилавшейся перед ним панорамы Города настраивали Леонида Ивановича на воспоминания. Полуприкрыв глаза, он перебирал, не спеша, страницы своей длинной, богатой событиями жизни...»

Страниц и впрямь было немало, начиная с революционной Каховки и заканчивая немецкой землей Северный Рейн-Вестфалия начала двадцать первого века. Главное события его жизни — встреча с будущей супругой, с которой они учились на юридическом факультете (точнее, молодой Леонид Иванович специально пошел на юрфак, пораженный красотой случайно увиденной абитуриентки). Встреча породила взаимное и крепкое чувство, которому пришлось выдержать ряд испытаний на прочность. Казаки и евреи — это два разных космоса, два уклада жизни, так что представителю традиционного русского казачества пришлось в своей жизни кое-что пересмотреть, обдумать, что в итоге сделало его не представителем безликой массы, а мыслящей личностью. Его супруга была такой же личностью, поэтому союз вопреки всем трудностям и семейным конфликтам оказался прочным. Один из таких драматических конфликтов произошел после рождения дочери Леры, когда они жили на Украине, в Харькове. Леонид Иванович изменил супруге, она ему этого не простила и развелась с ним. Именно в этот период Леонид Иванович получает пять лет лагерей (время — 1937 год).

Воссоединение семьи произошло после окончания срока в Сибири, во время войны. Уже в хрущевскую эпоху, когда миллионы заключенных были реабилитированы, они переехали поближе к взрослой дочери, в Подмосковье. Жизнь шла своим чередом, родился внук, он тоже вырос, и наступил тот момент, когда тоскливая советская действительность стала давить это семейство, как пресс. Тогда-то и возникла мысль об эмиграции в Германию по еврейской линии. Как ни удивительно, но больше всего этому переезду сопротивлялась Фира, единственная настоящая еврейка в большом семействе. И она же единственная не дожила до момента отъезда, умерла от рака легких.

Значительное место здесь уделено описанию жизни в эмиграции. И тут, конечно, сразу видно, что автор пишет о том, что хорошо знает, что пережито не только в общем, но и в мельчайших нюансах. Пишет о знакомых, родственниках, о том обшир-

ном круге россиян, которые осели в нынешней Германии. Это многие тысячи людей, фактически — субэтнос в рамках немецкого государства, и описание жизни этих людей, думается, будет интересно многим читателям. Жизнь эта, надо сказать, не сахар, любой эмигрант с большим трудом вписывается в чуждую реальность, тем более — эмигрант из России. Как правило, ты живешь на «социале» и являешься вроде как человеком второго сорта. И даже если находишь работу, как с ходу нашел ее «рукастый» Антон, внук Леонида Ивановича, она далеко не всегда является хорошо оплачиваемой и престижной. При этом в книге описана целая череда эмигрантских судеб последней, самой поздней волны, то есть, автор не ограничивается примером одного семейства. Естественно, взгляд эмигранта направлен не только внутрь своей диаспоры, но и вовне, на более успешных немцев. И здесь надо отдать должности такту и наблюдательности Эрики Косачевской, которая показывает представителей коренной нации без всяких прикрас, но в то же время без малейшего желания их опорочить. Подмечается все, и приемлемое и неприемлемое: и шеренги мужчин, опорожняющих после пивного карнавала свои мочевые пузыри — прямо на клумбы, и деликатное отношение немцев к инвалидам. «Время показало, что заграница, даже немецкая, считающаяся среди эмигрантов лучшей по отношению к другим, в том числе даже американской, на месте выявила огромное количество проблем, не заметных издалека». Тут важно, что автор не проходит мимо этих проблем, но не смакует их, не плюет в руку дающего (а германское государство выступает, хочешь или нет, именно в этой роли). Самое существенное отличие этого романа заключается в том, что здесь немалая часть страниц отдана историографии, размышлениям и рассуждениям персонажей над тем, каким образом Россия проживала последнее столетие своей нелегкой истории. Когда автор к этому переходит, повествование, как таковое, замирает, и далее происходит уже не движение сюжета, а движение мысли. Эта мысль может касаться и причин революции, и сталинских репрессий, и происхождения христианской религии, и положения постперестроечной России — в общем, всего того, что волнует неравнодушного человека русского происхождения. Формально это либо поток мыслей самого Леонида Ивановича, либо беседы с его приятелем Борисом Абрамовичем. Но мы-то понимаем, что на самом деле здесь прямым текстом, без особых художественных изысков высказывается автор.

Насколько выигрышным является такой отход от собственно повествовательной линии? И насколько — проигрышным? Тут нет однозначного ответа, как нет ответа на то, хороши или плохи историко-философские штудии Толстого, включенные им в «Войну и мир». Кто-то отдаст предпочтение непосредственному сюжету воспоминаний, а кто-то, без сомнения, поразмышляет вслед за автором над этими, опять же, неоднозначными и не всегда разрешимыми проблемами.

Хотя в финале побеждают, как и положено в художественном произведении, все-таки чувства. Жизнь дарит Леониду Ивановичу новую любовь, это совсем молодая девушка, которая, как ни удивительно, тоже в него влюбляется. Казалось бы, жизнь против этого чувства, да и здоровье главного героя уже не позволяет выстраивать радужных жизненных перспектив. В финале ему становится совсем плохо, дело вроде бы идет к трагической развязке, однако автор волевым решением дарит герою жизнь, а читателю — хэппи-энд. Что ж, это право автора, в конце концов, в реальной жизни бывает и так, и этак.

Кроме того, в книгу вошла одноактная пьеса под названием «Юбилей» с жанровым подзаголовком: «Сцены из жизни московской интеллигенции семидесятых годов двадцатого столетия». Написанная в 1976 году, эта пьеса основана на конфликте ценностей членов успешной советской семьи. Старшее поколение, предав идеалы молодости, окончательно погрязло в цинизме, двурушничестве или, как тогда выражались — в мещанском болоте, в то время как младшее (в первую очередь сын Кирилл) не желает жить по таким законам. Здесь явно ощущается пафос драматургии Виктора Розова, в первую очередь пьесы «Гнездо глухаря», хотя «Юбилей», конечно, произведение вполне самостоятельное. Насколько оно актуально для нашего времени? В каком-то смысле — актуально, поскольку мещанство, с которым отдельные идеалисты боролись на излете советской жизни, ныне стало государственной идеологией, альфой и омегой российской (и не только российской — общемировой) жизни. Правда, степень цинизма того времени и времени нынешнего — несравнимы, и нравственные конфликты семидесятых годов в контексте нашей эпохи выглядят подчас детскими шалостями.

Виталий Амурский

/ Париж /

Необузданные мысли

* * *

Буква «я» в алфавите, конечно, последняя, но к моему начальству это никакого отношения не имеет.

* * *

Пафос это то, что возникает, когда не остается никаких аргументов.

* * *

Классическая история России от «лапочки Ильича» до «всё до лампочки».

* * *

Вопрос о том, горят или не горят рукописи, следует задавать пожарным.

* * *

В начале 60-х годов, в период «хрущевской оттепели», когда многие выступали со своими стихами под открытым небом, в Москве у памятника Маяковскому нередко можно было увидеть и СМОГовцев и кого угодно. Поэты появлялись разные — известные и неизвестные, но никто слушающим специально не представлялся. Просто — читал. Замечательно при этом было вот что — читал только при поддержке слушающих. Самой прямой, физической. Дело в том, что в нижней части монумента Владимиру Владимировичу мрамор слегка покатый, если прошел дождь или был снег, устоять на нём без поддержки очень трудно. Ноги соскальзывают. Так что те авторы, чьи стихи ко двору не приходились, покидали эту трибуну довольно быстро при, так сказать, полнейшем соблюдении демократии: их просто — в самом первоначальном значении этого определения — не поддерживали. А то, что милиция нередко разгоняла такие встречи — это уже дело иное. Это к поэзии никакого отношения не имело.

* * *

Ах, если бы краткость была сестрой таланта, скольких Чеховых дала бы миру армия!

* * *

Эпохе ленинизма предпочитаю — эллинизма.

* * *

Мама — Одесса, папа — Ростов, а о себе говорит будто сирота казанский.

* * *

Между прочим, (В)рубель Мамонтову в копеечку обошелся.

* * *

Пахнут ли деньги? Всё зависит от того, в чьем кошельке они побывали.

* * *

Почки, конечно, набухают. Но в отличие от людей никогда не становятся бухими.

* * *

Даже умные слова, произносимые слишком громко, вызывают негативное впечатление.

* * *

К народным средствам можно (и даже лучше) прибегать без народа.

* * *

Витрина головных уборов: не по Сеньке шапка.

* * *

Дети, сидящие на плечах родителей, всегда выше других.

* * *

Ещё на тему «шапки»: «получить по шапке». В советские времена моей юности со значением: получить пыжиковую или другую (из дорогого материала, дефицитную) в спецраспределителе.

* * *

Не говори: себя казню,
Ослу доверивши казну!

* * *

У глупости глаза всегда невинные.

* * *

Вегетарианцы в кухне, в жизни нередко людоеды.

* * *

Что я думаю о Шолохове? — Господь с вами, ничего не думаю. С какой стати я вообще должен думать о нём? Я думаю сейчас о том, будет дождь или нет, взять ли мне с собой зонтик?

* * *

Разговор на таможне.
— Что это?
— Ящик Пандоры.
— Откройте.

* * *

Чтобы быть идеалистом, надо, по крайней мере, иметь хотя бы какой-нибудь идеал.

* * *

Когда — как «да».

* * *

На каждую проруху — своя порнуха.

* * *

Известная песня «Тучи над городом из стали».

* * *

Новости как и овощи. Бывают свежие. Бывают — не очень.

* * *

Вспомнилось вдруг. Когда в шестидесятые годы в СССР возникли, так называемые, «бригады коммунистического труда», люди их довольно быстро переименовали в «бригады кому нести, чего, куда?». Поистине, народ — поэт.

* * *

О белогвардейцах — ясно. По поводу белофиннов — догадаться не сложно. А белорусы — откуда?

* * *

Кронштадт: слышана матросская песня.
Москва. Не слышны в саду даже шорохи. Матросская тишина.

* * *

Бурлюки на Волге.

* * *

Каждое зеркало имеет в себе много душ. В зависимости от того, кто в него смотрит.

* * *

Умом Россию не понять...
А без ума, над бездной?
В угаре пьяном не унять,
А трезвой?

Умом Россию не понять...
Ах, Тютчева ль за то пенять?

* * *

Написано: «Вместо заключения». Читая, слышишь: «В место заключения». Чуден язык наш, ей-богу!

* * *

Потусторонним вход воспрещен.

* * *

Жаль, что человеческое тепло и центральное отопление вещи не связанные. Впрочем, и холодильник от холода между нами работать лучше не станет.

* * *

Право на кулачество (Запад). Право на куначество (Восток). А что у вас, евразийцы?

* * *

Почему выходные всегда короче дней рабочих?

* * *

Тоска зелёная. Кто это выдумал? Тоска — серая. Зеленый цвет совсем не тоскливый. Серо-зеленый, другое дело. Но говорить о тоске зеленой — обижать зелёное.

* * *

Антично-коммунальная Ахматова.

* * *

Русские цифры:

0,10 Малевич
Рим №3 Филофей
Шанель №5 вел. князь Дмитрий
Квартира №5 Н.Пунин
Палата №6 А.Чехов
150.000.000 Маяковский

* * *

Свято место пусто бывает.

* * *

Неделя бездельника начинается тоже с понедельника.

* * *

Эпикура эпиграмма:
Перекур и двести граммов.

* * *

Кто чай с сахаром пил, а кто — с Сахаровым.

* * *

Грузчики несли околесицу.

* * *

Виртуальный поэт Александр Блог.

* * *

Искренняя вежливость легче всего с людьми незнакомыми.

* * *

Вегетарианец у самоедов. Что бы это значило?

* * *

Поживем — увидим звучит у этого типа, как: *пожуём — увидим*. Может быть, он прав?

* * *

О Вите П. в детстве вспомнилось, и сочинилось:

Гуляя мышью меж котов,
И льстя, как кошка, псам,
Значок носил он «Будь готов!»
К чему, не зная сам.

* * *

В графе пол написал: паркетный.

* * *

Уходит в горы Алитет
И фикуса авторитет
Приобретает раритет

* * *

На полях Истории России. От любви до ненависти один шаг. В обратную сторону идентично.

* * *

Была сверхдержава. Стала смехдержава. Забудем, господа, о Ломоносове. Началось (увы, не впервые) время Ломайносовых.

* * *

Злато и зло — одного корня.

* * *

Да, не о шведской водке я, а об Абсолюте!

* * *

Набоков в бабочке (русские годы). Набоков с бабочкой (Америка). Набоков — бабочка (мир).

* * *

Несёт бутылку, а говорит крест.

* * *

Лицемер — особый прибор для измерения лиц.

* * *

Двести миллионов хамелеонов.

* * *

Филька пишет грамоту.

* * *

Снег тает, а в душе холодно.

* * *

Каждая новая власть всегда уверена в том, что она — навсегда.

* * *

Был у Гоголя портрет, но однажды потребовались деньги и он решил отвезти его на Сорочинскую ярмарку. Так всё это и началось, друг мой.

* * *

Вместо табличек типа: «Осторожно — злая собака», думаю, чаще нужно писать: «Осторожно — злой хозяин» (хозяйка). Думаю, многие собаки со мной согласятся.

* * *

Вору шила
В мешке не утаить.
Ворошилова
Нарзаном не напоить.

* * *

Не боги горшки обжигают, но и бьют их тоже не они.

* * *

Редакторское «В печать» подчас похоже на «В печь! Ать!..»

* * *

— Ууу-родина! (о некрасивой, со злостью). — У-родина о некрасивой, без злости). — У, родина! (о родине, просто — эмоционально). Как много оттенков в нашем русском «у»!

* * *

Бумага все стерпит, да не всё слюбит.

* * *

Белые стихи женских рук.

* * *

На берегу Рузы:
Русалки русы.

* * *

Россия для меня понятие не административно-территориальное. Европа тем более.

* * *

Сходить в банк или ва-банк? — вот вопрос. Ответ: лучше вобаню.

* * *

Дорогой мой, мы о разных вещах говорим. Вы о собственности «частной», а я о «честной».

* * *

Лучше отсебятина, чем оттебятина или отневотина.

* * *

Эрнст Неизвестный — был для диссидентов примерно тем же самым, что Церетели для Лужкова.

* * *

Давние дискуссии о «летающих тарелках». Кто их не помнит! Но почему-то забывают о том, что бывали и летающие вилки, ложки, кастрюли, утюги...

* * *

В 1972 или 1973 году, в то время, когда, живя в Москве, по «настоятельному совету» властей, я подал документы на эмиграцию, пришла вдруг повестка — явиться в районный психдиспансер. Мотив вызова был обозначен ясно: «В связи с намерением выезда из СССР». Мне стало слегка зябко. Один из друзей (художник Спартак Калачев) вызвался помочь. Он знал какого-то врача-психиатра, у которого можно было получить советы, как себя вести в случае ареста. Всего того, что я услышал и узнал в его кабинете, не помню. Врач показался мне человеком не совсем нормальным, хотя захваченные мной в качестве жеста благодарности бутылки коньяка взял вполне нормально. Из того посещения психушки запомнился мне, тем не менее, не он, а, схожий с предбанником, вход в больницу. Плотные решетки, на выщербленной стене плакат: «Ленин с нами». С тех пор помахивающий ручкой вождь и решетка слились воедино.

* * *

Что лучше, когда не понимаете вы, или когда не понимают вас?

* * *

— Коммунисты, вперёд!.. Вот до тех заградительных флажков. Понятно?

* * *

Из той же советчины брежневского периода: вялотекущая переписка.

* * *

«Березка» (валютный магазин) и Есенин?!.. А ведь было, чёрт побери!

* * *

«Кандидатский минимум». Второе слово лучше писать так: мини-ум.

* * *

Начинать фразу с конца — дело нехитрое, если в конце буква «я».

* * *

Услышав иногда «без сомнения», чувствую, как меня охватывает бес сомнения.

* * *

Наука без точности — не наука. Искусство, в котором всё точно — не искусство. Сходство зеркальное. В смысле — перевернутое.

* * *

Новая Россия: сближение до смещения понятий «университет» и «универсам».

* * *

Психодром.

* * *

Лет несколько тому назад почив,
Он нынче образцом модерна
Служит. Почти что классик.
Стих его мной чтим.
Я, помню, с ним беседовал однажды.
Он вечером домой мне позвонил
(Стацинский, впрочем, был
посредником беседы той
нелепой).
Он говорил, что рад
Узреть Париж.
Стихам у микрофона и вопросам
Моим
Открыт душой и сердцем.
Что ещё? Мы полчаса болтали ни о чем,
Пока я мимоходом не сказал,
Что за стихи у нас, увы, не платят.
Мне показалось рухнул потолок,
Я откровенней циника не знал:
Меня поив собою полчаса,
Меня же в краже времени его
Представить захотел
В минуту ту же!..
Смешно, ей-богу, скроен человек.
Нет, как поэт,
Мне Холин
Не чужой,
Но рад я, что не вышла наша встреча.

* * *

Зал был полон пустых мест.

* * *

Жить чем, на что — одно. Жить — во имя чего — иное.

* * *

Познакомьтесь — Кузькин. А это его мать.

* * *

Иная заря будто отблеск преисподней.

* * *

Далекая родственница пня — мачта.

* * *

БАЛТИЙСКИЙ СТИШОК

Освободитель/оккупант:
Огонь и льдина.
Калинин (в смысле «град») и Кант —
Нам всё едино.

* * *

Да, братишка, калоши тоже обувишка.

* * *

Словари бывают не только толковые (Ожегов). Бывают и полутолковые (Большой полутолковый словарь одесского языка В.Смирнова), и бестолковые («За пределами русских словарей» А.Флегона, изд. 1973 г. в Лондоне).

* * *

Известная аксиома, согласно которой прямая линия между двумя точками — самая короткая, кажется, не вызывает вопросов своей логикой. Однако это логика геометров, математиков. Существует и другая, с уклоном философским: всегда ли краткий путь можно считать лучшим?

* * *

Русская тема. Проект. Рассказ начинается так: «Собрались два честных и один нечестный». Или наоборот: «Собрались два нечестных и один честный».

* * *

«Воспоминания» Хрущева — вздохи топора о времени, ручка которого забыла о том, что когда-то была куском дерева, служила хорошо дровосеку («Лес рубят — щепки летят!»).

* * *

В Пярну, за столиком кафе на пляже (3 августа 2005 года), Давид Шраер вспоминая о Москве 70–80-х годов, рассказал, что тогдашний начальник ОВИРа (в Колпачном переулке) — Зотов, пойманный на крупной взятке, застрелился. Интересно, а как сложилась судьба у инспекторов Кошелевой, Акуловой?.. Те, кто, как я, проходил через их кабинеты, наверняка помнят их. Ловлю себя на том, что так, вероятно, после войны немецкие антифашисты задавались вопросами об известных им сотрудниках гестапо.

* * *

Удручающее открытие: мать Леонида Губанова, оказывается, работала в ОВИРе. Но это же ГеБе! ЛИРА из ОВИРа?

* * *

«Третий — лишний»? Простите, а в «Троице» Рублева?

* * *

Не будем все же, друзья, путать страну басков со страной баксов.

* * *

Когда-то давно, при взгляде на одесский порт, мне мерещилось, будто от моря в нем исходит какая-то музыка. Позднее я изгнал это ощущение с позором, как нечто юношески романтичное. И вот много лет спустя всё прояснилось: музыка там действительно была. Причем, объяснялось это невероятно просто (просто по легенде) — в одесском порту утонул рояль Шопена.

* * *

Не сломанный стул? Простите, это еще не значит, он имел какое-то отношение к Александру Македонскому.

* * *

Каждая блоха
Про мои стихи,
Если не «ха-ха»,
То «хи-хи».

Спорить не спешу —
Стих мой плох,
Разве что пишу
Не для блох.

* * *

Вопросы. Человек умный воспринимает их, как определенный знак внимания, уважения к нему. Дурак усматривает в вопросах усматривает попытки поставить под сомнение его знания, обидеть его. Задавая вопрос(-ы), об этом лучше не забывать.

* * *

Владимир Емельянович Максимов рассказывал о Юрии Казакове: «Сидим. Выпиваем, а Юра все о себе, о себе, о себе... Потом вдруг спохватился и говорит: «Извини, что я всё о себе. Давай лучше о тебе... Ты, Володя, *мой* последний рассказ читал?»

* * *

Думая о Казакове, я невольно возвращаюсь к своей юности. К студенческим годам. Как колокольчики откуда-то чисто: динь-динь!.. динь-динь!.. — «Голубое и зеленое», «Адам и Ева», «Двое в декабре», «Плачу и рыдаю...», «Звон брегета», другие. Сейчас, просто перечисляя эти названия, испытываю ощущение какого-то щемления в груди. Кстати, «Зелёное и голубое» есть у Бурлюка 1910-го года:

Презрев тоску, уединись к закату,
Где стариков живых замолкли голоса.
Кто проклинал всегда зеленую утрату,
Тот не смущен победным воем пса.
О, голубая тень, о голубые латы!

Кто вас отторг хоть раз, тот не смутится днем.
Ведь он ушел на век, орел любви крылатой,
О отзвук радости мы вожделенно пьем.

* * *

Вообще, наверное, хорошо, что лично с Казаковым я никогда не встречался. Не знал его. Почти все воспоминания о нем, которые читал, дают образ весьма неприятный.

Да, хорошо, что не знал. Так он остался мне мил и дорог. Вроде Шукшина. Это — о Шукшине писателе. С его судьбой я знаком очень мало и — тем лучше, ибо, подозреваю, что тени официозов, с которыми он общался в жизни, непременно заслонили бы, зачернили бы то, что я любил.

* * *

Фотография молодого Казакова. Без очков. Совершенно незнакомый человек!

* * *

Почему русская душа постоянно тянется к природе? Может быть, в немалой степени, оттого, что та никогда не признавала рабства? Соловьи в клетках не поют. Деревья умирают стоя.

* * *

Не могут деревья и дровосек об одном думать.

* * *

Таким, как Х нужно дарить барабаны. «Стучать» громче.

* * *

— Мы сегодня были у Махровых (имея в виду Кирилла и его жену, или дочь), — говорит мне знакомый одессит, открывающий для себя «русский» Париж. И осторожно: — А ты Махровых знаешь?

— Ну, с Кириллом — шапочное знакомство... Был дома у них раз, лет двадцать назад... Очень симпатичные люди. Но махровых тут (в Париже) тоже хватает...

* * *

Алик Гинзбург в последние годы жизни собирал разные справочники: о русском дворянстве, телефонные... Вроде как Набоков бабочек.

* * *

«На всякий пожарный...» Но ведь не всякий — пожарный.

* * *

Вообразить невообразимое.

* * *

Есть слова, которые я как-то не очень люблю. Например, менталитет. Будто в нем сидит «мент».

* * *

Заметил: лежа на спине, могу думать. На боку — нет. Засыпаю.

* * *

«Афоризмы», Ежи Лец —
Польский скептик и мудрец.
Будь в России этот Лец,
Стал давно бы не жилец.

* * *

В книге воспоминаний Иды Наппельбаум («Угол отражения», СПб 2004) есть интересная, как почти всё, что снимал Моисей Наппельбаум, фотография Константина Федина, датированная 1926 годом. Разглядывая её я не сразу понял, в чем ее особенность. Точнее, особенность запечатленного портрета. В отличие от многих других Федин не смотрит, а *заглядывает* в объектив. Какой-то не очень хороший взгляд.

* * *

Яблоку негде было упасть, но оно все-таки упало.

* * *

Полез в гороскоп. Попал в горескоп.

* * *

Перечитываю Довлатова. Замечательный ироничный ум. Но вместе с тем какая-то рабская зависимость от окружающей реальности. Вне неё — очень советской по сущности — писателя Довлатова не существует. Мне, моему поколению он говорит много. Очень сомневаюсь, что лет через тридцать (если не раньше) будет то же самое.

* * *

На прошлом можно поставить крест, но никак не заплату.

* * *

Господа хорошие, вы в Бога верите. Это хорошо. А Он в вас верит, полагаете?

* * *

Кто и в какой весовой категории лучше других определяют служащие похоронных контор. Так что, подождем. И о «гамбургском счете», пожалуйста, не надо.

* * *

Диоген + ранний Аксенов = «Затовареная бочкотара».

* * *

Гамбург. Гостиница. Ресторан. Пивная. И каждый раз, будьте любезны, счет.

* * *

Глядится Моцартом, а пьет как два Сальери!

* * *

Кому
На ум —
Державин,
Кому —
Наум
Коржавин.

* * *

Кому бублик, кому дырка от бублика. Это верно. Хотя у того, у кого бублик и дырка тоже. Тут либо всё, либо ничего.

* * *

Обращение у того или иного поэта к «вечным темам», увы, не есть признак того, что они приблизились к Вечности. Вот, Александр Кушнер, к примеру, — сплошные «вечные темы». Умно, элегантно, но... как же скучно!

* * *

Иногда с малоприятным человеком лучше сидеть рядом, чем быть напротив. По меньшей мере, не смотришь на него.

* * *

За несколько часов до Нового (2006) года. Долгий утренний разговор по телефону с Марией Васильевной Розановой. Пишет мемуары. Приглашает в гости — попить чаю, поболтать. Веселая фраза: «Сплетня — лучший подарок». — «Мария Васильевна, можно запишу?». Разрешает. Что и делаю. У нее на редкость замечательно развито чувство самоиронии.

* * *

От резидента до президента всего одна буква (мысль за просмотром новостей из России).

* * *

Есть иконопись. У меня иное — словесное: инокопись.

* * *

От ностальгии лучшее лекарство — ностальгин.

* * *

Ну, хорошо, перепрыгнул. Разве обязательно «гоп» говорить?

* * *

Гусь ли — гусли. Мыс ли — мысли. В голове сплошная осень.

* * *

От Петрограда к Ленинграду у этого города было, кажется, еще одно, незамеченное, имя: Ретроград.

* * *

Меня разочаровало не то, как и о чем он пишет. Меня разочаровал он сам. Это важнее.

* * *

Парижская площадь Saint-Michel с фонтаном, с его разноцветной толпой, с шумом, особенно весной — это легкость. Улыбка. В русском варианте это называлось бы Святого Михаила Архангела. Хоругви, пьяные рожи, бей жидов...

* * *

Характер человека просматривается в очень разных ситуациях. Скажем, как он считает деньги, относится к документам, садится за обеденный стол. В такие моменты о человеке можно узнать гораздо больше, чем слушая его...

* * *

«Мороз и солнце — день чудесный!» — не фраза, а сплошной вздох, междометие, дух замирает!

* * *

Не плюй в колодец, если не хочешь, чтобы он сделал то же самое.

* * *

Если вся русская литература 19-го века по утверждению Достоевского вышла из «Шинели» Гоголя, то московская эпохи «хрущевской оттепели» — из «Полночного троллейбуса» Окуджавы. Всё, таким образом, сводится к «выходу»...

* * *

При Фурцевой у нас была не культура, а культдура.

* * *

Это теперь можно говорить о «человеке Средневековья». Но сами-то люди тех времен разве могли себя определять таким образом?

* * *

Культ личности после Сталина в СССР быть не мог не потому, что после XX и XXII-го съездов партии это явление оказалось «отвергнуто обществом». Всё обстояло проще: в верхах уже не могло быть культа за отсутствием личностей. Ничего, ещё успеют найти.

* * *

Так сумрачно, что даже на кладбище сейчас, наверное, печально.

* * *

В пословице «Что написано пером — не вырубишь топором», в конце, забыли одно слово: «жаль».

* * *

Сапоги с хрустом.

* * *

Коню даренному зубы смотреть, конечно, не надо. Посмотрите на того, кто его дарит.

* * *

Белый стих, белый стих! Пишите, господа, сколько хотите. Я и сам иногда обращаюсь к нему. Зачем же, однако, нажимать, подталкивать? Белый стих вообще — опасная вещь, особенно для молодых поэтов, не владеющих достаточно хорошо рифмой, не чувствующих внутренних ритмов, которые заложены не в содержании, а в языке как таковом. Рифма — это дисциплина и звучание. Белый стих — требует исключительного владения техникой. Требует особого слуха. С белого стиха начинать нельзя. К нему можно придти. К нему можно иногда приходить. Однако существовать в нем (по меньшей мере, пишущему по-русски) постоянно почти невозможно. Исключений мало. Среди них — Айги. Я очень люблю его, но его поэзия по существу не русская.

* * *

Да здравствуют зелёные стихи весны!

* * *

Смотря российское телевиденье, поражаюсь: какие все хорошие, умные, талантливые. Неясно лишь, почему же при таких людях страна все больше и больше уходит в пучину?

* * *

Аз-Art

* * *

Все течет. Все меняется. Одна только Майя Плисецкая не меняется. Есть в этом что-то неестественное. Перекреститься хочется.

* * *

Тип. Даже к своему отражению в зеркале он обращается на «вы».

* * *

Экс-чемпионам, экс-президентам и экс-премьерам я предпочитаю экслибрисы.

* * *

Пригубить — погубить слегка. Вроде как придушить. Не до смерти.

* * *

Новыми романами
О «святых» Романовых
Нищему да голому
Не морочьте голову

* * *

Началось с Адама, а кончили Садама (о Хусейне, после казни).

* * *

Рождение слова в сентябре: West. Точка. — Весточка.

* * *

Из Тарту 5 апреля 2007 года от Леонида Наумовича Столовича:

Амур «Ars amatoria» увидел.
Прочел и даже перевел на русский.
И вот тогда-то получил Овидий
Почетное прозвание — Амурский.

Но император вымолвил: «Шалишь!»,
И сослан был Амурский в глушь, в Париж.

Счастлив поэт, как рыба, сорвавшийся с крючка.
Мир для него перестал быть неблагодарной обузой.
Разве не счастье жить в парижской квартире у чердака
С ласточками, с уютным камином и Музой?

* * *

Смешное может быть великим. Великое смешным — никогда.

* * *

Хороша б была настойка,
Коли не было б нас столько,
Да иною перестройка.

* * *

Людей много, а где же человек?

* * *

Думать не о чем.
Думать ни о чём.
Думать нечем.

* * *

Семь минут четвертого. Журавлиным клином.

* * *

Одна из особенностей возрожденного после перестройки в России православия в том, что оно отправилось искать Бога вместе с властью.

* * *

Бог-начальник? Если так, то всё становится на свои места. Тогда я понимаю суть своего особого атеизма.

* * *

«В Россию можно только верить!». В какую, Федор Иванович! Да вы, дорогой, в своем уме ли! Вас в спектакль по Гоголю надо... Шутом, на площадь, люд потешать! Нет, дорогой, о России рыдать только можно.

* * *

По РТР-Планета, в передаче Максимова (12.09.2007), видел Аксенова. Боже, неужели это — кумир моей юности? Тяжелый,

оплывший, внутренне самоуверенный, хамовато говорящий о Бродском (мол, тот не ехал на родину, потому что — боялся физически; и вообще — накопил в себе негативную энергию о своей стране...) А вообще, вернулся бы. Бродский ведь не ответит. Куда вернулся бы, кстати? В путинскую страну, что ли?.. О вышедшей только что в России своей книге стихов — полунебрежно: дескать, поэтом себя не считаю, это — то, что связано с прозой. Если так, то зачем было печатать?

* * *

Людьми не рождаются. Ими становятся. Увы, не всегда, не везде и не у всех это получается. Еще трудное подчас — выйти в люди, не растворившись при этом в толпе.

* * *

Поголовная грамотность. А что, может быть, есть смысл посчитать?

* * *

О «знаковых системах». Оптимист в кресте видит «плюс», пессимист в плюсе крест.

(услышал от I.P.)

* * *

Лучше враньё, чем графоманьё.

* * *

Ноябрь, 2007. Сообщения из Москвы: Царская семья Романовых не подлежит реабилитации. Так постановил Верховный суд России, признав тем самым законность принятого ранее решения Генеральной прокуратуры. Читаю и — поражаюсь. О чем просят члены царской семьи, живущие вне России и никогда там не жившие? О справке просят. Стыдно-то как!

* * *

Драмы в жизни нередко имеют характер комедийный.

* * *

Варианты невозможного: Набоков автор «Кавалера Золотой звезды». Франсуаза Саган в компании Валентины Терешковой...

* * *

Криминал. По-кремлёвски так: Крым мил нам.

* * *

В старом «Крокодиле»: «вилы в бок». Теперь просто: виллы, Бог...

* * *

Другой вариант: кому вилы, кому виллы.

* * *

У этого типа точно камень за пазухой. Этак тысяч на пятьдесят (баксами).

* * *

639666
428356
107224
515209

и т.д. — варианты трамвайных или троллейбусных «счастливых билетов». Помню.

* * *

Прошлое на ощупь. Ногами. По асфальту, по земле...

* * *

Босс — бос? Никогда не поверю.

* * *

Награды разные бывают. Принимая некоторые, полагаю, руки потом не отмоешь.

* * *

Тётя Соня, тётя Маруся, тётя Глаша, тётя Вера... Другие тёти. Это в том послевоенном моем детстве они были тётями, а в действительности вряд ли самой старшей из них было более лет тридцати. Из деревень, из глухих уголков России тянулись они в Москву, находя захудалое жилье, отрабатывая его и влача существование мытьём полов, стирками, уборками, продажей мороженного на улицах — ещё ничего летом, но зимой в морозы! продажей газированной воды... У друга моего Славки К. такая тележка его матери стояла на Большой Грузинской, между кинотеатром «Смена» и булочной, около трамвайной остановки. Нам она наливала сироп в двойной дозе, чтобы слаще было. В появившихся позднее автоматах самообслуживания (это времена Хрущёва), помню, жёлтую приторную крем-соду. Как это можно было пить, сейчас удивляюсь. А ведь пили, жили, не задумываясь об этом. Спеша куда-то, прыгая на ходу в отходящие трамваи...

* * *

— Как, простите?
— Мандельштам.
— ?
— ?!
— Да, ничего. Нормальная фамилия.

* * *

Даже соглашаясь с тем, что будущее — бесконечно, а прошлое — ограничено, в последнем я имею больше, чем в первом. Прошлое явилось реальностью. Будущее — пустота. Уже по этой причине понятие футуризм для меня не обладает притягательностью, хотя я и отдаю должное тем, кто старается толкать телегу жизни и слова вперед.

* * *

Близкие. Друзья. Это те, кого теряешь прежде других.

* * *

Икс. Игрек. А потом? А потом чаще всего одиннадцатая буква русского алфавита. Прости меня, Господи, пессимиста.

* * *

Любить можно и не говоря комплиментов.

* * *

Сине-бело-красные «Беломорканал», с летящим на коне в бурке всадником на фоне горы «Казбек» — папиросы, красные с головой овчарки (золотой ободок на каждой сигарете, хотя без фильтра) «Друг», коричневые простенькие «Дукат» (по 10 штук)...

* * *

Русский диалог — это, когда ты сам с собой. Далее — риторика.

* * *

Российские сапоги на грузинской земле. Август прошел в судорогах. Сентябрь начался с кашля. Разговор с московским знакомым. — Ну, как там на папанинской льдине?

— Дрейфуем.

* * *

Купил в Москве сборник «Сага с помарками». Запоздалое, но какое удивительное открытие: поэзия Татьяны Бек! (конец 2007 года).

* * *

Я плюс я плюс я
Вот нас и трое.

* * *

Осень. Яблони играют в петанк[1].

* * *

Моя Япония. Вот уже и у меня появилась такая. Это там, где меня сейчас нет.

* * *

Эстонский базар. Мясной ряд — liha. Так и хочется спросить: почём фунт?

* * *

Понятно, в ногах правды нет. А выше?

* * *

Точка всегда индивидуальна. Многоточие предполагает полифоничность.

* * *

Трубочист как Сажа Чёрный.

---

[1] Pétanque. Широко распространённая на юге Франции игра в шары.

* * *

Входя в Историю не забывайте вытирать ноги.

* * *

Мы всегда рождаемся на несколько веков или десятилетий раньше, чем хотелось бы. Только это выясняется не сразу.

* * *

Слова не рождённые ещё
Не прочтённые мысленно
Не обработанные пером
На бумаге — не написанные
Вчерне, перечёркнутые
Переставленные
Ставшие в начале или конце
Фраз строф абзацев
Но уже предчувствуемые
Осязаемые как листья
Будущей весны
Люблю

* * *

Не всё то передовое, что расположилось в первом ряду, поближе к официальной трибуне или лохани.

* * *

Из далей тех
Приходят вести:
Издали тех,
Кто власти лестен.

А тем, кто ей
Совсем не лестен,
Сказали: эй,
А вы не лезьте.

* * *

Разумеется, на стене можно нарисовать окно. Стена станет симпатичнее. Однако сущность её всё-таки останется. Сколько раз это было в России!

Борис КИПНИС[1]

/ Санкт-Петербург /

Разливы

1

Летним вечером вдвоем с Борисом
Пьем портвейн в разливе на Петроградской
Движение на Большом затихает
Можно выйти на улицу и пить покуривая

2

На Гоголя в разливе
Пьем с Борисом закусывая мацой
После можно покурить на канале

3

Пьем спирт с Наташей и Борисом
У нас на кухне на Зверинской
В окне дерево антенны и крыши нашего тихого двора
Солнце уже садится
Скоро кончится все это

Карелия, Царевичи

[1] В 41 номере «Крещатика» были опубликованы рассказы некоего Бориса Кипниса, живущего в Потсдаме (однофамильца и тески Бориса Кипниса, живущего в Санкт-Петербурге). По ошибке был указан город Санкт-Петербург и помещена фотография Бориса Кипниса. Пользуясь случаем приносим извинения уважаемому автору (см. фото выше) и публикуем подборку его стихов.

Суслики в эмиграции

STILL LIFE

Красные трусы белая рубаха
И на 105-ой Street свежая какаха

K ALBERT'E

Канадская ссылка тусклая марь
Душа мудака устремляется вдаль
Заморскую ту что зовется Европа
И хочется рифмы п... а не жопа

BYE, CANADA

Прощай колхозная Альберта
Жена елозит по мольберту
А я вспотев в тумане снов
Дурак и алкоголик тощий
Кляну судьбу и вижу дождик
Угрюмой Родины моей

Эдмонтон, Альберта, Канада

Семь стихотворений Наташе

1

Я не взлетел
И не поел
И не ушел
И не пришел
Я вышел

2

Когда сказала ты
Когда сказала ты
Когда сказала ты
Когда сказала ты
Когда сказала ты
Ко-гда ска-за-ла

3

Я пью и жду
И ожиданье принимает
Все новые оттенки
Которых я не ждал

4

Светлый вечер когда пьян
Темный вечер когда трезв
Дождь бы пошел
Я б на бабу влез

5

Был сладкий миг
Я понял что я понял
Торговцы закрывали свои лотки
Летал разноцветный змей
Вечерело в чужом городе

6

Кабацкой скрипки звонкие напевы
Старинной скрипки ласковые гены
И тонких пальцев потные измены
Не говорят нам ни-че-го

7

Мой страх останется со мной
Цветок останется со мной
Тоска останется со мной
В осеннем парке милый мой

Женева, Швейцария

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б.Н.Марковский*
Дизайн обложки *С.Н.Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 12.03.2009. Формат 66x88 1/16.
Усл.-печ. л. 19,8. Печать офсетная. Заказ 234.
Тираж 500 экз.

ISSN 1619-2966

#43

www.kreschatik.nm.ru
www.magazines.russ.ru/kreschatik

Мы – в неустанном поиске новых имен, неизвестных авторов, где бы они ни жили – в Киеве, Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке или Мюнхене, мы – перенесенный в ментальное пространство проспект, как бы он не назывался в каждом городе, где когда-то завязывались великие дружбы, писались великие стихи, происходили знаменательные встречи...

All rights reserved © Kreschatik